НЁМАН

7/2011
ИЮЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Татьяна НЕФЕДОВА. Исцеление Лилит. *Повесть* 3
Микола МЕТЛИЦКИЙ. Родные видения. *Стихи.*
Перевод с белорусского А. Аврутина 32
Алесь ЖУК. Праздник дождя. *Рассказы.* Перевод с белорусского автора 38
Павел САКОВИЧ. Цветов, цветов-то на земле! *Стихи* 56
Зинаида КРАСНЕВСКАЯ. Vita brevis... 58
Елена ЛАПШИНА. Самоцветы. *Стихи* 96
Анатоль ЗЭКОВ. Ягоды с молоком. *Рассказы.*
Перевод с белорусского К. Уклейкиной и автора 100
Жанна ЗАВАЦКАЯ. В темной и светлой воде. *Стихи* 110

«Всемирная литература» в «Нёмане»
Великие умирают дважды? **Андре МОРУА. Сюжет для рассказа.**
Андре ЖИД. Поль Валери. Перевод с английского и предисловие З. Красиной. . . . 114
Гюнтер КУНЕРТ. Ковчег по телефону. *Стихи.*
Перевод с немецкого и предисловие Е. Семеновой. 135

Документы. Записки. Воспоминания
«Всегда же со мною твой образ...» *Переписка Максима Лужанина и Евгении Пфляумбаум.*
Подготовка к печати и перевод с белорусского Т. Кувариной 139

Время. Жизнь. Литература
Георгий ПОПОВ. Откуда течет «Нёман». *Продолжение* 172
Наум ГАЛЬПЕРОВИЧ. На высоких крыльях воспоминаний. *Эссе.* 186

Люди. Страны. Континенты
Зиновий ПРИГОДИЧ. Непостижимая и загадочная страна. *Японский дневник* . . 194

Личность
Анатолий РЕЗАНОВИЧ. И все это – жизнь... 228

Реминисценции
Анатолий АНДРЕЕВ. А может быть, я и рифмую зря? *Эссе* 232

С точки зрения рецензента

Андрей ТЯВЛОВСКИЙ. Сухим языком документов... 239
Юрий САПОЖКОВ. Сад, хранящий легенды 243

Книжное обозрение

Василь СЛУЦКИЙ. Новые книги 250

Из почты журнала

Анатолий ШЕБЕКО. Когда Короткевич был маленьким 253
Авторы номера 256

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

Первый заместитель директора — главный редактор
Алесь Николаевич БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Староверовой*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *И. М. Кульбицкой*

Подписано к печати 07.07.2011 г. Формат 70×108 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 23,21. Тираж 3251. Заказ 1763.
Цена номера в розницу 12 500 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220005, Минск, пр. Независимости, 39.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»



ТАТЬЯНА НЕФЕДОВА

Исцеление Лилит

*Повесть**

I

На кухне было чисто и светло. Евгения Макаровна суетилась у плиты, вынимала из духовки пирожки с шипящими пузырьками вытекшего варенья. Ах, эти бабушкины пирожки! Эти вкусные запахи... Когда Лилина бабушка была еще жива, она тоже готовила потрясающие пироги по ее собственным рецептам. Ни у кого в семье больше так не получалось: ни у мамы, ни у самой Лили.

Танечка сидела за столом рядом с Лилей. Она переливала горячий чай из одной кружки в другую, сдувала пар, замерев, смотрела на свое отражение, плавающее среди чайных листиков, и потом, прижимая обеими руками кружку к столу, аккуратно прислонялась к фарфоровому краю губами и высербывала горький чай, обжигаясь, вздрагивала, хватала пальцами нижнюю губу, вытягивала ее, пытаясь рассмотреть, и, хмурясь, продолжала пить.

— Сейчас будут вам пироги, подождите. Горячие совсем еще.

Из открытой духовки шел жар, воздух в кухне нагрелся, и Лиля поднялась открыть окно. Танечка закашляла, и Лиля, стоя у окна, могла слышать, как болезненно скрипят детские легкие.

— Сейчас открываю, будет свежее. Тебе ингалятор нужен?

Танечка перестала кашлять, помолчала немного, восстанавливая дыхание, сделала пару глотков чая и потом ответила:

— Нет, так пройдет.

— Правильно, нечего каждый раз хвататься за лекарства.

Баба Женя не поощряла слабость, даже от недуга. Все болезни — от немощи духа и тела. Слабость не побороть лекарствами — только силой. Силой Духа. Бабушке было за семьдесят, и сил и энергии в ней было больше, чем во всех ее детях и внуках. Она редко болела, у нее не было на это времени. Танин дедушка ушел из семьи к другой женщине, когда ее маме было столько же, сколько Танюше сейчас. Евгения Макаровна растила двух дочек одна.

Лиля задержалась у окна — из сада пахло сливами и свежестью, хотя солнце уже стояло высоко и становилось жарко.

---

* *Юноша и девушка-лилиту — демоны, в имени которых заключена игра слов из разных языков. По-шумерски лиль означает «воздух, ветер; дух, призрак», по-аккадски лилу — «ночь».*

Вполне возможно, что люди, превратившиеся в духов лилу, при жизни были безбрачны и не оставили потомства.

В. В. Емельянов в предисловии к «Ассирийской магии» Шарля Фоссе.

— Это лето выдалось жарким.

— Ой, правда, Лиля, все лето парит.

— В городе еще хуже, чем здесь. Невозможно находиться на улице — люди ходят вяленые, кошки все попрятались, транспорт плохо работает, и мороженое тает быстрее, чем донесешь его до рта.

— Вот и хорошо, что Татьяну сюда забрали. Иди, Лиля, я тебе чай наливаю.

Лиля вернулась к столу. Ее совсем не воспринимали в этом доме как лечащего врача. Скорее, здесь она чувствовала себя родственницей. Она так давно наблюдает Таню, что уже стала своей в этой семье. Своя.

Танечке одиннадцать лет, и последние три из них она тяжело болеет бронхиальной астмой. Она почти не спит ночами, а борется за свое дыхание. У нее аллергия на сотни вещей, запахов, эмоций и ассоциаций — любой контакт с одним из аллергенов вызывает у нее приступ удушья. Танечка — очень хрупкий ребенок с остро выступающими плечами, беспокойным воображением и темными, цвета густого кофе, глазами. В отделении детской больницы, в которой работает Лиля, таких «тяжелых» детей много, но Танечка была особой пациенткой, может быть, потому, что этот ребенок нравился Лиле. Ей нравилось, как Танечка рисует — ее отец хочет, чтоб она училась в художественной школе, когда поправится, — как справляется со своей болезнью, совершая маленькие подвиги духа каждый день, когда учится бороться с приступами удушья самостоятельно, без помощи ингаляторов, учится не бояться ложиться спать по вечерам — ночью у нее самые сильные приступы, — когда отказывает себе во многом, чтоб не спровоцировать удушье. Танечка — Лилин маленький борец.

Танечка посмотрела на задумавшуюся Лилю, улыбнулась ей и спросила:

— Лиля, а ты знаешь, чем пахнет бабушка?

— Чем?

— Чем это я могу пахнуть, Татьяна? Мылом земляничным, что ли?

Баба Женя подмигнула Лиле и поставила перед ней чашку чая.

— Нет. Мин-да-лем, — она щелкнула языком на последнем слоге, будто раскусила его во рту и, не разжевывая, проглотила.

Лиля, заулыбавшись, глубоко втянула воздух носом, словно принюхиваясь.

— Да, пирогом миндальным пахнет.

Бабушка рассмеялась.

— Вот придумали. Это мыло земляничное. Будешь, Таня, чаще мыться, и ты будешь вкусно пахнуть.

Танечка насупилась, утопив свое отражение на дне кружки.

— А почему миндалем?

— У нее так в шкафу пахнет.

— Опять ко мне в шкаф лазила? — Бабушка недовольно покачала головой. — Что там нашла?

— Орешки, — Танечка перелила остатки чая из одной кружки в другую.

— У меня в шкафу? Что-то ты врешь, Татьяна. Откуда в шкафу могут быть орешки?

Ах, Лиля, вспомни сама... В старом деревянном шкафу с двумя узкими дверцами и замком с длинным ключом в широкой щели, через которую были видны кусочки бабушкиных платьев, ношенных ею во времена ее молодости, что теперь, состарившись, так сильно пахла мятой и земляничным мылом. Только нужно прижаться щекой к замку, стоя на коленках и слегка согнувшись, и искоса всматриваться в щель, пока луч света из окна напротив зондирует содержание шкафа через трещины между ребрами усохшего дерева,

сквозь которые выветрилась и бабушкина молодость. Когда шкаф открывали, запах его теплого старческого дыхания — мята-земляника — заполнял всю небольшую спальню бабы Жени. Танечка зарывалась, как шахтер, в мягкую, шерстяно-хлопко-льняную толщею кофточек, платьев и стопочки вязаных носков с разноцветными треугольниками пяток, переложенных кусочками аппетитно пахнущего мыла, как вкраплениями драгоценных камней меж слоями тряпичных отложений эпох бабушкиной жизни.

Образы, запахи, вкусы склеились во рту в маленький горьковатый комочек, почти осязаемый, почти созревший. Знакомый вкус приклеился к кончику языка — не распробовать и не сглотнуть.

— Бери пирожки, Лиля, не стесняйся.

Бабушка сняла фартук, повесила его на гвоздик у плиты и села за стол.

Хлопок — и миндальный орешек исчез, растворился в вишневой сладости пирожков.

— Кушай, кушай. На здоровье. Таня, не тереби пирожок, а ешь его. Смотри — крошки по всему столу.

— У меня чай закончился.

— На скатерти весь твой чай. Ешь, я еще налью. Ох...

Баба Женя поднялась.

— Лиля, тебе тоже чайку долить? Татьяна, давай кружку свою. Перестань ты чай разводить по клеенке.

Танечка быстро убрала руку, вытирая под столом мокрые пальцы о колготки. На клеенчатой скатерти остались солнца из капель чая.

— Вот поросенок ты, Татьяна.

Баба Женя ласково погладила внучку по голове, налила в кружку темной заварки и добавила кипятка.

— Горячий. Отлей себе в другую чашку.

— Бабуля, садись.

— Ох, посидишь тут с тобой, Татьяна, — Евгения Макаровна, тяжко вздыхая, снова опустилась на стул и протянула ноги, скрестив тонкие щиколотки — желтая загорелая кожа скуксилась, сморщинилась, как пересушенная на солнце помидорная кожица.

— Ты же, как черт вертлявый, — ни минуты покоя с тобой. Вот не поверишь, Лиля, во сколько эта коза сегодня поднялась.

Танечка, чувствуя бабушкин взгляд, спрятала голову под стол — колготки подтянуть.

— Что, рано встала?

— Раньше меня!

Танечка осталась под столом, намурлыкивая какую-то песенку.

— Еще шести не было, я еще не встала, думала, полежу немного. Что-то опять нога моя разболелась, сустав ноет, нет сил. На погоду, наверное. Слушала, как Таня за стенкой ворочается, хотя ночью она, слава Богу, спала тихо. А потом слышу: поднялась. Думала, может, в туалет так рано. Ты кушай, Лиля, еще бери, я еще напеку, вишни в этом году много. А она в прихожую — и на улицу, босиком, в одной ночной рубашке! Напугала меня, бабку свою, думала, ей плохо было и она на воздух пошла. Я выскочила за ней, а эта коза, что ты думаешь, пошла в сад сливы опавшие собирать! Это в пять утра! Вот я за ней гонялась, чтоб ей косы надергать. Хорошо, что соседи не видели.

Лиля рассмеялась, представив, как баба Женя в гневе бегала по саду за Танечкой. Бабушка улыбнулась вслед за ней.

— Ой, Лиля, и смех и грех. Таня, хватит под столом сидеть, вылезай уже.

Танечка выпрямилась.

— Ты бы меня все равно не догнала.

Баба Женя хохотнула, прихлопнув ладонью по столу.

— Ну, ты видишь, Лиля, что это за дите? Что я, девочка что ли, с тобой наперегонки бегать?

Танечка стала подвижней, она чаще улыбается, бледность сошла с лица, спит лучше, и аппетит налаживается. Местный воздух и бабушкина наука Силы Духа были ей на пользу.

— Танюша, что же ты так рано проснулась сегодня?

Танечка пожала плечами.

— Не знаю.

Она высербала остатки чая из кружки и отодвинула ее от себя.

— Выспалась. Бабушка спала, скучно было, надоело в кровати лежать, и пошла за сливами.

— Выспалась, говоришь. Значит, спала сегодня хорошо? Без приступов?

— Почти. Был один, но не сильный, я даже не совсем проснулась и снова потом заснула.

— Ингалятором пользовалась?

— Нет, заснула сама.

— Умница моя!

Бабушка поцеловала Танечку в щеку, оставив влажный след, который она стерла большим пальцем руки, заботливо убрала ее растрепавшиеся волосы за уши, и Танечка обняла ее, наклоняясь со своего стула, и прильнула к той, которая часто моется земляничным мылом, без злости ругается на Танечку, даже если Танечка разобьет чашку или вазочку для роз, сломанных ветром, у которой в маленьком кирпичном домике спрятано больше секретов, чем в городской квартире, где Танечка живет с осени до лета, и которая предусмотрительно стирает мокрые следы от поцелуев, чтоб не пахли, высохнув, яичным белком.

Этим утром она проснулась от тихого шелеста листьев, словно маленькое сливовое деревце с кроной в кулачок проросло у нее на тумбочке за ночь. Эта ночь была мягкой и доброй — и сливы начали расти.

— Пойдем, Таня, я тебя послушаю.

Танечка покорно поднялась.

— Спасибо большое, Евгения Макаровна.

Лиля подхватила свой портфель и пошла в комнату вслед за Танечкой.

— Оставь посуду на столе, Татьяна, я сама уберу.

Лиля обернулась в дверях, глядя в кухню, — как ее назвали? Бабушка, стоя отхлебывая чай, собирала одной рукой пустые чашки со стола.

— Иди, иди, слушай...

Искренность — хрупкая вещь. Как розы в бабушкином саду. Она очень переживает, когда нежные, еще не распустившиеся бутоны ломает ливнем или ветром. Оборвав на сломе, она относит бутоны в дом и ставит в маленькую вазочку на столе — чтоб умирали красиво. Их вялые опавшие лепестки собирала со скатерти Танечка, подсчитывая, сколько их наберется за день, и потом разбрасывала по ветру за домом, напевая им песни собственного сочинения о маленьких розах с красными лепестками, багровыми лепестками, желтыми лепестками, желтыми с рябиново-красной каймой лепестками... Бабушка выращивала много видов роз, подшитых неровной яркой тесьмой к краю узкой садовой дорожки. Много пестрых видов невысоких кустиков — нежно-колкая, до капелек крови на неосторожных пальцах, красота, занявшая заботу бабы Жени о ее взрослых, самостоятельных, отдалявшихся детях и давно ушедшего к другой, не прощенного и не забытого мужа.

Искренность увядает полупрозрачными, мягкими — не живыми — лепестками красивых колких цветов. Когда он жил с ней, он пил, грубил, работал, тосковал, потому и грубил ей, матери его детей, женщине, отдавшей ему свое тело, заботу и годы. Как порывами холодного северного ветра, зачерствевшее отчаяние хлестало по лицу его болью разорванных осколками снарядов тел товарищей, оставшихся умирать в польской земле где-то под Варшавой. И тогда он, пьяный, рычал на нее, невысокую и худую женщину с не по-славянски высокими скулами и удлиненными глазами, темными, как вода в проруби глубокой зимней реки. Он ломал стены их маленького дома — очаг тепла, нарисованный на холсте, закрывающем собой выгоревшие угли в пустой глазнице остывшей печи, — пока не сломался и, изломанный и наломавший, не переехал к другой женщине. Из деревни в город.

Бабушка, Женечка, Ежка, Жен*и*, коренная москвичка, вышла замуж совсем молодой и уехала за мужем далеко на Дальний Восток, а потом на юг. На вокзале ее — тоненькую девчушку с чемоданчиком, оставлявшим синяки на икрах ног острыми углами, набитым консервами, с иглой расставания в горле, без слез, с наброшенным на плечи, как мамино шерстяное пальтишко, одиночеством — проводили мама и сестра. Мама плакала, много говорила, желала счастья, просила беречь себя и напоминала писать письма, хорошо кушать и тепло одеваться в морозы. Сестра, посмеиваясь, запихивала в чемодан жестяную коробку из-под конфет. Женечка совсем растерялась, хотя виду не подавала — тоже подбадривающе смеялась, обнимала порывисто то сестру, то маму, то сразу обеих, неуклюже целовала в щеки и волосы, потом высматривала их на перроне из окна купе, улыбаясь, махала рукой, обещала часто писать и уехала. Маму она больше никогда не видела. Сестра, которая переселилась за Урал, где у нее взрослела своя семья, смогла навестить ее всего раз, после развода Жени, когда она осталась одна с двумя взрослеющими дочками — две пары темных, как холодная вода в проруби, глаз, — одна, без мужа, за которым уехала черт знает куда, который остался для бабушки в ее жизни единственным мужчиной. Женечка снова глотала иглы одиночества, работала, растила дочек и розы, хрупкие, как дыхание Танечки.

Сердце пугливо билось под стетоскопом, легкие, запинаясь от волнения, исповедовались в своих ночных страхах. Лиля слушала, склонив голову, аккуратно прикасаясь к детской худой спине, лишь изредка прерывая таинство короткими просьбами.

— Вдохни еще глубже, вот так.

Танечка подтягивала майку повыше и ртом глубоко вдыхала.

— Тут чисто. И еще раз... Повернись.

На подоконнике тикали часы в граненой стеклянной оправе. У Лили когда-то тоже такие были: старые, громкие и тяжелые, и однажды она их разбила, уронив. А все этот заманчивый запах слив из сада: прямо в окно, по половикам и под потолок — не достать, если только сачком ловить. И пришлось Лиле лезть за ним в сад через подоконник.

Дыхание стало чище. Это хорошо. Лиля отложила стетоскоп и помогла Танечке оправить майку.

— Ну, как?

— А как ты думаешь?

— Должно быть, лучше, — она утвердительно кивнула головой, соглашаясь сама с собой. — Да?

— Лучше, но бегать босиком по мокрой траве не стоит.

Танечка, улыбаясь, снова кивнула.

— Хотя бы пока не поправишься еще чуть-чуть или не съешь сто пирогов.

Танечка помолчала, растирая ладонью мокрое пятно на колготках.

— Я столько не съем.

— Не сразу же. Сразу и я не съем. Дай мне свою руку.

Танечка натянула юбку на колени, пряча под ней пятно. Руки у Лили теплые и мягкие — будто кошка потерлась, намурлыкивая в пальцы нежность. Детские пальчики ласково щекотали ладонь, напоминая Лиле трепет маленьких плавничков. Часы монотонно тикали. Запах слив, приносимый сквозняком в раскрытое окно, чувствовался в комнате. Лиля глубоко вздохнула и задержала дыхание. Танечка молча вздохнула вслед за ней.

...

— Вкусно пахнет, правда?

Танечка согласно кивнула.

— А если пироги со сливами будут? Тогда съешь?

Танечка прикусила губу.

— Все равно много. Тошнить будет.

Лиля хорошо помнила, как Танечке было плохо, когда она под Новый год объелась апельсинами. Она проснулась ночью от того, что ее ноги сильно чесались и горели. Она сразу поняла, что ее ноги растут, причем, очень быстро — у нее на глазах. Она вскочила с постели и на удлиняющихся ногах побежала разбудить родителей. Мама, встревоженная, включила свет, и все увидели, что кожа на руках и ногах Танечки покрылась большими красными волдырями. Танечке вдруг стало страшно, и ее стошнило прямо в постель родителей. Потом мама мазала Танечку мягкой холодной сметаной, так что вся она стала склизкой и холодной, и простыня прилипла к ней, как вторая кожа. А мама ворчала, что спать им теперь негде, кроме как на полу.

— А ты знаешь, что пироги содержат очень полезные вещества, которые способствуют быстрому усваиванию кислорода организмом, укрепляют легкие и развивают воображение?

Танечка с сомнением посмотрела на Лилю — врет.

— Кстати, тот же самый эффект имеют свежесваренный борщ, овсяная каша, утренние бутерброды, яйца, молоко, котлеты мясные и рыбные, только домашние, в них больше полезных веществ сохраняется, и некоторые другие продукты.

Танечка перехватила ладонь Лили в свою руку, поднесла ее к лицу и прилегла к ней щекой.

— Лиля, что ты мне, как маленькой, сказки рассказываешь? Борщ я и так люблю и пироги, можно со сливами, буду есть, не переживай. Только не сразу, по чуть-чуть. Ты лучше расскажи, как море пахнет. На севере море так же пахнет?

Лиля усмехнулась, высвободила руку и потрепала детскую щечку. Опять попалась. Все-то ты знаешь и понимаешь. Ни соврать, ни насочинять с тобой нельзя — чуткое детское доверие, глаза темные, умные, руки непоседливые. Прощупала Лилю, ее слова, вздохи-выдохи, взгляды на тяжелые граненые часы, которым скоро придется упасть и распасться на громкие и колкие осколки стекла, колесики, стрелочки и бабушкины крики. Бить не будет, но обидится на Танечку и ее острые толкучие коленки. Что тебе еще рассказать, Танечка, чтоб поверила?

— Если не хочешь о море, расскажи тогда о чем-нибудь.

О чем-нибудь

Никита был журналистом. Судя по достигнутым успехам, он считал себя хорошим журналистом. Другим он быть и не мог, потому что всегда знал, что будет, если не лучшим, то, по крайней мере, одним из таких. Он готовил себя стать человеком с именем, которое для каждого произносящего его звучало бы как синоним таланта и целеустремленности.

Закончив университет и проработав несколько лет в минском еженедельнике, он уехал в Москву по приглашению одной не очень многотиражной, но столичной газеты. Писал он всегда много и с удовольствием, к тому же неплохо фотографировал, публиковал снимки. Со временем, когда его имя окрепло, он сменил газету, а затем и квартиру на более просторную и продолжал приобретать опыт, друзей, предложения. Он был хорошим журналистом с обнадеживающим запасом времени впереди. Работы было много, интересной, творческой — именно то, что он хотел. Ему не было еще и тридцати. Он был доволен собой на этом этапе жизни.

В Минске он познакомился со своей женой. Возможно, ее звали Аней. Аня из Гродно. В таком случае она была наполовину полька, наполовину белоруска, в меру знающая оба когда-то родных языка. Она была девушка увлекающаяся, во многом чуть-чуть одаренная, с переменчивым, совершенно неуправляемым характером, который так шел к ее темным глазам, глубоким, как прорубь в зимней реке. Она совсем не знала себя, но зато все — о своем будущем — ярком и многообещающем; очень любила осень и красила волосы хной, а по будням училась на филологическом факультете.

После первых свиданий, случайно рассказав о себе все, Аня решила остаться. Видишь ли, у него были зеленые-зеленые глаза. Когда она закончила учебу, Никита увез ее с собой в Москву, где они прожили вместе почти два года, насыщенных и неспокойных. Она — в нем, он — рядом. Потом расписались, с самого утра. Аня — зажмурив глаза, словно ныряла в чье-то будущее, а он не мог сдержать беспричинного смеха и нервно сжимал ее ладонь. Опытные говорят, наверное, им не нужно было расписываться.

После женитьбы он работал больше и лучше. Его имя созревало и, несомненно, становилось перспективным и привлекательным. У него были свои взгляды на жизнь, которые никак не хотели согласовываться с Аней. Из-за этого в доме часто бывало тихо.

Она была рядом, но никак не могла найти свое место с ним. По ночам он любил перебираться на ее подушку, выталкивая ее к стене, и она упиралась в него коленками. В квартире часто шел дождь, когда на его половине было на удивление солнечно. Впрочем, у него всегда было много работы и увлекательных планов, в которых Анечка почему-то чувствовала себя неуютно. Старшие говорили, что это от неопытности.

Она занялась домашними цветами, высаживая в глиняные горшки с пчелками нежные розы и лилии, но они плохо приживались и вяли. Тогда Анечка однажды, поплакав в ванной комнате, собрала вещи и уехала.

Никита продолжал работать. По утрам он пил кофе один. После Ани — все чаще и чаще. А ночами просыпался вдруг в темноту, плотно окутывавшую мысли, и подолгу слушал — кто-то в нем, наглухо зашторенный, застекленный, молчал. Никита не знал, как его зовут, и боялся, что не узнает. Аня могла знать, но после всей сырости, которую она оставила в доме, он решил, что больше никогда не женится, даже если это будет Анечка. Так он засыпал, работал, просыпался, боялся и чувствовал себя почти довольным собой.

II

Танечка еще спала, когда приехала мама. Ей снились льды, ослепительные под ярким солнцем, и морозной синевы небо, оледенелое по краям. Глыбы льда росли вверх, впиваясь в небо острыми головами, и небо крошилось снегом на руки, а под ногами темнела глубина, густая, как древность, наполненная временем — время без имени. Потом появились белые медведи. Они откусывали и проглатывали куски льда, объедали небо по краям, там, где тоньше. Их лапы вязли в темноте, как в смоле, белизна шерсти линяла в тоску голодных черных глаз, и они растворялись в глубине, утянутые временем в бездонье сна. Льды и небо исчезли, съеденные. Воздуха стало мало, и Танечка начала задыхаться. Баллончик с лекарством был, кажется, под подушкой — спрятан от медведей.

Утро в бабушкином доме начинается с сиреневых цветочков на подушке — наволочковое поле сиреневых глазков, распростертое от ресниц и до металлических поручней кровати, что на концах прорастают цветочными бутонами с местами облезшей зеленой краской. Танечка бродит по полю, пока не отдышится, пока спина болит там, где у рыб растут плавники, а у птиц — крылья. А у Танечки — только родинки, и бронхи под ребрами, но это уже внутри. Снаружи — только болит. Но это ненадолго, надо только подождать, пока в груди все успокоится, перестанет свистеть, сопеть и колотиться, и можно будет подняться.

Бывало намного хуже. Один раз Танечке было так плохо, что она почти умерла. Лекарство из баллончика почему-то не подействовало, дышать становилось труднее, а грудь словно набили камнями — тяжело, не повернуться и не вздохнуть. Танечка сидела в кресле в гостиной комнате и старалась дышать, сосредоточенно слушая хрипы в груди. Дыхание ее участилось настолько, что она едва успевала делать выдох. Легкие, всхлипывая, с трудом выдавливали из себя воздух, но Танечка старалась, и никто пока ничего не заметил. Нельзя же, в конце концов, глотать лекарства ведрами, как она, — так никаких денег не хватит. Да и вообще, надо воспитывать в себе Силу Духа, справляться с удушьем самой, она же девочка, ей надо быть сильной, ей же детей рожать, а ну как задохнется во время родов, да и вообще кому нужна больная жена, мужики ведь все сволочи, не надо им позволять себя обижать, надо заботиться о себе самой, сама не пожалеешь — никто не пожалеет.

Дышать было больно и утомительно, и еще страшно — вдруг надорвется. Она устала и сглотнула вместо вдоха. А потом не смогла опять вздохнуть, и еще раз не смогла. Так, наверное, умирают от удушья. Танечка, конечно, не умерла, она справилась: вскрикнула, но не заплакала. Плакать нельзя — это мешает дышать. Только она выдала себя — вызвали «скорую», и ее увезли в больницу. Там ей снова поставили иглу в вену: капельницы утром и вечером, и даже нельзя сходить в туалет — только судно, из которого все вытекает прямо под нее, так что лучше терпеть. Там дают переслащенный чай и каши на завтрак— противная слизь на тарелке. Лиля знает.

Она запомнила, как страшно ей было. Страшно, когда знаешь, что умираешь, и что тебе всего-то почти одиннадцать лет, и что, если задуматься, она и так почти умирает с каждым приступом удушья каждую ночь.

Сегодня во сне ей снились горы мороженного воздуха, но ей ничего не досталось.

На кухне разговаривали: что-то про чай... Чай будешь?.. Наливать?.. Только не крепкий... Застукало, зашуршало чашками, пакетами, и, должно быть, запахло ландышами. Ландышевая вода — мамина любимая.

Мамочка приехала.

Танечка вытянула из-под одеяла ноги и медленно села на кровати — пружины крякнули. Доброе утро. Ноги в тапки — босиком нельзя, ругаются, — выправила из трусиков майку — ночью вся закрутится вокруг Танечки так, что приходится просыпаться и выкручиваться из нее, сминая всю постель, — и пошла в кухню. Может, привезла что-нибудь интересное.

Мама, почти красивая, как прежде, на ее юных фотографиях, с почти сохранившейся изящностью жестов и слегка манерных слов, доходящих до пафосности в моменты нервных срывов, утомленная жарой, сидела за столом, бросив под стул неразобранные сумки, и без особого желания, в растрепанном настроении и такой же блузке пила чай.

— Врач приезжала? Что сказала?

— Вчера была, послушала ее. Говорит, что лучше. Что это тут?

Баба Женя подхватила сумки с пола и заглядывала в них, прищурив глаза.

— Ага, в холодильник, в холодильник, а это выложим на тарелку. Зови Татьяну — хватит уже спать.

— Подожди, я сама разберу. Как она спала сегодня?

— Ворочалась, но вроде спала.

Мама встала и засуетилась по кухне вместе с бабушкой.

Стоя в дверном проеме, Танечка подумала, как же мама с бабушкой похожи: всегда уставшие и всегда суетятся, все им важно, даже то, что совсем не важно, и все должно быть сделано ими, а иначе — конец света.

Танечка прошаркала к столу, села, положив голову на скатерть, — сердце еще колотится громко, шумит в ушах. На скатерти крошки и муха гуляет рядом с кружкой — мамин недопитый чай.

— Я уже встала.

Мама подошла к ней и поцеловала.

— Задыхалась?

Танечка не ответила. Мама погладила ее по голове, поправляя спутанные волосы, и это было неожиданно и очень приятно.

— Смотри, что мама привезла.

Баба Женя поставила на стол миску с виноградом. Дамские пальчики — косточки просвечиваются на свету, как муравьи в смоле. Говорят, бывает виноград без косточек — съел, и ничего не осталось: ни семечки, ни муравьишки, ни мокрого места.

— Таня, ты смотри, если тебе здесь станет плохо, то «скорая» быстро не приедет.

В голосе мамы тонко зазвенело беспокойством. Нервный трепет натянутой под потолком нити — крохотный канатоходец, пошатываясь, бежит по ней, остановится, сделает ножкой па... па... — и снова шажки по ниточке. Ой, да это же девочка! Хорошенькая такая, милая, глазки горят, ножки тоненькие танцуют, улыбается. Ей нравится Танечкин виноград. Она смотрит вокруг: ягодка малины на столе, одинокая, сладкая, зрелая, ах!.. желтая кружка с лепным петушком на ручке и остатками недопитого кофе; кто же здесь пьет кофе? В этом доме кофе нет. Это, должно быть, Лиля принесла с собой. А ей понравился кофе — горечь горькой смоли, — хочется еще. Дальше: молочные свечи на шкафу, которые в подходящий момент можно зажечь ради мгновений горящей радости, высохшие цветочки — остатки от букета невесты! Потрясающе! Поймала! — нежная хрупкая прелесть, лепесточки обламываются от неосторожно быстрых взглядов. И все — как музыка вокруг: ми там, си здесь, ля-диез под потолком...

— Может, лучше положим тебя в больницу? Я хоть буду спокойна за тебя.

Бабушка недовольно затрясла головой.

— Что толку в больнице, не будет же она там всю жизнь жить.

Мама глубоко, неровно вздохнула, отвернувшись к окну. Когда же все это кончится, залечится? Все болеем, болеем... как проклятые. Человек — существо слабое. Женщина, значит, не человек. Женщина все вынесет.

Она лениво протянула руку за кружкой — зеленый лепной петушок.

— Что это? Кофе? Чай? Остыл. Пока ехала сюда в автобусе, чуть не задохнулась. Жара, духота — просто невозможно.

— Дождь ночью будет.

Баба Женя, подхватив миску с пола, вышла во двор кормить кур.

Кур у бабушки немного, но все горластые, суетливые, всегда сплетничают о Танечке, прохаживаясь по двору и косясь глупым глазом на нее. А иногда даже подглядывают за ней, пробираясь в сад через плохо закрытую калитку, прячутся в тени розовых кустов и слушают, как она сочиняет песни, ощипывая спелую малину. Вот и тоже Лиля жалуется на них — подсматривают.

— Завтракать будешь? Я сама еще не ела.

Мама открыла холодильник, задумчиво глядя на полки, потом быстро выхватила тарелочки, свертки и начала резать, кроить и выкладывать.

Танечка смотрела через окно в сад, где на ветках слив спели маленькие солнца. Таня любит желтые. Мама любит синие. Кто же в доме пьет кофе и любит ли этот кто-то сливы?

— Мама? Лиля спрашивала, кем ты хотела стать, когда была маленькой.

— Кто спрашивала?

— Ну, так кем?

— Тем, кем не стала.

Мама поставила перед Танечкой тарелку бутербродов и села рядом.

— Хотела играть в театре. Очень хотела. Даже поехала поступать в училище на актерское отделение. Выучила монологи, прочитала. Нервничала сильно. Сказали: приходите на следующий год.

Она с ленцой подняла руку поправить прическу, но передумала, провела пальцами по губам — сухие, как ягоды крыжовника на обломанной ветке, — и уложила голову на ладонь, баиньки.

— А ведь могла играть.

Надо же, кто бы подумал, что мама собиралась стать актрисой. Жалко, что не стала. Она красивая, пела бы гусарские песни с экрана, была бы счастливой. Танечку брали бы за кулисы, и у них точно бы были деньги на новый диван с синтепоновыми подушками.

— Ты поехала на следующий год?

— Нет. Денег не было. Пошла работать.

Бабушка, вернувшись, хлопнула дверью, запуская в дом со двора кудахтанье сплетниц.

— Потом поступила в технологический институт, чтоб уж наверняка, — продолжала мама. — А потом ты. А институт я так и не закончила. Папа увез нас в тайгу — не бросать же его там одного было. Помнишь, летели на самолете долго?

— Я тогда уже болела?

— Ты не помнишь? Болеть ты начала, когда папа твой пожелал новых ощущений в жизни поискать. Папа наш гулял черт знает где, а мы с тобой болели. Вот так. Все они скоты, — закончила она, пробежав взглядом по

своим коротко обрезанным ногтям, высматривая, какой бы сволочной заусенец подхватить и растрепать резцами зубов.

— Лена, что ты при ребенке такое говоришь?!

Бабушкин голос дрогнул от возмущения, призывая к устыжению.

— А разве нет? Ты сама просила, чтоб тебя с двумя детьми бросили?

— Тебя же никто не бросает.

Мама глубоко, со всхлипом рвущейся бумаги вздохнула, ресницы ее намокли и слиплись.

— Не бросает. Уже поздно бросать — я уже сама себе не нужна.

Бабушка неразборчиво зашелестела сердитыми словами, отвернувшись к плите и помешивая в тазу ложкой, облепленной розовой пенкой.

Танечка — это мамино счастье вместе с новым мягким диваном из центрального универмага. Танечка — это кулисы, букеты в хрустальных вазах, папины уши, мама... Мама вышла замуж, потому что папа любил. Папа любил, но его любви оказалось мало для мира в семье, и его любовь начала истачиваться, как старые простыни от частых стирок.

— Не слушай ее, Таня, своим умом живи.

— Дай Бог, Татьяна, чтоб хоть у тебя...

— Сложится, сложится. Танечка у нас девочка хорошая. Верно, Татьяна?

Вот так Лиля. Познай самого себя — наущают умные люди, которые знают, о чем говорят. Иначе зачем же говорить? Познай самого себя, гоняйся за своим хвостом, чтоб пожевать и потешиться, — кошачьи забавы самопознания. Изойти сладкой пеночкой сваренных в своем соку ягод. Из чего делают варенье? Из чего сделана Танечка или Лиля? Танечка или Лиля?

Лиля подхватила со стола свою кружку с петушком и, не замеченная никем, — разве только Танечка не подала виду — тихо прошла в комнату бабы Жени, села на корточки у кровати и вытащила из-под нее жестяную круглую коробочку из-под бон-бонов. На крышке цветет райский сад, райские птицы в райском оперении и розовощекие смеющиеся девицы в бесцветных складчатых платьях хранят сон двухмерных воспоминаний далеких родственников. За горами, за годами... На тусклой, цвета кофе с молоком, фотокарточке усатый — кончики смотрят вверх, как рога жука, — мужчина в офицерской форме и с саблей на поясе, пахнет бон-бонами и грустью. Один из мужей прабабушки.

Что тебе еще рассказать?

О карусели

Когда Никита был маленьким, мама часто водила его в парк. Тогда они жили в другой стране, где говорили на другом и совсем непонятном языке. Парк был огромным, с множеством тропинок, дорожек и мостиков, и в нем легко можно было заблудиться.

Однажды Никита, удалившись от мамы, внимательно изучавшей в журнале мод выкройки замечательного платья с широкими рукавами-фонариками, нашел странного человека. Он сидел на лавке, курил и читал газету. На шее у него был широкий пластиковый воротник, который не позволял ему поворачивать голову, а на правой руке три пальца были в гипсе, и от этого ладонь его походила на клешню. Этой рукой он держал сигарету, прижимая ее большим пальцем к забинтованным трем. Человек был совсем седым, а его упиравшийся в ворот подбородок оброс щетиной. Он был неуклюжим и плохо сделанным.

Видно, человеку, сидящему на лавочке, показалось невежливым, что его пристально рассматривают, потому что он, кряхтя, повернулся к Никите, забулькал, захрустел — можно было услышать, как гайки и болтики натужно ворочались у него внутри, — и спросил: «Русский?» Никита кивнул, и человек поманил его к себе рукой.

Вблизи он казался совсем настоящим, и Никита сел рядом. Человек рассказал, что недавно он упал с лошади и повредил шею. Она болталась у него, как веревочная, от ветра ее уносило в кроны деревьев, где она застревала в ветках и доставляла человеку много неприятностей. Оттого ему приходится носить на шее воротник. Слова из него выходили тяжело, с паузами и получались мятые, изжеванные ржавым ртом.

Тогда Никита попросил рассказать ему, где можно увидеть лошадь. Человек засмеялся, выпуская из себя дым, — что-то внутри него горело и чадило, — и сказал, что во сне, а еще где-то в парке есть карусель, где можно покататься верхом. Человек, накреняясь всем корпусом и сильно скрипя прямо в ухо Никите, вынул из кармана маленький билетик и отдал его мальчику. И Никита пошел в ту сторону, куда указал ему клешней человек с веревочной шеей.

Никита никогда не видел живых лошадей, только в книгах и по телевизору. Поэтому когда он нашел карусель, то вполне поверил, что разноцветные пони, которые скакали по кругу, вскидывая то задние, то передние ноги, могли быть очень даже настоящими. Громко играла музыка, и они кружились под яркими лампочками, развевая гривы по ветру. Когда карусель остановилась, оказалось, что все маленькие пони держались на блестящих шестах, как пуповинами привязанные к карусели.

У Никиты забрали мятый билетик, подхватили его на руки и усадили на зеленого неподвижного пони. Дотронувшись до гладкой пластиковой спины, Никита почувствовал дрожь, словно пони трясло от холода или страха. И он тоже вдруг испугался. Он схватился руками за толстую шею и случайно попал пальцем в глаз пони — затвердевший, тусклый и поцарапанный. Никита отдернул руку, ожидая, что пони закричит от боли, но ничего не последовало. Пони молчал, хотя Никита хорошо знал, что получить пальцем в глаз очень больно. Он прислушался к пластиковому телу и еще сильнее ощутил дрожь.

И тут он понял, что настоящая, живая лошадка спрятана внутри, в этом пластиковом коконе, и что она плачет и дрожит, и кусает большие губы, но ее никто не слышит, кроме Никиты. Он начал бить кулаками по зеленой спине и звать на помощь, и тогда сердитый молодой человек снял его с карусели.

Никита расплакался и убежал подальше от страшной карусели, где пони были такими же ненастоящими, как и ржавый человек с клешней. Он вернулся, чтобы сказать этому человеку, что он обманщик и что лошадки совсем не живые, вернее, живых-то спрятали, что это совсем не те лошадки, которых он хотел увидеть, его обманули, — но на той лавочке уже никто не сидел.

III

За садом, за высоким охряным забором начинается безбрежье-бездеревье вытоптанного дворика. Там стоит стол для домино и часто играют дети. Танечке пока еще нельзя бегать, прыгать, визжать, кричать и долго смеяться, поэтому она иногда подглядывает в щели между досками, прижавшись лицом к шершавому дереву и заглатывая сдержанные вдохи-выдохи, чтобы ее вдруг не услышали.

Но состояние Танечки, бесспорно, улучшается. Поэтому она стала чаще показываться над забором, а потом, когда баба Женя была неизвестно где или спала в дневную жару, перелезать на более интересную сторону. Однажды она даже позволила себе пойти в дальнюю даль на запруду с сестричками с соседней улицы — у них голубые глаза, новые лаковые туфли и очень умный папа-юрист.

Запруда — много прохладной свежести, зеркальный простор воды, сосны и клены, перевернутые корнями в небо, и темные узкие спинки рыбок у самого берега. Идти туда недалеко, но обязательно в обход дворов по тропинке через заросли хлесткой высокой травы, от которой потом долго чешутся царапины на ногах.

Нетерпеливые сестрички убежали вперед, иногда оглядываясь и торопя Танечку. Она тоже попробовала бежать, но быстро устала. Легкие подозрительно отяжелели, и она передумала с ними спорить.

Когда она подошла к берегу, сестрички уже заходили в воду, охая и толкаясь. Тяжело дыша, она села у самого края и положила руки на воду — погладить. Теплая вода мягко, чуть причмокивая, обняла ладони, и Танечка от удовольствия засмеялась.

Маленькие юркие рыбки подплывали совсем близко к замершим пальцам, пробуя на вкус приклеившиеся к коже пузырьки воздуха. Девочки ловили их у берега, широко расставив ноги и сложив руки ловушкой-лодочкой.

Отдохнув, Танечка тоже зашла в воду, совсем недалеко, только по колено. Она нашла на берегу в траве пластиковый пакет почти без дырок и ловила в него рыбок. Она всегда хотела себе аквариум с водорослями и яркими рыбками, но мама боялась, что у Танечки может быть на рыбий корм аллергия.

Солнце порвалось на кривые полоски и утонуло в потемневшей воде. Тучи, обрюзгшие от влаги, тяжко пыхтя и цепляясь провисшими животами за верхушки сосен, расползлись по небу.

И надо же, Танечка поймала-таки одну крошечную рыбку — серая комета с едва различимыми плавниками. Зажав края пакета в кулаке, она вышла на берег за сандалиями и только теперь заметила, что сестрички уже спешили обратно в деревню, убежав далеко от берега. Воздух набух влагой, вода в запруде задышала тяжело, нервно передергиваясь от поднявшегося ветра, и в груди у Танечки сочувственно сжались легкие, хрипло выдавливая из себя воздух. Над головой загремело, и мелко закапал дождь.

И Танечка побежала, прижимая пакет к груди, где жила ее трепетная птичка; она громко, но радостно билась о ребра вслед за Танечкой — тоже бежит. Ах, как давно они не бегали. Они обе спешили, ломая сухую траву под ногами, спасаясь от рыдающих туч, — и одна из них вдруг поскользнулась на быстром ходу, екнула, ударившись об ребра. Стало очень темно, волосы, плечи и даже ноги в сандалиях намокли, и Танечка поняла, что не сможет убежать. Попалась. Она шла медленно, чтоб не расплескать воду из пакета и хриплое дыхание наполненных страхом легких. Она так далеко от дома, и у нее нет с собой ингалятора.

С каждым вдохом грудь полнилась скрипом и свистом порванных легких — воздух просачивается между ребрами, как вода сквозь дырочки в пакете. Тучи навалились на плечи и толкнули Танечку коленками в землю. Она сидела в мокрой траве и слушала, как кричат легкие, отчаянно барабаня частыми вздохами в запертую дверь, за которой, всхлипывая, жались друг к другу белые медведи. Теперь ей осталось только ждать, пока у нее отрастут плавники и она сможет доплыть домой, пропуская дождь сквозь жабры.

— Зачем ты ушла так далеко от дома? В такую жару?

Был полдень, Танечка не доела борщ и убежала в сад под сливы, спрятавшись там от ворчащей бабы Жени. Она разложила альбом и карандаши на траве и, сидя на коленях, рисовала.

— Чем дальше уходишь, тем сложнее вернуться.

— Зачем так сложно, и куда вернуться?

Белые медведи из Танечкиного сна не оставляли ее в покое, их голодные угольно-черные глаза смотрели на нее из темноты прикрытых век, когда она ложилась спать, со дна умывального таза, там, где облезла эмаль, с потолка и вообще повсюду, где она о них вспоминала. Она разложила карандаши и рисовала медведей на зелено-синих льдистых горах.

— Куда-нибудь, Танюша, откуда уходят.

Лиля сидела напротив, прислонившись к стволу сливы, и что-то сосредоточенно писала в тетрадь, пахнущую лекарствами: что-то врачебное, серьезное и неразборчивое. Наблюдает Танечку.

— Что ты рисуешь?

— Сны. Про медведей.

Лиля перестала писать, повернувшись к Танечке. Та вытянула затекшие ноги и легла на траве поудобнее.

— Лиля, как можно откуда-то уйти? Ты же сама говорила, что настоящее — это производное прошлого и будущего, а уйти — это то же, что забыть. Вот ты, Лиля, ты где сейчас?

Лиля подняла голову, зацепившись ресницами за редкие облака, запуталась в ветках дерева, под которым сидела, и повисла так между небом и своими мыслями.

— Ну, посмотри, Танечка: работа у меня есть, не без места, как говорится. Хобби-занятия-развлечения тоже можно нанизать на пальцы. Стандартный набор: отдых, общение, путешествия, в меру моей самоуверенности спорт. Увлекаться ведь не значит этим заниматься, верно? Потом чтение — кто у нас не любит читать?.. Еще, можно сказать, посещение театров, погружение в культурную жизнь и присваивание этой жизни себе — вроде как я тоже понимаю, разделяю, принадлежу и восторгаюсь. Далее: готовить я тоже умею, даже иногда люблю. Ну, сколько уже набралось? Что же дальше? Верно, семья. Выросла из нее, как ноги из-под одеяла. Завести свою — с этим сложнее, но все поправимо. Нанизать на палец тоже можно. Все напальцовывается.

Танечка перестала рисовать, ища в траве среди слив-гнилушек нужный затерявшийся карандаш.

— Лиля, зачем ты мне перечисляешь? Ты где?.. Ты на мой карандаш наступила.

Лиля, не сопротивляясь, позволила отодвинуть свои ноги в сторону.

— Кажется, я потерялась, Танечка. Потеряла свое место и время. Я сама не знаю, какая я. Уж точно не такая, как я о себе думала. Все так быстро меняется и меняет меня, что я уже не помню, какой я должна была быть. И не понимаю, почему я должна быть кем-то. Я знаю, что так надо, надо обозначить себя для других опознавательными знаками: жила-была Лиля, она работала тем-то, увлекалась горными лыжами, домашними цветами и самоанализом, в меру интересовалась событиями в мире и политической обстановкой в стране, вышла замуж, родила, оставила след после себя в памяти потомков.

— Лиля, ты не те вопросы задаешь.

Лиля поскользнулась, сорвалась с неба и упала на сливы-гнилушки и альбомные листы и, кажется, порвала их.

— Лиля!

Танечка рассердилась, отодвинулась вместе с альбомом подальше от неаккуратных рук Лили.

— Ты спрашивай так: была ли Лиля Лилей?

— Танечка, ну зачем ты... Так все стройно было, а ты все перемешала.

Она отложила тетрадь в сторону — потом допишет. Танечкина комната с видом на сад сонно щурилась Лиле полузанавешенным окном. Знакомые часы на подоконнике поблескивали на солнце граненой оправой.

С недавнего времени, а может, и очень даже давнего, Лиля потеряла чувство себя. Она как-то утром заглянула себе в глаза и почувствовала, что ничем себя не ощущает, настолько ничем, что не могла ответить, была ли она буквами своего имени, укладывалась ли в свое тело, в чьи сны забиралась ночами. Лиля была где-то — это точно, но была ли Лиля Лилей — в этом она не была полностью уверена.

Она измерила себя в пространстве и во времени и не нашла существенных отличий от других людей, настолько существенных, чтобы четко идентифицировать себя как Лиля. Она перечислила свои стремления — успех, признание, семья, дети, здоровье не в счет, этого все хотят, этого нужно хотеть, — и добралась до страхов. Оказалось, что Лиля до сих пор боялась темноты, а именно чьего-то скрытого присутствия в ней, чьего-то едва ощутимого дыхания в лицо и молчаливого, терпеливого ожидания, кому первому не хватит воздуха. Это, похоже, наследственное. Еще Лиля плохо переносила коробочность четырехстенной жизни. Ей совсем не нравилось, когда углы сходятся треугольниками и вонзаются в стены, замыкая их вокруг нее, и что есть мотыльки, которые живут всего один день. Но кто сказал, что эти страхи больше никому не принадлежат?

Далее процесс опознания не продвигался, файлы спрятали в старую жестяную коробку из-под конфет, схоронили ключ в яйце, яйцо в утке, утку в зайце, а на кроличью шерсть у Лили, как и у Танечки, аллергия.

— Может, ты права. Может, Лилю перепутали с кем-то. И какой след она могла оставить? Генетический? След от лыж в Карпатских горах? А если подумать, жила ли Лиля вообще?

В прошлом году в грязную Темзу заплыла самка кита. Она оставалась там несколько дней, искала выход в море. Ее поймала группа спасателей, но они ничего не смогли сделать. Она не выжила — задохнулась в тухлой воде. Китовое тело разрезали на куски для выяснения причины смерти. Кусочки плоти в стеклянных баночках — ее след.

— Баночки эти показывали в телепередаче — проводили расследование.

Танечка передернула плечами, представив тысячи кровавых баночек на многоэтажных стеллажах китового музея.

— Лиля, не рассказывай мне про кита, я не буду спать.

— А я сплю. Это меня и пугает, что я могу спать. Значит, у меня все в порядке, порядок соблюден. Если ты задыхаешься, то это в соответствии с порядком вещей.

— Чей порядок, Лиля?

— Заведенный.

— А вещи чьи?

— Какие вещи?

Танечка больше не рисовала, бродила под деревьями, собирая опавшие сливы, пробуя их на вкус и стреляя косточками в забор, а то и в кур, подглядывавших за ней из-за калитки.

— Вещи из порядка чьи?

— Мои, наверное. Странно ты вопросы ставишь.

— Не понимаю, Лиля. Если вещи твои, то зачем ты их по чужому порядку заводишь?

— Что ты меня снова запутала, Танечка...

Лиля замолчала, рассердившись на возмутительную манеру Танечки задавать слишком простые вопросы, на которые нельзя так просто ответить. Мысли перепутались, смялись в ком и закатились под смородиновый куст — далеко, темно, тихо. Не трогать.

Лиля, домой пора, бабушка будет переживать.

У Танечки появилась живая рыбка. Танюша принесла ее с запруды, где поймала в пластиковый пакет, и поселила в трехлитровой стеклянной банке на тумбочке.

— Что они едят? Хлеб едят?

Баба Женя смахнула с тарелки с хлебом крошки в руку и перебросила в детскую ладошку.

— Сейчас посмотрим. На, побросай в воду.

Рыбка подплыла к самому горлышку и схватила пару крошек.

— Ну вот, значит, будет жить, — подытожила бабушка, постояла немного, глядя на банку, и ушла обратно в кухню.

Рыбка — маленькая жизнь в трехлитровой вселенной. Это совсем не то, что куры, которым бабушка отрезает головы для праздничного стола. Хотя Танечка никогда не могла смотреть, как птицы дергают ногами в ведре, истекая кровью. Их птичья жизнь оставалась в когтистых желтых ногах после смерти, и когда Танечка ела зажаренную под сметаной курятину, она поглощала жизнь, что не вытекла с кровью на дно ведра.

Рыбка была удивительно живой. Она существовала сама по себе, шевелила плавничками, пропускала воду через жабры, хватала крупинки хлеба. Танечка так просто не могла. Ей нужен баллончик с лекарством, чтобы пропускать воздух через жабры. Хуже — жабер у нее не было. И ей нужно думать о том, чтобы быть сильной и найти свое место в жизни, когда она станет достаточно взрослой, чтобы пить кофе и обзывать мужчин сволочами. Попростому нельзя, Танечка — дочь своей матери, внучка бабушки, правнучка прабабушки... у нее папины уши и больные бронхи. Ей обязательно нужно научиться рассуждать, как взрослый человек, и вести себя соответствующим образом. Образ соответствующий не имеет жабер, насколько она поняла, хотя и ингаляторами для дыхания образ тоже не пользуется. Рыбкой, конечно, было бы проще. А пока что Танечкин океан — это сливы в саду, перевернутые сосны в запруде, колючие розы, землянично-мятная бабушка и даже убегающие от смерти лапы обезглавленных птиц.

IV

Кусочек мелка упал на одеяло и испачкал белье. Танечка размазала пальцем бирюзовое пятно, еще потерла и накрыла подушкой, чтобы бабушка не увидела. Подумала о судьбе исчезнувшего — на время — пятна и перенесла его на бумагу, расширив до пределов бесконечного океана.

В ногах плескались пенистые волны. Тапочки намокли и ушли ко дну, чтобы стать частью подводного рифа. Белые хлопья соленой пены таяли у самого края кровати, наполняя комнату запахом яблок.

Яблоками пахло уже несколько дней, с тех пор как по утрам в саду начал собираться туман, словно холодными ночами стены дома чихали и кашляли старой побелкой.

Сегодня приезжал папа. Один. Заскочил после работы на несколько часов. Он привез Танечке новые краски — акварель в тюбиках — и огромные, размером с маленькие дыни, сладкие яблоки, импортные. Они поговорили о папиных делах, Танечка рассказала о своем здоровье и о Лиле, а потом вместе смастерили из надувного игрушечного телефона и пластиковых трубочек от использованных капельниц воздуховод в баночный аквариум, набрали камешков и выложили ими дно в банке для рыбьего удобства.

Папа пообещал записать Танечку в художественную школу, когда она поправится и вернется в город. Он уже поговорил кое с кем, кто знает кого-то, кто работает в такой школе. Осталось совсем малое: Танечке подлечиться.

Папина машина уехала, поднимая фыркающими колесами дорожную пыль. Пыль осела Танечке на платье синтетическим запахом ядовитых цветов и тут же проросла стеклянными флакончиками дорогих духов. У мамы таких нет.

Яблоки лежали на кровати и улыбались ей папиными зелеными глазами. Импортные, ничем не пахнут. Должно быть, сладкие. Должно быть, сахар в них впрыскивают через шприц колдуны на заморских фабриках по производству яблок без запаха. Надкусишь такое — забудешь, потеряешь, обманут, заберут.

Танечка встала с кровати и прошла в бабушкину комнату, где в старом мятно-земляничном шкафу вместе с орешками стоял в углу ее аккордеон. Она вытащила его за ремни, сдула пыль с клавиш и отнесла в свою комнату — будет играть.

А вчера мама ругала Танечку за то, что она без разрешения ушла далеко от дома и у нее случился приступ удушья, грозилась отвезти ее в больницу, но за Танечку заступилась баба Женя, и ей тоже досталось от мамы. Бабушка, конечно же, обиделась, а мама плакала и вздыхала ночью. Ночью мама слушает болезненное, не смазанное легкостью вздохов, дыхание Танечки, и ее глаза блестят в темноте комнаты, как две залитые блеском печальной усталости ракушки.

Ночь — нехорошее время, одинокое. Танечкины бронхи сжимаются по ночам от страха, когда кто-то, лежа в постели, солит подушку своим отчаянием, так что к утру глубокое соленое море плещется о железные ножки кровати. Соль разъедает штукатурку стен, поглощает запахи, и оттого по утрам над садом стоит туман, а яблоки пахнут молчанием.

Склеенные ярко-синей изолентой в местах надрыва меха аккордеона открывались, как стручки спелого гороха, с хлопком от долгого лежания в шкафу. Инструмент заскрипел, загудел всеми нотами сразу, когда Танечка проверила регистры, клавиши, кнопочки басов, прочистила ногтем дорожки скатавшейся пыли в складках мехов. Куры встревоженно зашумели во дворе, напуганные резкими, слоистыми звуками аккордеона.

Все перепуталось в доме бабушки, и Танечка даже не могла теперь с точностью сказать, чей она ребенок и кто ее родители, не говоря о том, чтобы объяснить Лиле. Она начала подозревать, что ее нашли на вокзале в дорожной сумке или колдуны импортные отрезали ее плавники, зашили жабры, превратив из рыбки в Танечку, не научив ее дышать воздухом. Рыбка без воды, яблоко без запаха. Мама без театра, папа без мамы. Наверное, Лиля права, когда говорит, что они не умеют любить. Может быть, это наследственное.

Унаследовано от пра-пра-пра-предков. Хотя Танечка считает, что даже, возможно, от обезьян или, дальше, в глубь веков, древних рыб.

Лиля все пишет что-то в свою тетрадь, которая пахнет лекарствами. Ее наблюдения должны помочь Танечке поправиться. Танечке или Лиле? Даже за завтраком она пишет, пишет, забывая иногда пить свой черный кофе, и зеленый лепной петушок замирает на краю проруби черной холодной воды.

Лиля была довольна, она медленно перебирала клавиши, вспоминая игранные прежде мелодии и этюды, ошибалась и возвращалась к началу. Она никогда не помнит нот, зато ее пальцы помнили инструмент и игру. Руки играли, а Лиля удивленно слушала, как пальцы шустро били по кнопкам и клавишам. Их память крепче, чем у Лили. Даже папа говорит, что у Танечки умные руки.

Мама делает вид, что не замечает Лилю, занятая поливкой и уходом за своей семьей домашних цветов в горшках. Раньше она выращивала в тех же самых горшках ссоры, которые набирали сок и лопались, когда родители уставали друг от друга. Тогда все бросались в разные стороны. Папа закупоривался в бутылку, как джинн, грустящий за зеленым стеклом, или пытался отравиться дорогими запахами ядовитых цветов. Эти флакончики чужих духов прорастали на подоконниках как сорняки, и мама с криками вырывала их, высаживая на их месте новые скандалы. Иногда мама сдавалась и переезжала к бабушке, где жила на нераспакованных чемоданах и ждала, когда папа приедет к ней за прощением, как русалка превращаясь каждую ночь в соленую морскую пену.

Теперь в горшках росли живые цветы. У бабушки были розы в саду, у мамы — миниатюрные пальмы и фикусы. Возможно, это наследственное, и со временем Танечка тоже обзаведется своим деревом или кустом.

Лиле, конечно, немного неприятно, что ее не замечают, но она не обижается. Она говорит, что это естественно, как симптомы болезни, которые со временем пройдут. Главное — не запускать само заболевание, чтобы оно не стало хроническим. Танечка поняла это так, что цветы в горшках — это симптом, как бабушкины розы.

Ее пальцы почему-то не хотели двигаться, словно связанные нитками, они не слушались. Ладони ее округлились, будто держали большие яблоки. Танечка опустила аккордеон на пол. Она ясно чувствовала упругие шарики в руках — гладкие, правильные. Пол под ногами прогнулся в дно чаши — пустая, — и Танечка испуганно закрыла глаза. Ее упрятали в шар, в банку с круглыми стенами. Она сделала что-то, и теперь ее всю скручивало изнутри в плотные шарики, и это было страшно и немного больно. Во рту язык свело от вкуса мела. Танечка испугалась, что ее сейчас сожмет в округлость и она больше не сможет двигаться. Она вскочила с постели, замахала руками и ногами, но комната по-прежнему закруглялась. Тогда Танечка уперлась в стену кулаками так, чтоб было больно, заталкивая шарики обратно в себя, и стала вслух читать что-то из школы.

Она так и не поняла, что же с ней случилось. Когда странный приступ прошел, она вышла во двор. Танечку слегка тошнило. Ей нужно обязательно рассказать Лиле об этом. Может, Танечка заболела чем-то еще, может, она сходит с ума, или отравилась яблоками, или у нее начали расти жабры, или папа врет. В любом случае, скручиваться в шарики — это неприятный и тревожный симптом. Она очень испугалась, потому что симптомы имеют привычку повторяться.

V

Танечка проснулась рано утром, когда еще было темно, от того, что всю комнату затянуло туманом — пахнет яблоками. Даже во рту не пошевелить языком — замело густо выпавшим мелом. Тумана было так много, что он продавливал стены, и они податливо выгибались. Углы стен разглаживались, как складки рубашки под утюгом, и сворачивались в правильную округлость. Теперь была очередь Танечки.

Упругие шарики застучали по вискам и затылку, выравнивая ее неправильности. Танечка поняла: ее свернет в тугой шарик, настолько плотный, что она превратится в точку и просто исчезнет, потому что Танечки не должно быть.

Она оттолкнулась от кровати, как от резиновой, и ударилась ладонями о стенку. Надо упереться в нее кулаками, чтоб стало больно, и что-то считать про себя. Тогда она проснется, и все станет на свои места и примет определенные, привычные формы.

В комнате зажегся свет. Наверное, мама услышала стук.

— Таня, тебе что-то приснилось?

Мама, щурясь от света лампочки, подошла к Танечке и попробовала отвести ее руки от стены, но та резко затрясла головой. Дышала она с трудом, смешивая хриплые вздохи со всхлипами.

Все ясно, Танечка задыхается. Надо сделать инъекцию, а если через пятнадцать минут не полегчает, то вызвать «скорую», собрать вещи: тапочки, смену белья, зубную щетку, ее альбом для рисования, кружку и ингалятор, отпроситься с работы, завтра с утра в больницу и позвонить отцу. Потом снотворное и заснуть. Женщины сильнее мужчин, все вытерпят. Танечка сильнее женщин, рыбка моя...

— У тебя приступ. Ложись на кровать, я сделаю укол.

Мама взяла Танечку за плечи, пытаясь развернуть, но Танечка закапризничала.

Теперь шарики сыпались на нее градом, тяжелее, чем прежде. Она пригнулась, почти касаясь лбом стены, и вдруг заплакала. И мама растерялась.

— Скажи, что я должна делать?

Она всегда знала, что надо делать, но Танечка никогда не плакала. А теперь плачет, стоя у стены и упершись в нее руками. Аккордеон раскрыл меха на полу, словно его уронили, а он все играет. Может, это не приступ удушья. Ночь на дворе, едва светает, и так хочется спать и не просыпаться. Проснешься и будешь совсем одна. Если Танечка плачет, то у кого еще могут быть силы? Танечка борец, хрупкий воин, вся в бабушку, не в мать.

— Таня, что случилось? Что мне делать?

Все было ясно. Тошнота свернулась клубком, и Танечка проглотила его — спрятала. Она поняла. Ее свернет в тугой шарик, потому что ее не должно быть. Танечка — это случайность. Вообще странно, как она появилась, если ее даже не научили дышать. Танечка — не настоящая девочка. Как в пустые яблоки впрыскивают сахар, так в нее накачивают воздух ингаляторами. Танечка — это даже не мамино счастье. Ее выловили сачком, а скорее всего, пластиковым пакетом с дырочками, и поместили в банку — маленькая вселенная в чужой жизни.

— Ты не любишь папу!

Легкие, пережевав весь воздух, подавились пустотой, и Танечка испугалась, схватила ингалятор и быстро вдохнула несколько раз. Кажется, ее больше не скручивало, шарики растворились в тишине и свете лампочки. Мама стояла тихо и мелко тряслась. Глаза ее плакали. Снова соль.

— И ты будешь говорить мне, в чем я виновата?! Дура! Думаешь, ты ему нужна с твоими болячками?

Мама кричала. Она не поверила Танечке. В комнату забежала бабушка, застегивая на ходу халат. Мама выхватила из рук Танечки ингалятор и швырнула в сторону.

— Хватит! Надоело!

— И меня не любишь! Мы тебе мешаем!

Мама раскрыла шкаф и стала выбрасывать с полок Танечкины вещи на кровать и на пол — колготки, платья, карандаши и альбом, засохшие бутоны роз и камешки с запруды, пустые баллончики ингаляторов, использованные шприцы, старую коробку из-под конфет, все вон.

— Собирайся! Отвезу тебя к нему, и живи как хочешь! Дрянь к дряни! Не маленькая, сама лечись, кормись и не трепи мне нервы! Люби его, дорогого, пока он тебя не променяет на своих баб! Мама, убери ее отсюда, чтоб я ее не видела!

— Не городи глупости, Ленка! Куда ты ребенка?! Со мной будет. Раскричалась.

Бабушка загородила собой Танечку, выталкивая ее из комнаты.

— Успокойся, я тебе говорю.

— Хватит, мама! Я не железная! Это он ее научил, дуру!

Мама развернулась, высоко взмахнув рукой, и банка с водой упала на пол. Она закрыла лицо руками и зарыдала в полный голос.

— Сядь!

Гроза в бабушкином голосе заставила маму сесть на кровать.

Маленькая вселенная разбилась мелкими осколками у ног мамы. Рыбка прыгала на мокром полу, и бабушка, охая, поймала ее в большую ладонь и аккуратно переложила в руки Танечке, оставив на ее коже капельку крови.

— Положи в воду, иди.

Затем села рядом с мамой, обняла, заботливо уложив ее голову у себя на груди, — баиньки.

В руках била влажным хвостом рыбка. Жизнь уходит из ее плавничков, высыхает без воды. Танечка поняла: ей нужно уйти, чтоб никому больше не делать больно. Мама права, она дрянь и дура. Она попробовала сжать себя в шарик и исчезнуть, но у нее не получилось. Это было бы слишком легко. Стены снова встали в прямой угол, вода вытекла, мама разбилась об пол, как стеклянная банка, а Танечка помогла ей. Лиля не права, она умеет любить, но ей всего неполных одиннадцать лет. Слышишь, Лиля?

Танечка вышла из комнаты, обула сандалии и пошла на улицу, со двора. Светало быстро, и тропку к запруде было хорошо видно. Она спешила, почти бежала, потому что в ладонях, закрытых замочком, плавнички двигались тише, слабее. Еще немного, и Танечка остановилась. Она открыла ладонь и погладила рыбку пальчиком. Тихо. Задохнулась.

Танечка опустила узенькое тельце в траву и села рядом. Она подождет здесь, пока дома успокоятся.

Лиля, расскажи мне о море.

О море

У моря огромные пенные волны, которые тают у ног робкими поцелуями влажных губ. Морю много лет, и даже больше, чем кажется. Его нужно уметь любить — с вонью сохнущих на камнях водорослей, острыми обломками

ракушек под ступнями, пугающей глубиной и страхом туда упасть, с холодными туманами по утрам.

Это был первый раз, когда они поехали на море вместе. На машине, чтобы одни и никаких соседей, подглядывающих с верхних полок. Они сняли старенький домик, мало знающий о том, что такое удобства, но зато совсем близко к берегу с меланхоличным пляжем, скрывающимся за густо разросшимися кустами ежевики.

Пока он спал, Лиля тихо поднималась и шла на пляж, садилась на еще сырой от ночной влаги песок и растворялась в гуле воды, окунаясь взглядом в просыревшее от тумана небо. Наедине с просыпающимся морем она силилась вспомнить, каким оно было, когда она в первый раз в самой юной жизни своих предков вышла из гудящей воды и сотворила мужчину, чтобы любить его и его детей. Кажется, тогда ее звали Евой. Она любила сильно, так, что ради него отказалась от права первозданности.

Лиля сидела на песке, пока ее сорочка не промокала, и тогда возвращалась обратно в домик исповедоваться ему в своем грехе ереси, покорно отдавая себя огню его губ.

А по вечерам, спрятавшись за ежевичными кустами, в полной темноте они слушали море, вслушивались в шум воды, встречающейся с берегом, — вздохи всех отверженных, выброшенных когда-либо от начала творения на сушу, где они умирали от воздуха, не успев к нему приспособиться. Кто-то, конечно, выжил, сменил плавники и жабры на лапы и бронхи, но уже не смог вернуться. Теперь они сидят на берегу и тоскуют о воде и невозможном Обратно. Были и такие существа, которые не смогли привыкнуть, им всегда не хватает воздуха, им неуютно ни в воде, ни на суше. Они бродят по берегу, у самого края моря, и ищут свое место.

Они ходили плавать каждый день, заплывая далеко и качаясь на волнах, пока их не приносило обратно к берегу, где они таяли от усталости и солнца на песке. Но однажды они потеряли друг друга из виду. Море было спокойным, вода теплой и мягкой, и Лиля почувствовала, что растворяется.

Сквозь ее прозрачное, струистое тело проплывали рыбки с темными, узкими спинками. Она медленно опускалась на дно. У Лили даже не было голоса, чтобы позвать на помощь. Тогда она еще не знала, что может быть большой рыбой с треугольными плавниками, и очень испугалась. Страх, как ей потом казалось, был не по-морскому холодный, словно в ней жило пресное северное озерцо — пруд с ледяной прозрачностью вод.

Но потом Лиля вспомнила, что она не одна, что Никита был где-то рядом. Лиля успокоилась, раскинула руки и ноги и осталась качаться на воде. Ее скоро найдут. В тени склеенных солью ресниц Лиля смотрела на небо и слушала воду.

Глубоко под ней, на самом дне, шуршали черными иголками морские ежи — тихое шухх-шухх, шухх-шухх через толщу воды, будто разворачивают на дне лист оберточной бумаги, ощупывая его тонкими иглами, фыркая от восторга. Колючие шарики медленно перекатывались по дну, сталкиваясь, останавливаясь и шевеля длинными, острыми иголками. Колючки покачиваются из стороны в сторону, безглазая плоть прячется в их ощетинившейся недоступности. Вдруг один черный комок сжался и исчез — по дну, медленно двигая длинным треугольным хвостом, ползла размытая тень.

Потом ее слух уплыл за большими, древними черепахами на крайнюю землю сбрасывать пятнистые панцири и вытекать слезами на крупитчатый, колкий песок, оплакивая их безмолвную смерть. Черепахи, тяжко передвигая посуху короткими лапами, оставляли за собой глубокие рытвины и тугой

шорох раздвигаемого песка. На востоке наливалось алостью раннее солнце, и во влажных черепашьих глазах с налипшим к ним песком море вспыхивало кровью растерзанной рыбы и стекало на землю соленой, режущей болью. Они отползли далеко от воды и видели, как умирает море. Они плыли сюда, чтобы выползти на берег, накрытый сплошным куполом темного неба, увидеть истощенную утренним огнем воду и обессилеть от горя, и не вернуться, потому что солнце поднялось слишком высоко, и море их глаз выгорело до слепоты. И они плакали, плакали этой слепящей темнотой, одни на далекой земле с тяжелым песком, не пускающим назад в уже погибшее море. Они истают, оставив огромные пятнистые панцири на берегу.

Лиля стала очень близка с морем, у них теперь были общие воспоминания и секреты. Она пропиталась солью, сменила кожу и цвет глаз и нахваталась глупостей у прибрежного ветра. Она наглоталась туманов, и море проросло в ней маленькой рыбкой — у нее должны были быть зеленые глаза.

Со временем Лиля забыла, как ее зовут, и море обиделось, расплескавшись на пол ванной комнаты неосуществленным Было Бы — уплыло от Лили юркой красной рыбкой в большой океан. Кусочек ее плоти. Лиля так и не узнала, как ее звали.

Танечка?

VI

За окном, раскрытым на обе створки, кричали ласточки. Их острые крылья царапали в вечернем небе птичьи письмена, которые бабушка расшифровала как завтра-будет-хорошо-ясно. В доме поужинали, и Лиля осталась с Танечкой по ее просьбе.

Танечка сидела на подоконнике, свесив ноги в сад. С мамой они не разговаривали. Говорила только мама, а Танечка молчала, слушала. Лиля уже все знала. Неудивительно, она же врач. Удивительным было то, что Лиля сегодня пахла дождем, хотя ласточки говорили совсем другое.

Лиля больше не писала в свою тетрадь. Ее беспокоил Танечкин недавний приступ. Временное расстройство восприятия, похожее на симптомы парциального эпилептического припадка, может возникнуть у детей при высокой температуре.

Припадок если и был, то только в сознании Танечки, и она с ним справилась. В любом случае ее нужно проверить на предрасположенность. Скорее всего, это перепад температуры тела и нервное истощение, эмоциональное возбуждение.

В доме неспокойно. Неспокойно в мыслях у Танечки.

— Я вырасту и уйду из дома.

Танечка говорила, словно сама с собой, отвернувшись от Лили.

— Уеду далеко. Найду там свое место. Лучше у моря.

Лиля усмехнулась. Танечке уже тесно, она растет все быстрее, окно скоро станет для нее узким, а старым часам придется распрощаться со своей граненой стеклянной оправой.

— Почему именно к морю? Ты была на море?

— Была, но давно. Помню только медуз на песке, я их в баночку собирала. И еще что на мне только плавки были и панамка, и я чувствовала себя голой.

Лиля слушала, не перебивая.

— Лиля, почему на маленьких девочек на пляже надевают только плавки? Они же знают, что они девочки. Мне до сих пор снится, что я хожу по улице в плавках и панамке и все надо мной смеются.

— Многим снятся такие сны.

— Тебе тоже?

— И мне тоже.

Лиля улыбнулась. Ничего от Танечки не спрятать, от ее любопытных вопросов и рук — все найдет, рассмотрит, откопает.

— А зачем ты, Лиля, пьешь кофе? Я знаю, это твоя желтая кружка с петушком на столе стоит.

Под окном закудахтали куры — подслушивают, — и Танечка зашикала на них, замахала ногами, почти спустившись в сад с подоконника.

— Для бодрости. Не упади на розы.

Танечка вскарабкалась обратно в окно, сдувая упавшие на глаза волосы.

— Мама тоже кофе пьет, потому что без кофе «не может».

Куры разбежались, недовольно кудахча в стороне, и в комнате остались только крики ласточек. Лиля поднялась с кровати, подошла к окну и пристроилась рядом с Танечкой, уложив голову на руки и выглядывая в сад.

Замечательный вечер. В такую погоду хорошо спать на воздухе.

Танечка кивнула. Она всматривалась в небо над заборами и крышами, пытаясь рассмотреть там далеко-далеко море, его плеск и подсоленный запах, и прозрачных маленьких медуз на песке. Она не могла понять, зачем Лиле северное, холодное и ворчливое море. Танечке такое не нравится.

— Что ты будешь делать одна, когда уедешь далеко-далеко?

Танечка пожала плечами. Лиля всегда задает вопросы, на которые сама может ответить, и все-таки спрашивает.

— Не знаю. Что-нибудь интересное. Что-нибудь придумаю.

Как у Танечки все просто, Лиля так не может. Она действительно пахнет дождем, и в глазах ее дождь, и это неправильно. Танечка, конечно, уедет выбирать свою жизнь, подальше от своей наследственности, от фикусов в горшках и роз, от обманчивых яблок и проглоченных подушкой ночных рыданий. Только ведь все это ее догонит со временем. Нельзя уйти навсегда, можно только забыть, где ты был раньше. Но тогда как можно знать, куда шел, если не помнишь, где начал?

Вчера Лиля проснулась со странным ощущением своего отсутствия в собственном теле, словно оно жило само по себе, обходясь без Лили. Она ощупала свои руки, ноги и даже забралась себе в нос — все то же, все на месте, ничего не убавилось и не прибавилось, — и немного расстроилась. Было бы интересно, если бы она проснулась в ком-то или чем-то другом — могла бы узнать, как дышится, когда есть крылья или растет вертлявый хвостик. Лиля следила за своей слабой утренней тенью, вяло ползавшей по стене — вот-вот отслоится и опадет на пол, как кусок бумаги. Странное это было чувство, когда тело спит, а она сама — уже нет.

За окном все залило туманом, таким густым, что оконные стекла прогнулись под его тяжестью в комнату. Где-то в вязкой, влажной белесости кричала чайка — заблудилась, не могла найти Лилино окно. Только ориентируясь по голосу чайки, Лиля знала, что море, сердитое и холодное, было живо. Раз она еще кричит, эта городская чайка без имени, то значит, чувствует его и ищет, каждый день поднимаясь над домами и выглядывая, не плещутся ли у края города соленые волны. Лиля ждала вместе с ней. Иногда по утрам ей казалось,

что она слышала сразу за окном плеск воды и шорох тающей пены. Она лежала в постели до тех пор, пока уши не наполнялись этими звуками, пахнущими зелеными водорослями и пустыми ракушками. А когда поднималась — море исчезало до следующего сезона дождей. Но времени, проведенного с морем, разделенные с ним лишь оконным стеклом, хватало Лиле, чтобы превратить ее тень в огромную рыбу с длинным хвостом и множеством треугольных плавников и отпустить ее в туман, в затаившуюся где-то там воду.

— А вот я не знаю, кто я.

Танечка вздохнула.

— Зато я знаю, Лиля.

Танечка хотела рассказать ей, как баба Женя молится. Она застала бабушку ночью, когда ходила в туалет. Дверь в комнату была приоткрыта, и Танечка видела бабушку, как она сидела на полу, руки на коленях, лицом к иконе Божьей Матери с младенцем, прислоненной к вазочке с розами, и шепталась с Ней, Золотоголовой Девой. У Нее глаза — как две огромные ракушки, печальные и влажные. О чем они беседовали, Танечка не слышала, но догадалась, что о своем, о женском, все о том же.

Рядом с иконой горели две свечки, и теплые тени гладили бабушкино лицо и руки. Это было красиво. Бабушка была вдруг красивой, сильной и хрупкой, как ее розы. Мама тоже очень хрупкая, как Танечкино дыхание. И вот тут-то она поняла, что они тоже астматики. Танечка не может жить без ингалятора, рыбки не могут без воды, кто-то не может без любви, и даже пальмы и фикусы в горшках не помогают им. Это симптомы только разные, а жизнь одна.

— Она меня не любит, Лиля.

Лиля перевела взгляд на Танечку. Та, опустив голову, теребила зубами заусенцы на пальцах, совсем как ее мама, когда волнуется или о чем-то сосредоточенно думает.

— Конечно, она тебя любит. Только ей тоже нужно, чтоб ее любили. Она страдает.

Танечка перестала обкусывать ногти и повернулась к Лиле, перебросив ноги из сада в комнату.

— Как ты знаешь? А ты умеешь любить?

Лиля усмехнулась. Ей хотелось бы в это верить.

Она замолчала, плотно зашторив слова непроницаемостью губ, вернулась в комнату. Танечка только заметила, как ее взгляд сквозняком унесло в окно и дальше в тихий плеск омывающего горизонт неба. На краю земли, где вода умирает, истощенная солнцем, там, на песке кристаллами блестят капли чьих-то слез... И уползая с берега — бултых! — словно исчезает куда-то в иное существование, соскальзывая в мир льдов и полярных медведей...

— Закрой окно, сыро. Дождь все-таки.

Танечка, нахмурившись, слезла с подоконника и захлопнула створки окна.

— Лиля, скажи, зачем тебе северное море нужно? Там постоянно ветер и дождь.

Лиля не ответила, но Танечка не отставала.

— Лиля, зачем ты волосы заплетаешь? Распусти, они же вьются.

Лиля послушно вынула из волос шпильки. Танечка села совсем близко к ней, подтянув колени и уткнувшись Лиле в плечо, как котенок в теплое место.

— Ты не грусти, лучше расскажи мне еще что-нибудь.

...

— Надо же все-таки вспомнить, как тебя звать.

В Белфасте

Как же все-таки ее звали?

В этом северном портовом городе почти всегда было пасмурно, шел дождь, и ветер гонял по улицам поломанные остовы зонтиков. Город облепил берега узкой реки, впадавшей в море, и задушил ее мусором. Это был неспокойный город на берегу плаксивого моря.

Местные часто спрашивали ее: «Ой, как интересно! И что привело тебя сюда?»

Как она оказалась там — оставалось вопросом без ответа для нее самой. Она пожимала плечами и говорила: «Так получилось». В этом была правда. Она просто хотела уехать куда-то далеко, где есть море. Такое объяснение устраивало и ее, и тех, кто спрашивал, потому что многие интересовавшиеся сами приезжали в Белфаст без определенной цели. Возможно, они надеялись, что она прояснит для них мотивы и причины их собственного поведения, но получив ответ, который уже знали, оставляли ее в покое.

Другой вопрос, который она часто слышала, это: «Как тебе нравится местный климат?» И здесь она была более многословна: сильные ветры, которые надувают полы пальто, как паруса, и звенят в ушах, и постоянные дожди, от которых стены вечно простуженных домов прорастают назойливой плесенью, ей совсем не нравились. Но она привыкла к холоду. И не так важно, что ей здесь неуютно, как то, что она уехала.

Она родилась зимой, когда было много снега, синего неба, и мороз кусал щеки, так что папа время от времени вынимал из варежек на меху руки и растирал лицо. Он улыбался, щурясь слезящимися глазами в сторону родильного дома, где среди спеленутых младенцев с бирочкой на руке лежала она — крикливый, красный, слюнявый ребенок, которому уже тогда не нравилось быть там, где она была.

Была зима, и папе было очень холодно. Он шел по снегу, оставляя в нем глубокие следы, и плакал от слепящей белизны. Так она помнила свой первый день: свет отделился от тьмы и стал снегом, слепящим глаза ее отца.

Ее родители часто переезжали с места на место, пока она росла и становилась личностью. Мама постоянно распаковывала и упаковывала вещи в огромные фанерные ящики, которые пахли чаем, а она играла в поезда и самолеты, с радостью предвкушая дорогу и новые места, где они будут жить, пока папу снова не переведут на новое рабочее место.

Когда же семья осела на одном месте, она вдруг заболела, что прежде с ней редко случалось, и уже одна продолжала путешествовать по госпиталям, до тех пор, пока не выросла и поступила в университет. В больнице она привыкла к чувству холода, каплями втекавшего в вены через холодную иглу, что постоянно жила в ее руке. В университетском общежитии всегда дуло из оконных щелей, заставляя ее и соседок кутаться в одеяла и прятать ноги в несколько пар носков.

А потом она вышла замуж. Влюбилась, нашла исход-выход своим чувствам, прислонилась к теплому, родному, с любимым ароматом у шеи под

нежной, почти девичьей линией подбородка, чаще обросшего щетиной, о которую даже приятно было уколоться. Увидела его зеленые глаза — те самые, что мечтались в темноте ночей в уютной, на одну, постели, — и решила быть его женой.

Но снова пришла зима, и все замерзло. В их новом доме лед нарастал кристаллами, покрывая мебель и пол тонкой ледяной корочкой, отчего передвигаться стало очень опасно. И тогда она уехала.

Теперь это был сырой и неспокойный Белфаст. Она думала, что здесь будет больше моря. На самом деле море было так же далеко от нее в портовом Белфасте, как и в глубине материка.

Она нашла работу, завела знакомства, обменивала деньги на нужные и ненужные вещи в магазинах, потом носила, копила и выбрасывала эти вещи, общалась со знакомыми, выпивая в барах, иногда ходила в театр, записалась на различные курсы по интересам и время от времени посещала их. Жизнь ее была насыщена в меру ее желаний и возможностей. Перед сном она оставляла на полу включенной лампу — на всякий случай. Она не всегда ночевала дома, но в ее доме — никто, кроме нее. Может быть, это потому, что она не умела любить.

Перед сном она думала о том, что будет после Белфаста.

Тучный мужчина в очках с блестящим влажным лицом подошел к ней вплотную: «Hey love! You look gorgeous! Let me take a picture of you».

Конечно. Она улыбнулась в объектив камеры. Ее образ напечатают и поместят на претенциозном сайте в рубрике «Ночная жизнь Белфаста». Это модно. Ее лицо промелькнет среди других улыбающихся, и кто-то напишет гнусный комментарий под фотографией о доморощенных wannabes, которые обесценили настоящие ценности в жизни, заменив их на дешевую славу, которые растрачивают жизнь на клубы, алкоголь, наркотики и так далее. Ей это все равно не интересно. В студию к назойливому фотографу она тоже ни завтра, ни потом не пойдет, потому что от одной мысли обо всем этом ей становится холодно. Но она согласна улыбнуться, потому что все улыбаются. Стадное поведение. Киты тоже выбрасываются на берег стадно, и редко когда в одиночку. Она подобрала свою сумочку, попрощалась со знакомыми и вышла на улицу — такси и домой, в большую постель на одну.

Ночь — нехорошее время. В Белфасте кто-то умирает ночью, кто-то просто не спит, оставляя лампу светить на полу.

В освещенных окнах магазинов улыбались Санта-Клаусы и горели рождественские елки. Она поняла, что Санта-Клаус уже давно работает агентом по продажам, и у него хорошо получается. Санта-Клаус — это бог рождественских распродаж, на него молятся управляющие всех магазинов. Глядя на мелькающие образы в витринах, она всегда тосковала — во всем этом было мало смысла, зато была цель.

Дом промерз. Иногда ей казалось, что земля под ее ногами движется. Земля дрейфует на север к холоду.

Дома ее ждала маленькая вечная черепашка, которая вскарабкалась на пустой обеденный стол и замерла в ожидании. Ее лапы помнят соль первого рождения в жизнь. Она появилась на свет, когда ее древние предки прощались с умирающим морем на далекой земле, и первое, что она почувствовала, это вкус их слез. С тех пор в каждой новой жизни она ищет землю своего начала. Поэтому у черепашки и ее хозяйки, которой хотелось так думать, была потен-

циально общая жизнь. Они обе словно замерли в ожидании. Смысла в этом ожидании было мало, зато само ожидание становилось в отсутствии смысла целью.

Она подбросила колечки моркови вечной черепашке, включила отопление и телевизор, заполняя комнату звуками, и занялась нужными перед сном делами. В новостях рассказывали о новых смертях, показывали двухмерных людей, рассказывающих об их занимательно-бессмысленной жизни, рекламы о распродажах и обещания уюта и мира от различных производителей нелепых товаров, так что пока она заваривала себе чай, экран телевизора покрылся тонкой коркой льда.

Она села за стол, включила ноутбук и начала поиск. Ее интересовало все о холоде, который, она поняла, распространялся в мире, подобно простуде. Она не была единственной, кому холод мешал найти свое место в существующем порядке вещей и устроиться в жизни. У нее не получалось устроиться, заземлиться, прижиться. Она искала в Интернете истории о тех, кто тоже чувствовал холод и скользил по тонкому льду там, где другие крепко врастали в землю, добр*е*ли и распускались в уюте покоя.

Она рассудила так: что всему причиной глобальная эпидемия. Подмораживать начало давно. Она заметила, что холод влияет странным образом на память, обездвиживая ее. Некоторые из ее знакомых не всегда помнили, откуда они пришли и зачем, и Белфаст был лишь одним из мест, в котором если они и оставались, то совершенно случайно, часто сами не осознавая того, что после Белфаста уже ничего не будет.

Простуженные также теряли способность осмысливать происходящее. Смысл вымерзал, как вода в ведре, оставленном на морозе, и потому понимать жизнь, случающуюся вокруг и рядом, становилось сложнее. Она, например, не вполне помнила, как ее звали. Возможно, у нее было несколько имен. Она меняла их в зависимости от погоды и места, может, чтоб за ней сложнее было проследить. Ей даже казалось, что ее, как рыбу, по ошибке поместили не в тот водоем. Вместо большого просторного моря ее выпустили в зацветающий в жару пруд, на дне которого холодно, холодно, холодно. Там, глубоко в недрах земли, спит обломок ледяной древности.

Она даже завела историю своей болезни, записывая симптомы, развитие и свои комментарии, как настоящий участковый врач. Она все больше убеждалась, что заболевание мутировало, проявляясь различными симптомами. Она догадывалась, что те, которые приживались здесь, не замечая холода, были поражены болезнью насквозь, возможно, необратимо и неизлечимо. Болезнь становилась общей, как жизнь.

Чего она не понимала, так это был ли холод причиной или следствием. Поэтому лечиться было нелегко. Лишь только она шла на поправку, как насморк возвращался, в ушах звенел ледяной ветер, и все продолжалось — очередь в аптеке, поиски лекарств, освещенные лампой ночи, механичность существования, неустроенность и холод.

Чай в кружке остыл и покрылся маслянистой пленкой. Кажется, она задремала. Черепашка запряталась в складки одеяла и затихла — унеслась воспоминаниями в вечность. Вот и ей бы уметь помнить так далеко, но она разучилась управлять своими снами. Это, скорее всего, от усталости. Если раньше она хорошо знала во сне, что спит, и могла легко сказать своему сну, что показывать, а что нет, то теперь она стала сном своих сновидений.

Она закрыла глаза, и снова похолодало, пошел снег, падая рыхлыми хлопьями на руки и в сад, выбеливая сливы. Темные ветви замерзли и раствори-

лись в холоде. Все вокруг стало белым — цвет немоты и небытия. Голодные белые медведи с усталыми глазами — не спят — снова объедали звенящее от мороза небо, кромсая мохнатыми лапами лед, пока ничего не осталось. Она была совсем одна. Она сжалась от озноба и страха. Дышать было тяжело в отсутствии воздуха. Она легла в снег и попробовала проснуться. Она знает, что холод и медведи ей только снятся, надо только вспомнить, как ее звали, и тогда она проснется.

VII

На кухне было светло и уютно. Евгения Макаровна суетилась у плиты.

— Сейчас будут вам пироги, подождите.

Лиля остановилась, наблюдая за бабушкой, напевавшей неразборчивую мелодию под быстрые, уверенные движения своих рук.

— Что стоишь, как не родная, в дверях? Садись, чаю попьем.

На столе в маленькой стеклянной вазочке стояли розы, срезанные у самых бутонов, — недавно были сильные ветры. Часы, потеряв свою хрустальную оправу, постарели и переместились на шкаф в пыльный покой.

— Кружки знаешь где, доставай, наливай.

Кажется, кружки и чашки стояли в застекленном серванте за вставленными в щель фотокарточками детей и внуков. Заварка — в перламутровом чайничке с обвившимися вокруг носика красными драконами. Подарок мамы.

Бабушка, выложив пироги на большое блюдо, сняла фартук и села вместе с Лилей за стол.

— Ну, и как тебя теперь звать?

Лиля пожала плечами, смущенно улыбаясь. Она отхлебывала горячий чай, сдувая пар и глядя в чашку, где на дне затаилось ее отражение.

Баба Женя недовольно простонала, словно прикусила щеку.

— Все-то ты имена меняешь, как туфли, все тебе не сидится. Как мать твоя. Та тоже всю жизнь на чемоданах проводит. И я такая же была — всегда одна. И ты одна.

Она замолчала, поглаживая уставшие руки.

— Скучаешь ведь, я знаю.

Баба Женя наклонилась и поправила растрепавшиеся волосы внучки. Руки ее пахли теплым тестом и миндальным орехом.

— Грущу я, Татьяна, что никак места себе не найдешь.

— Так ведь я не одна такая. Время такое.

— Нечего на время пенять. У времени, как и у Бога, много имен. Это мы имена-то даем, а суть одна. Это мы, Татьяна, жизнь живем.

Баба Женя передвигала кружки по столу, оставляя чайный след на скатерти.

— Вот зачем ты, скажи, забралась так далеко? Чего тебе не сидится?

— Так куда присесть? Не нашла место еще.

— Да садись куда хочешь. Чего голову морочишь?

Бабушка, как и Танечка, не любит и не знает сложных вопросов, а Лиля затруднялась отвечать на простые. Она отвернулась к окну, глядя в сад, который снился ей сырыми ночами, когда холодный дождь поливал стены тоской.

— Ищу.

Баба Женя хохотнула, прихлопнув ладонью по столу.

— А знаешь хоть, что ищешь? Взяли моду — жить с целью. Со смыслом надо жить.

— Может, я смысл и ищу.

Бабушка вздохнула и замолчала. Голова ее слегка покачивалась, словно неодобрение бурлило в ней, выплескиваясь во взгляде темных, как вода в холодной зимней реке, глаз.

— Бабуль, а ты скучаешь?

Она ласково погладила внучку по плечу.

— Конечно, и там тоже тоскуют, там тоже одиноких много. Близкие всем нужны: и живым, и мертвым. А живым — тем более.

Она сидела тихо, глядя в окно. Куры, прохаживаясь по двору, посматривали на дом и кудахтали, обсуждая ее появление. Можно было услышать их взволнованный шепот: неужели она вернулась? Как же можно уйти, если мы все здесь? Можно забыть, откуда и куда. Откуда и куда? Ее спроси. Как ее зовут? Как ее теперь зовут? Похудела, бедненькая.

Она отвернулась от глупых птиц.

— Еще чаю хочешь? Сиди, я сама налью.

Бабушка, охая, поднялась, собирая кружки со стола.

— Это все потому, что оторвалась ты, как пуговица от рубахи, не знаешь, откуда ты, потому и не помнишь, как тебя звать. Все вы там, городские, как беспризорные, — и обогреться негде. Откуда ж тебе знать, где ты сейчас, если ты ни прошлого, ни настоящего не видишь? У жизни-то возраста нет. Сегодня не бывает без вчера и завтра.

Евгения Макаровна, поставив перед внучкой полную кружку, тяжко вздыхая, опустилась на стул и вытянула ноги, скрестив тонкие щиколотки, — загорелая за многие годы кожа сморщилась, как пересушенная на солнце помидорная кожица.

— Все бежите черт знает от чего, собираетесь в стада и мычите от страха.

Баба Женя снова замолчала, обирая распустившиеся нити из повязки на ноге.

— Нога вот у меня все ноет в колене, по привычке.

Она поднялась, открыла старый маленький шкаф — пахнуло земляничным мылом и памятью, — нашла шерстяной платок, каким баба Женя обычно укрывалась, когда в непогоду ее беспокоили боли в суставах, и накрыла ей ноги.

— Аккордеон твой так там и стоит. Запылился совсем. Скажи матери, пусть проветрит в доме.

Евгения Макаровна протерла слезящиеся глаза.

— И куда ты теперь, Татьяна?

Она пожала плечами. Она еще не решила, куда ехать.

Воздух в кухне пропитался горячим сладким запахом пирогов, и она приподнялась, чтобы открыть окно. В саду спели сливы, оттягивая отяжелевшие ветви к земле.

Куда-нибудь, где меньше дождей. Может, там даже будет море.





МИКОЛА МЕТЛИЦКИЙ

Родные видения

Урок Анатоля Велюгина

— Читайте Купалу! Теснее садитесь — и вслух.
Так мало-помалу
поймете, кто глух, кто не глух.
Где стих золоченый, где образ случаен, как дым, —
Твердил, огорченный
корявостью строк, молодым
Наставник...
Не строго
он хлопнул меня по плечу...
Читаю Пророка,
волшебные строфы шепчу.
И музыка слова едина с дыханьем строки,
И чудится — снова
и дух, и строка высоки.
— Садитесь теснее... Читайте Купалу... Сейчас...
Мир станет яснее...
Пронзительней... И без прикрас.
Там отчее слово тобою болеет в тиши.
И Родина снова
во всех закоулках души.
Проносятся шквалы, светлеет резной окоем.
Мне молвит Купала,
куда и зачем мы идем.
И, мучась от жажды, я чую живительность строк:
— Дойдешь ты однажды,
коль ты — настоящий ходок.
Не трусь и будь зорче:
как золото выглядит медь.
Твоей Беларуси по миру греметь и греметь.
Прочнее металла
народ наш. Ты слышишь шаги?
...Читаю Купалу...
И молвит Купала: «Не лги!
Пусть слабый забудет и дом, и родимую речь —
От нас не убудет:
мы вместе, нам слово беречь!

По вечной дороге,
где сходятся наши пути,
Навстречу тревоге,
навстречу Отчизне идти...»

* * *

Нет, я сады садил — не вырубал
Во имя непотребных интересов.
Но и себя, себя виню за шквал
Тех издевательств, что велись над лесом.
Ведь я смолчал, зеленочубый бор,
Не вышиб у насильника топор.

Я не сушил болот... И черный смог
Не мною пущен над горящей пущей.
Но я себя виню — не уберег
Птушиных гнезд от извергов грядущих.
Не слышал я, уйдя в напрасный стих,
Как нелюди раскидывали их.

И русла рек с землей ровнял не я —
Нашлись, кто это делал вдохновенно.
Но есть ведь, есть и в том вина моя —
Тлен не заметил в мыслях о нетленном.
Без слез теперь и вспомнить не могу,
Как восседал тогда на берегу.

И не моя рука в тот час ночной
На пульте грозной станции лежала.
Но как же мне не мучиться виной,
Что колет в сердце поострей кинжала?
Ведь повторял и я: «О, мирный атом,
Трудись во благо, но не стань солдатом!..»

До склона лет, у бездны на краю,
Мне неизбывной мучиться виною:
Судьбу народа — и судьбу свою —
Я вверил тем, кому здесь все чужое.
И потому себя, бредя по краю,
В своем дому бездомным ощущаю.

* * *

То был какой-то странный сон.
Мне снился замок Каркасон,
Гремели славой Транклавеллы.
И с крепостных замшелых стен
Тела, — а в них торчали стрелы, —
Сползали, обращаясь в тлен.

И в замке том, чужом, далеком,
В горах, что не достанешь оком,
И я бродил среди небес...
Моей измученной Отчизны.
Где замки?.. Только с укоризной
Все смотрит на руины лес.

На мир разбойный, очумелый,
Глядели с выси Транклавеллы,
И виделись с вершины им
Чужих эпох чужие сечи,
Орудий грохот, жар картечи —
Мой век, одетый в горький дым.

В бойницу выглянув из замка,
Старейший в том роду прошамкал:
— Смотри, какой там смрадный чад!
Похоже, пекло там бушует,
И кровь течет... И смерть ликует...
А горы — вот они, стоят.

А я, цепляясь за отроги,
По небу брел, как по дороге,
За горизонт, где даль черна.
На горький дым своей Отчизны,
Где те руины помнят тризны
И гордых предков письмена.

Жернова

Забрел на старосветское гумно
И будто окунулся в час пещерный.
Там жернова, забытые давно,
Лежали среди мусора и скверны.

Который год их каменную плоть
Ничья рука не греет терпеливо.
И в августе им нечего молоть,
Какой бы хлеб ни уродила нива...

И только время капает с лотка
На верховик, навек одетый в холод.
Но век ушедший, будто сонный волот*,
Внезапно вскрикнул...
Памяти мука
Вдруг заструилась... И тотчас предстало
В воображенье прошлое опять...

---

* *Волот (бел.)* — богатырь.

И я сказал камням: «Вам лет немало,
Но и без дела нечего лежать.
Перемелите лучше на муку
Все горе, что случилось на веку,
Чтоб очищенье светлое настало».

* * *

Отрезы, платья, рюши, вытачки —
Сундук, что временем пропах.
Их бабушка порою вытащит —
О, сколько юности в очах!

Лицо, морщинами изрытое,
Разгладится... Забыто зло.
Людьми забыта... Мужем битая...
Душа, как белое крыло.

Вот так заря, давно не летняя,
Восходит из-под серых плит.
Дорога смертная, последняя,
Уже нисколько не страшит...

Весь день приданое разглядывать,
Мурлыча простенький мотив,
А после вновь в сундук укладывать,
Махру от моли не забыв.

А там закат в оконце шлепнется —
Опять — стара, опять — одна.
День отчадит... Сундук захлопнется.
А память —
Вот она, без дна...

Погреб

Душное лето дыханье плавило,
Вниз по ступенькам шагало, светлое.
Бабушка, верная вечным правилам,
Погреб меня позвала проветривать.

Как я бежал с огорода... Как же я
Счастью навстречу ладони выставил!
Не говорил, что ступенька каждая,
В погреб ведущая, страхом выстлана.

Весь в паутине, во мраке, в плесени,
Погреб казался мне черной нишею.
Вот уже бочки наверх вознесены,
Лезут на солнце их лики рыжие.

Цербер, что света не видел белого,
От холодрыги-воды в сумятице.
Миска, на солнышке разомлелая,
Встав на ребро, удирает-катится.

Вымытый погреб, где воздух с привкусом
Всех разносолов, на зиму спрятанных,
Где ни страшилищ, ни бед... Лишь искусы —
Только ступень запоет под пятками.

Только вздохнешь — огурцы соленые
Так ароматны — слыхать на улице.
...В сторону сдвинув вершки зеленые,
Батька черпает рассол... И жмурится...

* * *

Порыжел огуречник давно,
Притаились туманы за ветлами.
Солнце рано зайдет... И темно.
Поле голое. Холодно. Ветрено.

Черный грач, будто черный монах,
Ковыляет межой перепаханной.
День болотом и рыбой пропах,
И ужи выползают на запахи.

Приросло к перелеску сельцо,
Тишину нарушая убогую.
И качается-едет сенцо
На возах полевою дорогою.

Бор в осенней дремоте затих,
Серым совам безмолвие нравится...
И от этих видений родных
Мне уже никогда не избавиться.

Флюр

Очей-черничин остренький прищур,
Чуть смуглое лицо и чуб смоляный.
Я позову его, как в детстве: — Флюр!
И он придет с Даниловой поляны.

Мы в Бабчине с ним лазили в сады,
Ходили в лес — с потемок до потемок.
Товарищ мой, татарской той орды
На все село единственный потомок.

Отец его весь день на буровой,
А с ним и мать... В дому лишь пара кошек.
У пацанов соблазн известный, свой —
Пошли грибы, набрать бы полный кошик!

Любители ребячьих авантюр,
Мы свой «улов» сбывали для закуски.
И говорил мой друг-приятель Флюр
С другими — и со мной — по-белорусски.

Родимых слов немаленький процент
Обогатил его запас словарный.
Ну а акцент... Конечно, был акцент...
Смешной и легкий... Вовсе не вульгарный.

Хватал тетрадки. Думал про свое
И спрашивал с загадочным прищуром:
«Скажи по правде... Это... Двойки ё?..»
Ну что таким ответишь балагурам?

Прошли года... Немало горьких бурь
Мы видели... Сердца — и те не в ритме...
Приди, дружище, черноокий Флюр,
Как хочется с тобой поговорить мне!

Опять скажу неправду: «Двойки ё!..» —
Не всем по нраву отчей мовы чары.
И вновь, и вновь талдычат про свое
Иных времен «монголы и татары».

Как бы желали «мове» новых бурь
Родных краев забывшиеся дети.
Ты овладел за месяц ею, Флюр.
А что они? За жизнь не овладеть им!

Летят года... Все уже братский круг.
Для многих «мова» — только вид нагрузки.
Приди из детства, мой татарский друг,
Поговори со мной по-белорусски.

* * *

Жизнь — Божий дар? Одумайся! А чей
Тогда указ отнять ее, друг милый?
Трагедия на жертв и палачей
В который раз Отчизну разделила.

Что человек? Лишь точечка, тире
В писаниях чернобыльского ветра,
Искра от вспышки в атомной игре...
И, как ведется, жертва, жертва, жертва...

И что поделать — плачь или не плачь?
Заброшены дома, напрасны речи...
Как страшно вопрошать, кто твой палач,
В ответ услышав — гений человечий!

Перевод с белорусского Анатолия Аврутина.



АЛЕСЬ ЖУК

Праздник дождя

Рассказы

Калина во ржи

Уже две недели Боровец жил у старого лесника Язепа. Дни напролет он ходил по облетевшим осенним лесам, а долгие осенние вечера просиживал или за книгой, или над листами чистой бумаги, делая зарисовки по памяти. Боровец привык к поскрипыванию точильщика в стенах, к настольной керосиновой лампе с отколотым сверху и закопченным стеклом, привык к глухой осенней тишине и был рад, что собрался и выехал из города.

Этим вечером не рисовалось, и Боровец начинал злиться и нервничать. Он швырнул в угол скомканный лист бумаги, которым Язеп утром разожжет печь, закурил, включил приемник, безразлично слушая, как тот по-змеиному шипел, пока прогревался. Потом откуда-то издалека, сквозь шум и потрескивание начал наплывать чистый грудной женский голос:

Стоит, пригорюнясь, калина во ржи,
Калина, где юность, где цвет твой, скажи...

И голос, с еле уловимым дрожанием, наполненный такой человеческой болью пережитого, победил пошловатое транзисторное шипение, заполнил комнату.

Боровец почувствовал, что в груди стало жарко и тесно, — он вспомнил, где и как впервые услышал эту песню.

...Они тогда немного опоздали, но вечер еще не начался. За опущенным занавесом стучали, расставляя мебель, в зале в проходах толпились пионеры — они, как и было заведено, вручали уважаемым гостям цветы.

Потом выступали и гости, директора школ, инженеры, даже ученые. Все рассказывали примерно одно и то же: как тяжело было учиться после войны, как бедно жили, как своими руками восстанавливали учебный корпус и этот самый зал. Аплодировали всем одинаково, и всем пионеры вручали цветы.

Концерт был обычный, студенческий, подготовленный к случаю, и за все «отыгрывался» недавно созданный эстрадный ансамбль — писк моды.

Боровец, который вообще недолюбливал джаз, терпеливо слушал подвывание саксофона и треск ударника, — если бы рядом не было Веры, он потихоньку вышел бы в коридор и там переждал концерт.

Песни тоже звучали только модные, удивительно похожие одна на другую.

И когда на сцену выбежала небольшая ростом, тоненькая, в белом, как у школьницы-выпускницы платьице девочка, Боровцу стало жаль ее, такую чистую и светлую, вероятно, первокурсницу, оттого, что и она начнет изгибаться в такт какой-нибудь затасканной мелодии «ай-я-яй, тебя люблю я!..».

Но девушка неожиданно и для настроенного на эстраду зала, и тем более для Боровца, негромко, глубоким и чистым, казалось, невозможным для нее, такой маленькой, голосом запела:

Свистели, хлестали стальные пески,
Калина, скажи, где твои лепестки...

У него вдруг сжалось и защемило сердце. И вспомнилось не только поле и одинокое деревце на нем, не только дальние за синей мглой горы. Вспомнилась молодость, которая пришлась на войну и у которой не было времени для радости. А потом незаметно подросла другая молодежь, и человек, осмотревшись, понял, что его весна давным-давно ушла. Сделалось больно за раннюю взрослость, за одиночество перед старостью.

Нежданно-незванно ударит мороз,
И сердце калины сожмется до слез,
Мороз не остудит в том сердце тепла:
Ведь сердце вам, люди, она отдала...

И так хочется, чтобы молодость повторилась, чтобы теплилась хотя бы слабенькая надежда на это:

Весеннею ночью и ей не до сна,
Весеннею ночью калина одна...

А голос, слегка дрожащий от чувства и от боли, и не хочет обманывать напрасной надеждой, и утешает:

Спят крутые горные отроги,
Не грусти, калина, у дороги,
Не грусти, калина, у дороги,
не грусти...

И уплывает куда-то за те синие горы, и тает. Боровец не слушал ни аплодисментов, ни криков «бис». Он видел только певицу, как она рванулась за занавес, и был уверен, что она плачет.

Потом в довольно большом вестибюле, битком набитом молодежью, начались танцы.

Боровцу не хотелось толкаться в толпе, неинтересно было смотреть на мальчиков с напущенными на лоб и на ворот волосами, на то, как они в поте лица «ломали» твист, подметая полы расширенными штанинами, которые тогда только входили в моду. И причиной тому была не только разница в возрасте, не только то, что он подростком намесился болот в партизанах, что в отместку за его «партизанку» расстреляли родителей. А пока оканчивал институт, рисовал все ту же «партизанку», гудел в компаниях таких же, как и он, прошедших войну, не заметил, как стал старым холостяком...

Причиной был разбередивший душу дрожащий женский голос, — он дрожал в нем. И в сердце подрагивала тоненькая оборванная струна — и покалывала, и кровавила.

Но он уже привык быть один, по-мужски молча переносить все в душе, подуставший, осторожный и решительный, надеющийся только на самого себя. Однако годы берут свое, и он иногда думал о том, что хорошо, если бы рядом была женщина, семья...

Боровец сказал Вере, что хочет покурить, и повел ее в пустую аудиторию. Там она терпеливо ожидала, пока он выкурит сигарету, понимая, что хочет просто побыть с ней наедине. Боровец тоже понимал, что ей хочется поскорее в зал, где пошловато играли на мотив танго «Темную ночь». И он проводил Веру к подругам, а сам бродил по пустым, темным и гулким коридорам,

посвечивая красным огоньком сигареты. Как-то отстраненно думал, что знаком с Верой больше трех лет и что она, как говорится, имеет еще, наверное, виды на него.

Познакомился он с Верой в студии художников-любителей, куда его пригласили провести занятия. Среди молоденьких девочек Вера выделялась взрослостью и какой-то спокойной женской уверенностью в себе. Он сам заговорил с ней, они вышли в скверик, забросанный разноцветной листвой, еще совсем свежей, а потому солнечной. И он начал нести околесницу об ослепительной осени, а Вера вдруг серьезно заговорил о лесе, о грибах, о своей лесной деревеньке. И в нем вдруг ожило давно забытое, из детства, уже ушедшее в небытие, и его потянуло к Вере серьезно.

Вот так и живет, как в тумане призрачного счастья, просто и легко, словно спускается вниз по склону, но ведь есть же в жизни что-то более высокое и светлое, о чем человек начинает забывать к старости.

Иначе зачем, еще ничего не зная о жизни, эта девочка так пела свою песню?

Оставаться на вечере Боровец больше не мог.

Песня закончилась, хлестанула модная эстрадная мелодия. Боровец отключил приемник, перевел дыхание, осмотрелся, возвращаясь в реальность, и почувствовал, как жарко и накурено в лесничевке, в одном свитере вышел во двор, прислонился к стене, снова закурил.

Где-то в вышине ходил по вершинам деревьев ветер, тревожил глухую ночную темноту и непроглядность, — и устало затихал.

Боровцу вспомнилось, как в грустном свете уличных фонарей ровно поколыхивался густой покорный снегопад, как в белой мгле затухали красные зрачки стоп-сигналов такси и как уже дома он ворочался с боку на бок, не отвечал на телефонные звонки, повторявшиеся много раз, и злился на самого себя.

Прошло немало лет. Он делал свою работу, успокоился в кругу своих друзей, уверенный, что все делает правильно.

И вот теперь он, Боровец, о котором говорили с неподдельным уважением, которому некоторые завидовали, тот самый Боровец с отчаяньем почувствовал, что в чем-то ошибся, чего-то важного не заметил в жизни и навсегда прошел мимо. Он не мог собраться с мыслями — в голове почему-то проворачивалось неизвестно где и когда увиденное: усталый мужчина доверчиво спит на плече у жены, и она, посматривая на него, легонько улыбается, и в ночной тишине шуршит шинами по асфальту автобус...

И как светлый сон было это воспоминание здесь, в лесной глухомани, в бесконечном, осеннем одиночестве, от которого начинало щемить сердце.

В осеннюю непогоду

Было тихо и печально, грустно и обреченно чернели в скверах и парках клены.

Ничего не изменялось за эти трое суток — покуда шли дожди, ровные и бесконечные. И только теперь, ночью начал подниматься ветер, шастал где-то по крышам, гремел оторванными листами жести, гонял дождь волнами.

В общежитие идти не хотелось: если проснутся ребята, начнут насмешничать и подначивать. Арнольд представил, как Володька, низкий, худющий, с зачесанными набок волосами, будет остро смотреть сквозь узкие щелочки

своих монгольских глаз, растягивать в улыбке губы и говорить что-нибудь резкое, вроде:

— Вы посмотрите: от всех наук освобожденный явился! Завтра, может быть, осчастливит своим появлением факультет. Гнать тебя, золотко, надо, а не нянчиться с тобой! — говорит, как и положено комсоргу курса.

Потом он садится на кровать, кладет на колени папку и начинает перелистывать свои рукописи.

Арнольду немного смешно от такой его игры в комсоргство, от того, что Володька не признает средних писателей: он делит их только на гениев и на посредственность, а сам пишет стихи, как и все начинающие, и в фаворитах среди них не ходит.

Володьку сменяет Миша. Он считает себя психологом, к тому же он земляк Арнольда, поэтому будет рассуждать по-отечески.

Начнет он издалека:

— Слушай, Арнольд, я знаю, что ты не такой уж простачок, как притворяешься. Ты же страшно начитанный. И потому нечего, нечего дурака валять, пойми: тут, как в троллейбусе — затолкаешься в серединку и без билета даже до конечной доедешь, и диплом, как все, получишь. Кириллицу и глаголицу да разные там латыни за тридцать рублей стипендии можно перетерпеть...

Миша среднего роста, круглолицый, волосы его гладко причесаны, лоб большой и чистый — прямо сегодня можно сажать директором школы, солидно будет смотреться.

Арнольд чувствует, что у него возникает непреодолимое желание запустить в земляка тапочкой.

— Слышь, Миш, ты на свиданиях своей Маньке тоже такие праведные поучения даешь?

Миша краснеет от злости, что его Марийку обозвали Манькой, и сердито хлопает дверью.

Более трех месяцев Арнольд не ходит на занятия, и неудивительно, что его могут отчислить из университета, терпение у начальства когда-нибудь да и кончится, так что надо определяться.

...Мать будет ходить, обвязав голову мокрым полотенцем: подумать только — ее сыночка отчислили из университета! Что скажут в деревне? Хоть ты на люди не показывайся.

...Отец будет зло сопеть — такая у него привычка. Ну и пускай посопит!

В тот вечер, через несколько дней после выпускного, им решили заняться по-настоящему. Двое заботливых родителей своим единственным сыном. Такой дружной родительской лекции он еще никогда не слышал. Так основательно еще никто ему не объяснял, что разные там геологии и романтика — чистейшей воды бред молодых дураков. Нет ничего в жизни надежнее, чем директорское кресло, ибо зиждется оно на сорока приусадебных сотках и имеет над собой крышу избы. На филфак поступление гарантировано: там работают старые однокашники, и провала не будет.

А ему, Арнольду, сыну директора, при поступлении нельзя провалиться.

Арнольд тогда скорее растерялся, чем разозлился. Заявил, что ученикам надо было бы послушать директора не на уроке, когда он говорит о высоких идеалах. За это сторонник гуманных методов воспитания отвесил сыну такую пощечину, что на звук ее прибежала из кухни мать.

Он тогда выскочил в сад, чтобы не слышать грызню родителей. Обиды за пощечину не чувствовал, было только противно на душе, и возникало жела-

ние вернуться в избу, с откровенной издевкой наблюдать ругань родителей, и чтобы они видели эту издевку.

После того вечера отец ни разу не заговорил о поступлении, однако втихомолку оформил документы и отослал в университет.

Почему он поехал сдавать экзамены? Не потому, что боялся вконец рассориться с родителями. Была у него еще не одна ночь с Верой, она ласкала его, сжимала пальцы и шептала, что они во что бы то ни стало должны быть вместе... Эта ласка доставала до сердца. И получилось так, как хотела Вера: она учится в том же университете, на математическом, и он сегодня был с нею.

И тут оборвалось и защемило сердце. Он уже не мог вспомнить, когда пришло это ощущение, и он не мог отделаться от него: чем дальше, тем короче становились их встречи. Вера будто торопилась отласкать его и отпустить.

От этого было тревожно и страшно, а иногда подступала глухая злоба — неизвестно на кого и за что. И возникало чувство, что он, еще мальчик, выбежал во двор, на мягкий и чистый снег, начал, забыв обо всем, лепить снегурочку, потом долго любовался ей, и только когда возвратился в избу, почувствовал, как он замерз и как больно ноют отходящие после мороза в тепле руки...

В опустевшем, продутом ветром сквере было немного тише. Арнольд вспомнил, что поблизости должна находиться телефонная будка и там можно укрыться, покурить. Он уже протянул руку, чтобы открыть дверь, когда заметил, что в будке двое и ее руки белеют у него на шее.

Больше негде было укрыться, и пришлось топать по опустевшей улице до самого общежития.

Он поглубже натянул на лоб раскисшую от влаги шляпу.

В вестибюле общежития яичным желтком светила одинокая лампочка, и старый вахтер досматривал свои старые сны.

Арнольд поднимался по темной лестнице мимо влюбленных парочек, что шептались и обнимались на лестничных площадках. И от темноты, и от шепчущей притишенности чувствовал какое-то безразличие ко всему, будто размок изнутри под этим дождем.

В комнате уже не было света.

Он медленно разделся, долго развязывал мокрые скользкие шнурки, повесил на батарею носки.

Потом сидел на подоконнике и курил.

Кажется, ему никогда не было так плохо, как этим вечером. Никогда он не чувствовал себя таким потерянным и никому ненужным. Как и ненужным, лишним было одинокое такси внизу, в узкой щели немощеного переулка, неведомо почему там оказавшееся. Оно как будто раскачивалось взад-вперед, задыхалось, останавливалось. В кабине машины невесело светил зеленый огонек, вспыхивал желтым фонарь поворота. В нескольких метрах впереди притягательно поблескивал спасительный асфальт.

Вдруг спокойно и ясно подумалось, что этот год он доучится, одновременно подготовится к экзаменам на свой факультет и будет поступать заново.

Внизу машина сдала назад, потом резко рванула вперед — и выскочила на магистраль. Арнольд почему-то с облегчением вздохнул, успокоенно посмотрел вслед невыключенному фонарю поворота...

Заснул он сразу и крепко. Снилось ему чистое морозное утро, искрящийся под солнцем добрый, мягкий снегопад.

Был он тогда еще совсем молод.

Приключение

Вот она и ехала, и все оказалось намного проще, чем думалось. Потолкалась в очереди за билетом, прошла холодным, белым от кафеля тоннелем на платформу. Посигналив на прощание, тяжелый локомотив начал потихоньку вытаскивать вагоны из лабиринта станционных стрелок. Людей было немного, в вагоне просторно и тепло.

Она сидела у окна, смотрела на стройные придорожные осины, на которых еще висела последняя мокрая и редкая листва. И сквозь непривычный вагонный запах она, казалось, слышала, как влажно и густо пахнет мокрой полынью и отсыревшими ветвями. Она любила эту пору осени, когда уже пусто в полях, когда наплывают бесконечные, словно раздумья, туманы и начинают моросить еще тихие, не нахальные осенние дожди. Теперь казалось смешным, что она боялась выбираться в дорогу, всего лишь в город к брату, и не поехала бы, если бы не настояла мать. Даник получил, наконец, двухкомнатную квартиру и приглашал на новоселье. Правда, маленький Павлик куда-то употребил братово письмо, но она запомнила адрес Даника и на всякий случай дала ему телеграмму, чтобы встретил. Поэтому и ехала, как говорится, на ночь глядя.

— И вы на совещание? — прервал ее размышления подвижный, невысокий мужчина в сером костюме и присел напротив. У него была крупная лысая голова со шрамом на лысине. Его живые глаза ждали ответа.

— Вы из какой районки? — снова спросил мужчина, не дожидаясь ответа.

— Я не из районки, я из колхоза, — ответила она и улыбнулась. Мужчина растерянно посмотрел на нее и замолчал.

— Извините, — мужчина еще раз посмотрел на нее: очень уж непохожа была она на колхозницу в темно-сиреневом костюмчике, на черных лакированных «шпильках», с «атомным взрывом» на голове, ухоженными ногтями и подкрашенными глазами.

Разговорчивый мужчина двинулся дальше, в поисках более общительного попутчика.

Она снова посмотрела в окно на березовый перелесок за небольшой речушкой с корявыми ольхами по берегам. Среди березняка поблескивали оцинкованными крышами стандартные домики дач, теперь, наверное, пустые.

Захотелось пить. Она пошла в буфет, боязливо ступая по гремучим переходам из вагона в вагон.

У прилавка стояла небольшая очередь, мужчины за столиками пили пиво, глядя в окно.

Молодая женщина в спортивном трико и блузке, с коротко постриженными волосами, которые она ежеминутно поправляла, по-мужски расчесывая пальцами, была по-домашнему красива — эта пассажирка дальнего следования в домашних тапочках, и будто обещала всем своим видом домашнюю уютность. Улыбалась белозубо и смело высокому мужчине, который стоял перед ней.

— Вы же захмелеете!

Мужчина ничего не ответил, взял еще бутылку пива, бутерброд и разместился за столиком.

— Опять пиво! Пожалейте себя, — не отставала женщина.

Мужчина молча посмотрел на нее. Бледное худощавое лицо, изрезанный морщинами лоб и усталые запавшие глаза. У него не было ни времени, ни желания на дорожные знакомства. И женщина поняла это, забрала напиток, мороженое и уплыла в свой вагон.

Она стояла у окна и думала, что, наверное, и ее Василию где-то подвернулась вот такая обещающая. И в результате она без мужа, Павлик без отца. Одной ей было не поднять сына в городе, снимая частную квартиру. Слава Богу, в колхозе нужен был экономист. Вырастит сына и одна.

Брат не встретил ее. Напрасно она долго ходила по перрону. Начинало темнеть. Фиолетово засветились огни на стрелках, тревожно в полумраке покрикивали поезда. Она вышла к площади, по которой юрко скользили такси, неуклюже разворачивались автобусы с уютно освещенными салонами. Она подошла к будочке справочного бюро, спросила, как доехать до улицы Баумана. Женщина в будочке размашисто расписала ей маршрут.

Ехала она трамваем. Малышка, наверное, дочь вагоновожатой, вслед за мамой забавно повторяла названия остановок. А перед одной из них, опередив мать, под дружный смех вагона объявила:

— Станция Березай, кому надо — вылезай!

Дом был неподалеку от остановки, она легко нашла его и, придерживаясь рукой за поручень, начала подниматься на нужный этаж со своей довольно увесистой сумкой с угощениями. У двери постояла, чтобы отдышаться, потом нажала на белую кнопочку звонка.

Дверь открылась не сразу. В проеме стоял незнакомый мужчина, в костюме, при галстуке.

— Заходите, я ожидал вас, — пригласил он и отступил в сторону. Она вошла и остановилась в небольшой прихожей, из которой просматривалась почти вся комната. Диван-кровать у стены, шкаф с книгами, телевизор в углу, письменный стол с настольной лампой. У диван-кровати голубовато светился торшер.

Хозяин был довольно еще молодой мужчина, аккуратно стриженый, чисто выбритый. Он спокойно и заинтересованно рассматривал ее. Она смутилась и растерялась.

— Я ничего не понимаю... — промолвила она.

— Зато я все понимаю. Получил вашу телеграмму, а не встретил, потому что я вас не знаю. Завтра во всем разберемся. Диван раскладывать умеете?

— Умею. А что?

— Белье на кресле. Еда на кухне в холодильнике, не стесняйтесь, приготовьте. На подоконнике есть магнитофон. Кстати, дайте я запишу данные вашего адресата. Завтра вернусь к десяти и сообщу вам, где он живет, — распорядился мужчина, уловил ее настороженный и смущенный взгляд и, улыбнувшись, добавил: — У меня французский замок, подвиньте вот эту кнопочку вверх, и снаружи дверь нельзя будет открыть. Спокойной ночи.

Он улыбнулся и исчез за дверью. Сухо щелкнул замок.

Она растерянно осмотрелась, присела на диванчик. Все было очень неожиданно, даже невероятно. Чужая квартира, незнакомый мужчина. Что перепутала адрес, она поняла, а что будет дальше, не знала. Включила телевизор, там танцевали пышногрудые дамы и тонконогие кавалеры. Потом все они двинулись в другой зал, к накрытым столам. И она почувствовала, что хочет есть. Из дома выбралась после обеда, пока до райцентра, а потом сюда, до города.

Поужинала, приготовила постель. Закрыла замок, подумала и все же поставила на защелку.

Проснулась рано, как и привыкла, вспомнила, что спешить некуда, и подремала еще. Встала в восемь, прибралась. Нашла щетку, подмела квартиру, отметив, что в ней порядок и все вещи имеют свое постоянное место.

Любопытства ради включила магнитофон. Зазвучали песни под гитару, и они понравились ей.

Под песни она нарезала на тарелочки своей, привезенной из дома колбасы, сала, наложила полную вазочку меда и поймала себя на мысли, что ей приятно готовить завтрак мужчине и ожидать его.

Приехал он, как и обещал, к десяти, позвонил, стоя на пороге, спросил:

— Можно? — словно вернулся не в свой дом. Разделся, а увидев накрытый на кухне стол, сказал: — Вы и похозяйничать успели.

— Надо же. Вы не завтракали. Садитесь, — пригласила. — А у меня и коньяк есть.

Она удивилась своей смелости.

— Вы щедрая гостья. Коньяк оставьте, — он сам поставил на стол фужеры и налил ей и себе красного вина. — Нам пора и познакомиться. Алексей.

— Наталья, просто Наташа, — поправилась она, — работаю экономистом в колхозе.

— Очень приятно. А я врач. Алексей, лучше просто Алеша.

После завтрака она быстренько убрала посуду. Алексей не возражал, молча смотрел на нее и курил.

— В холодильнике я оставила вам колечко колбасы и сало.

— Спасибо. А брат ваш живет на улице Даумана. Был такой большевик... Остальное, как в телеграмме. Перейдете улицу, сядете на двадцать третий автобус и приедете куда вам надо, — объяснил он ей.

Алексей проводил ее на лестничную площадку, она подала ему руку, мужчина грустно и устало улыбнулся.

Брат встретил ее удивленно и обрадованно, расспрашивал, как добралась.

Она ответила, что вчера не смогла приехать, добиралась утром. Чтобы не отвечать на вопросы, начала убирать квартиру, пока соберутся на похмелье гости. Убирала и улыбалась своему приключению, и решила, что в деревне уж точно никому не расскажет о нем, даже матери. А в голове вертелась шальная мысль: а не выбраться ли через пару неделек опять в гости к брату да и снова заплутать.

Березы над землей

1

Утром в доме было холодно, и он долго не хотел вылезать из-под одеяла, ставить ноги на крашеный, застыло-слюдяной пол. Надо было ехать обратно, в город.

Вошел отец — в затертом, латаном суровыми нитками полушубке, в черных катанках с красными галошами, — поставил на почерневшую и скользкую от сырости скамеечку ведро с водой.

— Может, вставал бы, Павел. Я заходил к Антосю. Он запрягать пошел. Подвезет до Грезака.

Отец потоптался, натянул неуклюжие пошитые из обрезков овчины рукавицы и снова пошел во двор.

Павел долго мыл холодной водой лицо, растирал полотенцем, чтобы не выглядеть таким опухшим. Есть не хотелось, и он только выпил стакан холодного вчерашнего компота, который стоял в чугунке под лавкой.

Прошелся по хате, сел к столу, закурил. Передавали последние известия, и динамик, который никогда не выключался, глухо похрипывал в углу под иконами.

Вернулся отец, разделся, затопал у печи.

— Ты бы, может, съел чего? Я сала поджарил... — Павел отрицательно покачал головой. Он с улыбкой смотрел, как отец вытащил на припечек чугун с картошкой, ловко перехватил его сверху тряпкой, слил в ведро черную воду, высыпал затуманенную паром картошку в ушат, поставил чугун на пол, подошел к столу и сел напротив, положив на стол руки — потрескавшиеся и выпачканные сажей.

— Матери дождусь? — спросил Павел.

— Наверно, нет. Она теперь и своих, и Надиных свиней обхаживает. Покуда управится... — вздохнул отец. — Ты денег нам не шли... Мы теперь не меньше тебя зарабатываем. И себя береги. Постарел ты как-то... Лицо осунулось, — говорил он, глядя на свои руки.

Павел чувствовал, что отцу неловко говорить все это, что он, добродушный и смирный, сидел бы да вздыхал, если бы мать не велела «наставить парня на ум».

— Ну, так, может, я пойду к Антосю, — встал Павел, натянул пальто, надвинул на лоб пыжиковую шапку, взял из-под лавки чемодан.

Отец вышел за ним на порог. Павел задержал его руку в своей:

— Ну, когда соберусь — напишу. Смотрите тут друг за другом, а если что, не скупитесь на телеграмму.

В воротах он оглянулся: отец еще стоял на пороге, и ветер шевелил его редкие седые волосы.

2

Антось подвез Павла к автобусной остановке — низенькому осевшему дому, половину которого занимала парикмахерская, а другую — автобусная касса и комната ожидания с низенькими скамейками вдоль стены.

Павел отнес чемодан в пустую комнатку ожидания, пристроил под скамейкой. До автобуса оставалось больше двух часов, и надо было как-то протянуть время. Сначала зашел в сельмаг, где за прилавками неохотно перебрасывались фразами неуклюжие, словно кули, продавщицы в черных халатах поверх пальто, потом — в новый небольшой книжный магазин, где долго и машинально перебирал на полках томики, пока не попал на знакомое имя — Эрнест Хемингуэй. За последние два года он прочитал только одну книжку. В ней рассказывалось про старого человека, ослабевшего и голодного, про огромное безжалостное море, которое отняло у старика его большую рыбу. Павел почему-то верил, что писатель рассказывал о себе, и запомнил его имя.

Купил книгу, вышел из магазина. Больше идти было некуда. Он остановился, закурил.

— Павел! Павел! Это ты? Неужели?

Он оглянулся на голос смеющейся женщины в красной шапочке, которая протянула ему руку в розовой рукавичке, и не мог вспомнить, — кто это.

— Неужели не узнал? Эх ты! — все смеялась женщина.

— Таня?.. Я не сплю? — растерялся он и долго, крепко жал ее руку, теплую даже сквозь рукавичку.

— Не узнал, — укоряла женщина.

— Неудивительно. Разве тебя узнаешь... Куда-нибудь едешь? — спросил он.

— Нет, к матери приехала. В гости. А ты куда?

— До Слуцка, а оттуда в Минск. А пока появится автобус, передо мной Грезак со всеми его достопримечательностями, — пошутил он.

— Пошли в столовку, посидим да поговорим.

— Пошли. Ты, кажется, когда-то работала в этой столовке? — вспомнил Павел.

— А, было, — коротко бросила она, и Павел понял, что больше об этом говорить не нужно.

Они замолчали.

Павлу вспомнилось, как он, еще школьник-старшеклассник, попал в Грезак на танцы, которые бывали каждую субботу в парке по вечерам. Он тогда познакомился с невысокой смуглой девушкой, у нее была резко, по-мужски очерченная челюсть и черный пушок над верхней губой. Он провожал ее куда-то на окраину, в тихую улочку. Шли околицей, через огороды в сад. Девушка остановилась под яблоней, и он долго целовал ее. Она откидывала назад голову, выгибалась, и он чувствовал ее плотное тело...

Под утро он проснулся в том же саду, в шалаше, пропахшем старой пыльной соломой. Рядом спала она. Розовое байковое одеяло сползло в сторону и оголило небольшие, белые на загорелом теле груди, на которые падал сквозь щель узкий пыльный солнечный луч.

После этого он больше не ездил в Грезак, пока однажды случайно не встретил ее в соседней деревне на свадьбе. Она улыбалась ему, спрашивала, почему больше не приезжает, подмигивала, держа под руку высокого рыжего парня, которого уже разбирала выпитая за день водка...

— О чем задумался? — спросила Таня. Ему показалось, что она догадалась, о чем он думает.

— А так... Думаю, что подрос парк, и старых лип много спилили, — сказал он.

— Больше тебе и думать не о чем, — усмехнулась она.

В столовой только за одним столиком сидели мужчины и тянули пиво. Они громко рассуждали о коленвалах и подшипниках, на кухне смеялись официантки.

Павел с улыбкой смотрел, как буфетчица, накачав полкружки из бочки, доливала в пиво из чайника, который стоял на включенной электроплитке.

Они сели в углу под фикусом.

— Говорят, ты бросил институт? Ты же хотел стать историком. Помнишь?

— Помню. Немного не рассчитал. Решил от жизни под соломенную крышу спрятаться, за трубу на родительской печи, — неохотно ответил он. Подумал, что Таня встретится где-нибудь с одноклассниками и будет обсуждать, почему он с пути сбился. — Скажи лучше, как ты живешь? Я же ничего не знаю. Хотела стать учительницей, поселиться в деревушке... А теперь, слышал, стала ткачихой, живешь в Барановичах.

Она улыбнулась просто и открыто, и он подумал, что она за эти годы похорошела и помолодела.

— Не прошла по конкурсу. Осталась официанткой в этом Грезаке... С отчаянья кинулась в текстильщицы. Там с Витей познакомилась. Теперь квартира своя... Он у нас мастером, и «мы на фабрику вдвоем утром рядышком идем». В техникум поступила...

— Педагогический?

— Ну что ты! В текстильный, — отозвалась она.

Павел вспомнил, как они с Таней на уроках перебрасывались записками. Она называла его «историком», а он ее «мамкой». Он тогда был слегка влюблен в нее, и они вместе готовили к маскараду костюмы мушкетеров.

3

Уже сидя в автобусе, смотрел Павел на заснеженные поля в зимней поземке и старался не думать об этой встрече. Было жаль себя. Вот Таня — смеется, счастливая, хоть и не стала учительницей и живет не в деревеньке, как мечтала, а в городе, и работает ткачихой. А он, выпускник-медалист, через полгода бросил институт, попытался осесть в деревне, снова сбежал в город, четвертый год отирается в компрессорщиках, живет в общежитии. И ничего не хочет менять, что-то все еще не может забыть, что-то мучит его, как когда-то мучил грустный взгляд матери, когда она провожала его на экзамены в институт — словно и теперь она смотрит ему вслед.

Вспомнилось, как их, четырех деревенских парней-абитуриентов, на время экзаменов поселили в новом общежитии, в тринадцатой комнате. Один из них поступал на географический факультет. Это был невысокий красивый парень с синими глазами и зачесанным набок, как у пионера на рисунке, ровным белым чубчиком. У него была красивая ласковая фамилия — Голубок. Он с первого дня сидел на полосатом матрасе, поджав по-турецки ноги, и читал.

Другого называли Мишелем за то, что учил в школе французский, а они были «немцами». Мишель носил вполне элегантный костюм и тупоносые ботинки. Мишель уже два года работал в школе — вел физкультуру и пение: был уверен, что у него неплохой голос, часто по вечерам пел грустные монотонные песни.

Ни Голубок, ни Мишель не поступили. Павел узнал об этом позже. Сам он за три дня получил две «пятерки» и как медалист был зачислен вне конкурса. О неудаче парней рассказывал Павлу четвертый жилец их комнаты, Витька Савка. Павел никогда не думал, что этот пижонистый парень в узеньких брючках и туфлях на толстой, как подшитый валенок, подошве поступит в институт, не думал, что поможет Витьке отцовский знакомый, журналист, который вместе с Витькой ходил на экзамены, — с первого дня Витька только и знал, что исчезать с «кадрами», как он называл девушек. Правда, Витьку из института все-таки выгнали, через год.

Вызов на занятия Павел получил за три дня до начала семестра. На дверях деканата висел короткий список первокурсников, получивших общежитие. Павла в списке не было, и он стал в очередь на прием к декану. Стоять пришлось долго: расфуфыренные заботливые мамы выскакивали из деканата в слезах, а интеллигентные папы, багровея от злости, слишком громко захлопывали за собой дверь. Они забирали чемоданы, узелки и вместе с детками направлялись по коридору к выходу.

— А вам что? — сердито спросил из-за стола худой и усталый мужчина с темными кругами под глазами. — Что я вас, домой заберу, в своей квартире общежитие устрою? Нет мест!

Он, видимо, сдерживался, когда говорил с папами и мамами, а на Павла кричал. Павел растерялся и пошел к двери. А мужчина все кричал:

— Идут и идут, как неграмотные! Какого черта, я вас спрашиваю?

Павел уже был за дверью, а мужчина все кричал в кабинете, и никто больше не решался войти туда.

Павел отвез чемодан на вокзал, в камеру хранения и до вечера ходил по улицам в поисках частной квартиры. Квартиры были или уже заняты, или не сдавались. К вечеру у него заболела голова от непривычного городского шума, а ноги, как говорится, будто собаки рвали.

Он забрал чемодан и поехал к дальней родственнице, которая жила в городе.

Родственнице было под сорок. Замуж она вышла поздно, и через год муж бросил ее. У нее родилась дочь, которой исполнилось уже три годика. Они так и жили в маленькой комнатке с одной кроватью, шкафом и столом в углу. Павлу постлали на полу, ногами под стол.

Квартиру он так и не нашел и жил у родственницы больше месяца, спал на полу на старом матрасе. Однажды вместе с родственницей пришел лысый мужчина в двубортном пиджаке, с маленькими рыжими усиками под самым носом. Мужчина был чисто выбрит и благоухал тройным одеколоном. С собой он принес бутылку вина. Родственница намекнула Павлу, не сходил бы он в кино...

После этого вечера она стала чаще спрашивать, когда Павел найдет квартиру. Он все понял.

Через неделю Павел принес в деканат заявление «по собственному желанию».

И когда ехал в автобусе домой, с радостью думал, что больше не будет сидеть на лекциях с ребятами, которых не знает, не будет по часу стоять в очереди, чтобы пообедать, не будет страдать головными болями от шума, не будет шарахаться на улице и оглядываться на машины. Он будет работать трактористом, будет зимой пропадать на охоте, просиживать вечера в клубе... И даже в голову не приходило, что ему не поверят, будто он бросил институт, что мать будет кормить его, как гостя, что клуб работает только раз в неделю, когда привозят кино, и что через две недели он сбежит обратно в тот самый город, сбежит с радостью и облегчением...

За окном автобуса покачивается заснеженный луг, на котором только изредка чернеют верхушки ивовых кустов. Павел подумал, что скоро поворот на Слуцкое шоссе, и посмеялся над тем чудаком-студентом, которого испугал город и от которого он захотел спрятаться в деревне.

Автобус повернул на шоссе, и за окном промелькнула древняя береза с поседевшим, в черных трещинах комлем, с обожженной молнией верхушкой, с обломанными ветром могучими руками-ветвями, из которых тянулись вверх молодые побеги — словно старая сгорбленная мать держит на руках своих детей, а они тянутся в холодное и непонятное небо.

Не чудаки люди

Прошли десятки лет, многое исчезло и исчезает из памяти, казалось бы, серьезное и значительное. А детство помнится светло, остро и с болью от тех в сущности незначительных детских обид. Забываются лица сельчан. Помнятся те, с кем случались веселые или забавные приключения. Конюх Иван Иванович, по прозвищу Дед дужий, которое он сам себе и дал, однажды, будучи навеселе, зашел к нам во двор, где за него и взялся наш небольшой, но злой и уцепистый Шарик. Дед дужий решил отмахнуться от него, выдернул из штанов сделанный из конской сбруи погонистый сыромятный ремень, но не успел придержать штаны.

Нагнуться за ними не давала собака, а с упавшими штанами хода со двора не было. Когда я вслед за отцом выбежал на крики, то увидел Деда дужего без штанов, отмахивающегося от собаки своим фирменным ремнем. Таким он и остался в памяти. А еще помнится он в свете ночного костерка, который мы

жгли, когда я был у него подпаском в ночном. Он рассказывал мне истории из своей конюховской жизни, о том, как ночью в первые годы после войны к табуну приходили волки и однажды зарезали и унесли жеребенка.

Его друг по конюховству высокий бледнолицый Михаил, имевший большую семью, жил и ел бедно. Как-то на Пасху, когда стол был накрыт щедро, после чарки и шкварки он мечтательно произнес: «Вот чтоб каждый день Пасха была». И по деревне загуляла и, может быть, живет еще присказка: «Тебе, как Михаилу, чтоб каждый день Пасха».

А вот приходившие в деревню посторонние люди помнятся. В первую очередь дядька Аниська. Мы замечали его за полкилометра, когда он только переходил мост. Причиной того, возможно, была высоко насыпанная дорога к мосту. На этой насыпи до войны лежали рельсы и ходила «кукушка». За время войны «чугунку» растащили люди: шпалы на дрова, рельсы на всякий случай. У многих в округе эти рельсы ржавели под сараями, и не известно, дождались ли того нужного случая.

Был он выше среднего роста, костистый, заросший густой щетиной, короткой бородой. На нем и летом была выношенная, порыжевшая суконная свитка, такая же порыжевшая летняя шапка, из-под которой на ворот ложились седые волосы, на боку большая полотняная торба. В руках крепкий посох из окоренного дуба с вбитым на конце гвоздем. Аниська не хромал, лишь слегка прихрамывал, но было заметно, что нога его плохо слушается. Он приходил в деревню всегда одной дорогой, через мост, и приход его мы видели. Какой дорогой и когда уходил, не знали.

Однажды мне пришлось помогать добираться дядьке Аниське к нам в деревню.

Наша небольшая река Лакнея даже и после того, как ее изуродовали мелиорацией — канализировали, — первые годы не хотела смиряться и покоряться, устраивала весенние паводки: заливала водой пойму шириной в километр, гнала льдины и на потеху нам, детворе, сносила мост.

Благодаря высокой дороге мы подходили близко к мосту и наблюдали, как все это происходило. Сперва одна большая льдина упиралась в сваи под мостом, под нее подныривала вторая, подходила третья, четвертая. Льдины громоздились, и после обеда, когда накатывался большой приток воды в реку, мост начинал потрескивать, потом трещать и в конце концов срывался со свай. Льдины вырывались на свободу, одни неслись дальше по стремнине, другие сносило в сторону, на мелководье, где они и таяли после паводка.

Мост, на который за зиму набивался толстый слой льда, не разваливался на плахи, покачивался на воде, как паром с поручнями. Мужчины оттаскивали его на мелководье и ставили на прикол. Там он и стоял, пока не спадала вода. Растаивал ледяной набой на нем, рассыпался на отдельные плахи настил. Тогда из них собирали мост заново, крепили скобами до следующего паводка.

Под весенним солнцем быстро начинала вылезать молодая трава, а на приречном лугу сплошным ковром желтела калюжница. В это время начинали выпускать из конюшен коней со свалявшейся за зиму шерстью не только ради травы, а чтобы погрелись и обветрились на солнце.

В тот день наступила моя очередь быть подпаском у Ивана Ивановича. Пастьба была легкая, и мы с ним полеживали на солнышке на придорожном откосе, когда услышали, что с другого берега нас зовут. На том берегу стоял Аниська и махал посохом.

Мост еще не навели. На сваях над уже спокойной и неглубокой речкой лежали две широкие и толстые доски.

Мы подошли к мосту. Дядька Аниська объяснил нам, что по такой неустойчивой переправе он не может перейти. Но и стать рядом с ним, чтобы поддержать, было нельзя.

Иван Иванович потоптался на месте, поковырял кнутовищем землю и неожиданно весело промолвил:

— Ну что, Аниська, это тебе не изображать, как пьяный Дед дужий домой идет. Вброд не пойдешь, вода холодная, да и глубоковато. — А потом ко мне: — Переходи, Сашка, на тот берег, будешь держать его, чтобы не свалился в воду. А ты, Аниська, садись на доски, на свитку свою садись и держи ее. Доски нестроганые, заноза в ж... влезет. Ноге твоей больно не будет, если я за нее тянуть стану?

— Нет, Ванька, не будет.

— А свитка не совсем гнилая, выдержит?

— Сукно крепкое. Да у меня и новая есть, лежит в Шуляках.

Дядька Аниська сел на доски, осмотрелся — не видит ли кто-нибудь.

И мы поехали. Иван Иванович за лошадь, Аниськины ноги вместо оглоблей, полотняная торба сбоку, посох в руках. После переправы посидели, поговорили, Иван Иванович выкурил самокрутку, Аниська рассказал веселый анекдот и, слегка прихрамывая, побрел в деревню.

Иван Иванович задумчиво посмотрел ему вслед и промолвил:

— Вот и живет человек. А зачем живет? Ни дома, ни семьи. Война... — И ко мне: — Обойди вокруг, стабунуй их, а то разбрелись по всему лугу.

Деревня наша вытянулась вдоль реки в одну улицу, которая повторяла речные изгибы: приусадебные наделы от каждой избы спускались к реке, в конце их были огороды, а капуста любит низкие места. И делилась деревня на «этот конец», на «гору», на «тот конец». «Этот конец» был от дороги, которая шла через речку в деревню, «гора» — середина деревни, потому что на пригорке, «тот конец» снова в низине.

Сначала Аниська останавливался в «этом конце». Не могла же вся длинная деревня разом собираться в одном месте. Концерты начинались вечером, после того, как люди, вернувшись с работы, досмотрели хозяйство.

Удивительны они, эти весенние вечера, гудят в воздухе хрущи, с поля наплывает теплый запах свежей перепаханной земли, зелени, — да и все в такие вечера пахнет весной и полнится радостью жизни. И пока не запел еще первый соловей, не хуже него это делал Аниська. А потом подражал голосом диким гусям, журавлям, посвистывал скворцом, показывал, как тот передразнивает собаку: лает с ветки на собаку, а собака лает на него. На переполох выходит хозяин, Аниська изображал, как хозяин усмиряет и скворца, и собаку. Под всеобщий хохот делал он это голосом кого-нибудь из присутствующих мужчин. Потом шли веселые анекдоты. И так допоздна, пока нас, детей, не разгонят по домам спать. На второе отделение концерта малышню не допускали.

Там было много всякого — и даже как Сталин с Гитлером ругались, но нам больше всего хотелось послушать, как бабы меж собой ругаются в Аниськином исполнении.

Утром Аниська долго спал в сарае на сене, и мы терпеливо ждали, когда он проснется, выйдет во двор, сядет в тенечке, вытянет свои босые белые ноги, чтоб отдохнуть от тяжелых кожаных ботинок. Да и лоб, и лысина у него были незагоревшие. Только днем в тени он был босой и без шапки. Аниська потешал и нас пением птиц, голосами зверей, петушиным кукареканьем, квохтаньем наседки, собирающей цыплят. А еще делал из молодых побегов липы необычные свистки с переливистым свистом.

Из «этого конца» Аниська перекочевывал на «гору», там тоже устраивал концерты, через несколько дней — в «тот конец». И однажды утром мы обнаруживали, что Аниськи в деревне нет. Из «того конца» полевая дорога вела в поле, по ней и ушел Аниська.

Когда появится в деревне другой человек, желанный не только детям, но и взрослым, мы примерно знали. Весть о том, что приехала кинопередвижка с веселым кинщиком Митькой, мгновенно облетала деревню, и мы спешили к начальной школе, которая служила клубом.

Сначала кинопередвижку привозил на телеге мужик из соседней деревни. Покуда мы наперегонки таскали в здание тяжелые, погнутые и оцарапанные ящики с лентами, Митька с мужиком снимали с телеги «динаму» — небольшой электрогенератор, который стрекотал на всю деревню, когда показывали кино. Иногда он ни с того ни с сего замолкал, и тогда кино делало перекур, пока Митька возился с мотором.

Был Митька среднего роста, круглолицый, чернявый, всегда веселый и зачастую под хмельком. Старшим пацанам он бесконечно рассказывал о своих любовных похождениях. С собой привозил рулон афиш. Свернутой в тугую трубочку бумагой он писал на них ученическими чернилами название фильма, время сеанса и цену билета. Кто был половчее, тому доставалось право разнести и развесить афиши, а значит и на бесплатное кино. Поэтому мы и роились вокруг Митьки, пока он не уходил к тетке Марусе. У Маруси останавливался не только он, а и другие приезжие. Разные сельповские и колхозные ревизоры. Если бы тот же Митька или какой-нибудь ревизор остановился у другой вдовы, вся деревня потом перемыла бы кости и ему, и вдове. А у Маруси можно. Работала она техничкой в школе, не уборщицей, техничкой. Была всегда как-то празднично одета, в вышитой кофте, в черной юбке, с туго заплетенной косой. На тот заработок технички и продажу заготовок из приусадебного участка она растила сына и дочь. Они не были прижиты с постояльцами, а являлись детьми того командира, за которым Маруся до войны была замужем, когда в соседней деревне в былой панской усадьбе стоял кавалерийский полк. Командир ушел на войну, Маруся возвратилась в родительскую хату, да так и не дождалась своего командира.

Митька под расстегнутой на груди рубахой носил полосатую матросскую тельняшку, на руке у него был выколот якорь. Своей флотскостью Митька гордился не менее, чем любовными похождениями. Кино крутил он исправно, даже и под мухой ловко клеил старые, часто рвущиеся ленты, ремонтировал «динаму». Вскоре забот у него убавилось: в деревню провели элетричество, не надо было возить «динаму», кинопроектор заменили новым, узкопленочным, весь фильм теперь вмещался на двух больших и легких бобинах. Благодаря Митьке и его кинопередвижке мы в детстве посмотрели и то, что теперь называют классикой советского кино: и «Тарзана», и «Ночи Кабирии», и «Бродягу»... Но время кинопередвижек подходило к концу.

Сашкой-Машкой он сам окрестил себя. Мы боялись подходить к нему, когда он пьяным спал под забором, бежали сообщить взрослым, что явился Сашка-Машка. Он был безобидный и пьяный, этот рослый мужчина в хромовых сапогах и галифе даже летом. У него была густая шевелюра и специальная повязка, закрывающая выбитый глаз, которую он, пьяный, терял. И нас, детей, более всего страшил красный провал его пустой глазницы.

От отца я имел инструкцию: Сашки-Машки не бояться даже пьяного, но прежде чем впускать в сарай на сено, изымать спички и папиросы. Дядька Сашка послушно сдавал мне и то, и другое и укладывался спать до вечера.

Зарабатывал Сашка на жизнь тем, что портняжил. Умел он шить свитки, брюки и даже галифе. Мог пошить тулуп, шил летние шапки. И еще умел перелицовывать старую одежду: распарывать по швам старую и сшивать наизнанку, невыношенной стороной наружу.

Позже, когда запретили кочевать цыганам, которые каждый сентябрь табором останавливались у нас на лугу за деревней, добрались и до таких неприкаянных, как Сашка, который жил без всяких документов. Местный актив, еще в большинстве бывшие партизаны — председатель сельсовета, председатели колхозов — прописали Сашку у одинокой старухи в деревне и выдали соответствующую справку. Более того, нашли деньги, чтобы съездил на родину, в Россию, где, по рассказам Сашки, у него были братья и сестры.

Прошло года три, и все уже свыклись с тем, что Сашки нет. Может, и не доехал он до своей родины, пропал где-нибудь в дороге. Но он неожиданно объявился в своем неизменном галифе, в хромовых сапогах, в легкой черной суконной курточке, самим пошитой. Пришел в сельсовет, показал и новый свой паспорт, и новые документы. Родню он отыскал, и она приняла его, пропавшего без вести. Через военкомат и архивы восстановил фронтовое прошлое, даже пенсию получил как фронтовик-инвалид. Но потом, как рассказывал сам Сашка, затосковал без вольной жизни, запил, собрался и уехал назад, на вторую свою родину.

Последний раз видел я дядьку Сашку, когда возвратился из армии и гостил у родителей в деревне. По старой привычке он шел посредине улицы, в неизменной одежде, только густая шевелюра была совсем белой.

Он узнал меня. Подошел, поздоровался, мы посидели на лавочке, покурили. Я пригласил его зайти в хату, выпить чарку. Он отказался, поскольку шел в соседнюю деревню договариваться насчет работы с человеком, а выпивши договариваться нельзя.

Умер дядька Сашка не болея, на ходу. Сельсовет похоронил его на деревенском кладбище и отослал документы и справку о смерти его родным.

Кинщик Митька, когда окончилось время кинопередвижек, исчез куда-то надолго, потом объявился в деревне какой-то осунувшийся, постаревший и потрепанный, на первое время прибился к Марусе, но через несколько дней она выпроводила его. Тетка Маруся уже собралась продавать хату и переезжать в город к дочери. И Митька навсегда пропал в белом свете. Оказалось, что он был родом из одной деревни с дядькой Аниськой. Вот почему мы видели на Аниське Митькин поношеный зеленый клеенчатый плащик. Деревню их во время войны каратели сожгли вместе с людьми. Уцелевший Митька после войны попал в детдом. Погибли жена и дети Аниськи. После ухода карателей его нашли люди за деревней, в кустах, раненного и истекающего кровью. Теперь я думаю, что дядька Аниська и ушел однажды из нашей деревни проселочной дорогой в свою, умирать.

Нам, детям, эти люди казались чудаками, потому что не были похожи на сельчан. Теперь я знаю, что были они обыкновенными людьми, которых война оставила в живых, но взяла свою плату — каждому по-своему поломала и искалечила жизнь.

Праздник дождя

Кто его не любит, праздник зеленого весеннего дождя? Он идет на молодую листву, которая не умеет шелестеть и жаловаться ветру. Тогда даль затягивается легкой дымкой, становится тихо, чтобы был слышен он, шелест

весеннего дождя. Из-за покорно склоненных березовых веток на опушке просматриваются вершины черных сосновых ветвей, и на первый взгляд кажется, что это тетерева обсели березу и почему-то мокнут под дождем.

...В солнечной дали на широких и ровных, как стол, полях начинала выспевать рожь. От жары побелели, выцвели нежные и прохладно-мягкие лепестки васильков при полевых дорогах. Струился разогретый солнцем воздух и словно стекал куда-то к ржаному небосклону. А оттуда на эту солнечную праздничность черным крылом вставала гроза. И перед ней все начинало затихать, успокаивались ржаные волны. И во всей деревне почему-то не было видно ни души. Зловеще темнела даль. А потом в тишине мягко и глухо, как по живому телу, ударили по глубокой дорожной пыли первые капли.

Внезапно рванул ветер — и сразу обрушилось все: тьма, сплошная стена дождя, ярость молний, раскаты грома, от которых хотелось сжаться в маленький-маленький комочек. Казалось, что пропал ты в этой бесконечной ярости и неутомимости стихии, — а вместе с тем была и неизведанная тревожная сладость, радость от этого дикого проявления, будто и сам ты осколочек неподвластной никому силе.

Вскоре стало светлеть, медленно уплывала притемень отходящей грозы, оставившей после себя чистый молодой воздух и мутный ручей посреди улицы, намывавший плотный влажный песок.

А издали уже приближался солнечный свет, властно наплывал запах ржи, извечный в этих полях, приправленный запахом мокрой, помолодевшей листвы в садах, остуженной и напоенной влагой земли.

И свидетелем всего этого был ты, и было это уже довольно давно, в полевой деревеньке, которой почти и не осталось, и ты уже начинаешь иногда верить, что и было все в какой-то другой жизни, первой, самой светлой.

После той грозы не стало в конце деревни старой березы, на которой испокон веку жили аисты. По мокрой земле рассыпались старые ветки и пух из воробьиных гнезд, которые постоянно были подсоседями аистов.

Аисты уже второй год селились на молодой липе, куда мужики затащили старую борону.

Напротив того места, где росла береза, через улицу, и теперь еще стоит та изба из нетолстых бревен, на четыре окна, два из которых — от улицы — затеняет листвой яблоня-«цыганка». Живут в этой избе незнакомые мне люди.

Тогда ее только строили, и гроза помешала плотникам положить последний венец. Бревно соскользнула по мокрым откосам и свежеотпиленным торцом ударила по голове подростка, вдовиного сына, который был при плотниках за хозяина.

Когда сбежались люди, он лежал непривычно бледный, худенький, русоволосый, не по-детски вытянувшись.

Мужчины осторожно подняли его и отнесли в соседскую избу, туда же повели, поддерживая под руки, и мать. И маленький мальчик, его братик, круглолицый и большеглазый, испуганно смотрел на людей, не плакал, держался за материнский подол.

А у соседнего забора сидела на камне иссушенная веком и жизнью старушка и плакала от несправедливости, от того, что Бог отнимает жизнь у тех, кому надо жить и радоваться, а оставляет, кому жить уже тяжело. К старухе вышла крепконогая молодая женщина, дернула ее за рукав, мол, нечего ныть на людях, и повела ее на свой двор. А старушка все пыталась оглянуться на людей, на улицу.

Плотники ночью, при луне, положили последний венец, смастерили гроб и ушли.

Женщина перенесла ту смерть, может, потому, что люди не умирают от горя по ближним, даже родным. А может быть, потому, что надо было растить другого большеглазого мальчика. Теперь у него своя семья, и мать живет при нем в соседней деревне.

Все это проплывает в дымке памяти, но явственно перед глазами стоит *тот*, на мокрой и теплой земле, с неземным лицом. И столько лет в памяти все пытается оглянуться и посмотреть на людей плачущая старушка.

С возрастом в человеке все больше и больше тоски, легкой и тяжелой. Есть сожаление, что не все сбылось, как хотелось в молодости. И даже в светлые и чистые дни вдруг вспоминается больное и тяжелое, чему пора быть забытым. Приходит понимание, что всегда в душе живет надежда на лучшее, и оставляет человека она только тогда, когда наступает время оставлять этот свет.

А над всем, былым и будущим, шли и будут идти весенние дожди, будет их праздник. И ты в светлый ласковый зеленый день с легкой душой пишешь эти строки, потому что в соседней комнатке доверчиво спит внучка, видит свои детские сны, и ты искренне веришь тому, что в жизни у нее будет много добра и ласки.

И теперь в этом все твое счастье.

Перевод с белорусского автора.





ПАВЕЛ САКОВИЧ

Цветов, цветов-то на земле!

Оршанские окраины

Я не забуду полустанка,
Где в доме жил вблизи путей.
Земли ритмичная «трасянка»
Была мне лучшей «колыханкой» —
Я с нею засыпал быстрей.

Потом «баюкали» разрывы
Немецких бомб, да и своих,
Но был я, видимо, счастливый,
Раз выжил как-то среди них.

Мы пропадали на «железке» —
Отцы работали на ней,
В грибные ездили «поездки» —
На крышах те, кто посмелей.

А в летний зной гурьбой купались:
Оршица рядом, Днепр, Адров.
Воды их вдоволь наглотались,
Но вкус-то был ее каков!

Мосты над реками висели,
И смельчаки ныряли с них.
Мосты качались, как качели,
От тех толчков ступней босых.

Под промазученною робой
Теперь течет моя Адров.
Завод, слыхал, ее угробил,
И в ней ни рыб, ни пацанов…

Быть может, станет мне утехой
Та рощица среди полей?
А вдруг живет еще там эхо
Веселых окриков друзей!

День воскресения Христа

Божественно сияет солнце —
Нет даже пятнышка на нем!
Не прячась, в каждое оконце
Оно заглянет этим днем.

У встречных — очищенья слезы,
Витает свечек, булок дух.
Сережки нацепив, березы
У церкви стали в полукруг.

Легко мне дышится, свободно,
И кара божья не страшит:
Не так сурово лик Господний
С иконы на меня глядит.

Чугун клокочет спозаранку,
Точь-в-точь как колокол, в печи.
А стол — что скатерть-самобранка:
Колбасы, яйца, куличи.

В душе и радость, и волненье,
Как будто все простилось мне.
Идет Христово воскресенье
По грешной и святой земле.

Добреет сердце понемногу
И жаждет, жаждет всех любить.
Осмелюсь, может быть, у Бога
Я лучшей доли попросить.

Ласточка

Когда ты в мае прилетала,
То, не жалея птичьих сил,
Кружила рядом, щебетала —

Мне благодарность выражала,
Что вновь под крышей приютил.

Напрасно ты благодарила —
Не так, иначе было все:
Мою ты душу приютила
И под крыло взяла свое.

Яблонька

Она мне выросла по плечи,
А ей годочков, может, пять.
Уже вовсю цветет малеча:
Спешит, наверно, взрослой стать.

Невестой юной, скороспелой,
Вся в белом, стройная, стоит.
Ей майский ветерок несмело
Свои признанья шелестит.

И снится сон ей странный, дивный,
Что стала в райском саде жить,
Но плод душистый, сладко-винный
Никто не может надкусить.

А ей охота здесь остаться,
Чтоб листья ветерок ласкал,
Чтоб яблоки могли рождаться,
Крупнеть, как груди, наливаться,
И чтоб их грешник смаковал.

О цветах

Цветов, цветов-то на земле!
Их любят дамы, чтут поэты.
Всех не упомнить, а по мне
Так нет милей и краше этих.

Как расцветет мой огород
Лиловым цветом или белым,
В улыбке расплывется рот
И запоют душа и тело.

Жене сорву один цветок,
Любимой внучке Насте —
тоже.
Ну а потом наступит срок
Минуты той, что всех дороже.

Жена наварит молодой
Картошки нашей
скороспелой,
На стол поставит —
Боже мой! —
И задымит она горой,
Как Фудзияма, снежно-белой!

Осенние мотивы

Сверху дождь как из ведра,
Холодней, чем из колодца.
Поздней осени пора,
Пятый день не видно солнца.

Зонт держу над головой,
А душа тоскливо ноет.
Бесполезен ей зонт мой:
От ненастья не прикроет.

* * *

Небо серое, неподвижное,
Ветер кружится
в танце с листвой.
И как тот призывник
остриженный,
Клен стоит у ворот —
часовой.

Весенний экспромт

Устав от шумной трассы, суеты,
Останови внезапно бег машины.
Сойди с дороги —
и услышишь ты
«Морзянку» Бога —
посвист соловьиный.



ЗИНАИДА КРАСНЕВСКАЯ

Vita brevis...

Трудно поспорить с известным изречением: жизнь действительно коротка, а искусство действительно вечно. Правда, мы, когда цитируем сей расхожий афоризм, часто забываем о том, что жизнь человеческой памяти, vita memoriae, как говорили древние, очень часто бывает еще короче, чем сама жизнь. Как ни странно, но из нашей памяти неоправданно быстро выветриваются впечатления и встречи, вполне достойные того, чтобы о них помнили.

Кстати, немногие сегодня помнят и о том, что латинское изречение *Vita brevis, ars longa* — это всего лишь начало Первого афоризма прославленного древнегреческого врача Гиппократа, которое в своем полном виде читается так: *Vita brevis, ars vero longa, occasio autem praeceps, experentia fallax, judicium difficile.* То есть: *Жизнь коротка, наука обширна, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно.*

Из чего следует, что во времена Гиппократа наука и искусство воспринимались как единое целое. Что, если хорошенько вдуматься, весьма разумно. Рискну даже высказать крамольную мысль, что великого врачевателя древности менее всего волновали проблемы античных творцов прекрасного, и он использовал слово «искусство» в том сугубо профессиональном смысле, как это делаем мы, употребляя слово *мастерство,* когда хотим отметить высокий профессионализм и умение безукоризненно делать свое дело. Впрочем, наряду со словом *мастерство* в нашей речи бытуют и такие выражения: *искусство врачевания, искусно выполненная работа, искусный мастер,* и говорим мы все это, никак не связывая данные нами характеристики с вечным искусством в высоком смысле этого слова. Но как бы то ни было, а время сделало свое дело. И сегодня афоризм Гиппократа, в его усеченном, правда, виде, однозначно воспринимается всеми как высшая оценка творчества истинных художников, и с этим уже ничего не поделаешь.

Остается лишь напомнить тем, кто любит при случае щегольнуть знанием античной мудрости, что древние, при любых обстоятельствах, не торопились безоглядно доверяться ни случаю, ни опыту, ни тем более суждению, сделанному впопыхах. Что ж, постараюсь по мере сил добросовестно следовать их примеру, оставаясь, по возможности, беспристрастной и объективной в собственных оценках. Итак, несколько историй, объединенных общим сюжетом, имя которому — Искусство.

Одиночество

Уж сколько писано-переписано на тему об одиночестве художника в этом мире. Сколько изведено чернил и бумаги, сколько перьев сломано в бесплодных спорах о том, как тернист и суров путь любого служителя муз. Дескать, истинный творец прекрасного всегда возвышается над толпой, которая порой не может, а порой и не желает осознавать все величие его замыслов. А в результате он, художник, так и умирает в гордом одиночестве, непонятый ни своими почитателями, ни хулителями. Как сказал в свое время Александр Сергеевич Пушкин в известном сонете «Поэт»,

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда тебя влечет свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

И к этим словам в общем-то нечего добавить. Разве что привести в качестве примера, подтверждающего правоту пушкинских строк, случай, переводящий метафорические рассуждения об одиночестве художника в сугубо практическую плоскость, то есть туда, где образность превращается в самую что ни на есть реальную жизнь.

После окончания института я приступила к работе в качестве переводчика научно-технической литературы на одном из предприятий города Минска. Отдел информации, куда меня определили, был сформирован совсем недавно и еще переживал пору своего становления. Всех нас, преимущественно молодежь, независимо от профиля работы, поместили в одну огромную комнату, скорее похожую на просторное фойе, чем на обычное рабочее помещение. Однако постепенно наш «зал ожидания», как мы называли комнату между собой, приобрел вполне жилой и даже по-деловому респектабельный вид. Сотрудники расселись, в строгом соответствии со штатным расписанием, по группам и секторам, расставили книжные шкафы и полки, придвинули к ним столы, разложили на них стопки чистой бумаги, папки с инструкциями и прочими директивными материалами, книжки, справочники, словари. И, как говорится в подобных случаях, работа закипела.

А работы и в самом деле было много. Ибо в те далекие годы еще не придумали Интернет, и в отсутствие столь надежного информационного помощника приходилось копать, что говорится, вручную, то есть искать и находить крупицы новых знаний везде и всюду. Дело это было трудоемким, но очень и очень интересным. К тому же, сопряженным с бесконечными семинарами, симпозиумами, коллоквиумами, конференциями, лекциями, выставками, обязательными библиотечными днями, не говоря уже о постоянных командировках в Москву и другие города Советского Союза, в которых находились наши родственные предприятия. Словом, жизнь ОНТИ (отдела научно-технической информации) была до предела насыщена всякими-разными событиями, большими и малыми. Но самое главное — все мы имели некоторую свободу для маневра в предельно зарегламентированном распорядке рабочего дня, когда даже опоздание на одну минуту к началу работы (вот что значит военное предприятие!) приравнивалось к строжайшему нарушению трудовой дисциплины. А это, согласитесь, совсем не так уж и мало, особенно когда ты молод и тебе хочется везде успеть и все увидеть собственными глазами.

И ведь успевали и видели много чего интересного. На обеденных перерывах то и дело вспыхивали жаркие дискуссии и кипели страсти вокруг того, что один нынешний российский лидер весьма пренебрежительно назвал «культуркой». То обсуждалась последняя публикация в каком-нибудь толстом журнале, то спорили по поводу нового кинофильма, то кто-то, вернувшись из столичной командировки, докладывал коллегам о громких театральных премьерах, потрясших москвичей, или об очередной художественной выставке, развернутой на Волхонке. Раритеты из гробницы Тутанхамона, золото скифов, гастроли Дюка Эллингтона, концерты Сальваторе Адамо, новые дарственные поступления картин в Эрмитаж, первая в Советском Союзе выставка полотен Николая Рериха, скандалы вокруг выставок в Манеже тогда еще красавца во цвете лет Ильи Глазунова. Везде наши люди были, все видели собственными глазами и на все про все имели собственное мнение.

Лишь один человек в комнате никогда не принимал участия в наших бурных дебатах о вечном искусстве: начальник БРИЗа (бюро рационализации и изобретательства) Владимир Алексеевич Ткаченок. Это был спокойный, я бы даже сказала, застенчивый человек лет сорока с небольшим, и всем нам, очень молодым в ту пору, он казался самым настоящим замшелым стариком. К тому же, он откровенно побаивался нашего чересчур громкого смеха, чересчур темпераментных аргументов в постоянных спорах о «вечном», а то и откровенной эксцентрики в поведении. Да и то правда! Когда тебе вдогонку дурашливо кричат «Вернись! Я все прощу!», а во время обеда отплясывают канкан под громовой хор зрителей «А я люблю военных, больших и здоровенных...», то можно и в самом деле почувствовать себя чужим на этом безудержном празднике жизни. И уж точно, безнадежно старым. А потому во время импровизированных концертов, возникавших, как правило, всегда стихийно и спонтанно, Владимир Алексеевич предпочитал тихонечко отсиживаться в своем уголке с книжкой в руках.

Правда, изредка он посматривал в нашу сторону своими выцветшими голубоватыми глазами, и в этом взгляде не было ни тени осуждения или укора. Напротив, было видно, что ему откровенно нравилась та взбалмошно веселая атмосфера, в которую его нежданно-негаданно угораздило попасть на пятом десятке своего бытия. А иногда он даже негромко комментировал происходящее, и комментарии эти были не только остроумны, но и всегда предельно точны.

Так, вслушиваясь в слова опереточного мотивчика, под который мы энергично махали ногами, кто и как мог, он однажды меланхолично процитировал известную грибоедовскую строку *«К военным людям так и льнут, а потому что патриотки»*, чем несказанно удивил меня, случайно оказавшуюся рядом. Надо же, подумала я, весьма самонадеянная молодая особа двадцати двух лет, а наш-то Владимир Алексеевич, оказывается, неплохо знает Грибоедова. И немедленно вспомнила слова давнего своего кавалера, который как-то раз заметил, что если выучить наизусть комедию «Горе от ума», то потом можно до самой смерти просуществовать с репутацией весьма неглупого человека. Ибо у Грибоедова, как известно, на все случаи жизни имеются едкие и почти что в рифму меткие комментарии. Знал ли наш начальник БРИЗа всего Грибоедова наизусть или нет, так и осталось для меня тайной, но вот то, что он неплохо, а точнее, очень хорошо разбирается в живописи, стало очевидным довольно скоро.

Ибо в нашем трудовом коллективе «ответственной за живопись» была именно я. Все в отделе знали, что я скупаю пачками толстенные альбомы по искусству, причем, не стоя за ценой, регулярно езжу в Москву и в Ленинград на все более или менее значительные выставки и вернисажи, словом, держу руку на живописном пульсе, как любили тогда выражаться наши журналисты. Владимир Алексеевич всегда предельно внимательно слушал мои «отчеты» об очередном книжном приобретении или посещении выставки, изредка задавал вопросы, отличавшиеся особым профессионализмом. Да и комментарии его к моим рассказам никогда не были похожи на дилетантские восторги случайно забредшего на выставку «человека с улицы». Помнится, когда я делилась впечатлениями о посещении выставки современной японской живописи, проходившей в столичном Музее изобразительных искусств имени Пушкина, то Владимир Алексеевич стал весьма квалифицированно, как самый заправский искусствовед, рассуждать о влиянии Хокусая и Утамаро на нынешних японских живописцев. Что снова заставило меня уважительно задуматься о том, сколь же обширны знания, которыми владеет этот внешне застенчивый и не очень разговорчивый человек.

Но вот в один прекрасный день, скорее всего, после очередного моего доклада на тему «Последние новости из мира изобразительного искусства», Владимир Алексеевич подошел ко мне и, смущенно откашлявшись, сказал:

— Зина, а хотите, я познакомлю вас со своим братом? Он у меня, между прочим, профессиональный художник. Окончил еще до войны Витебское художественное училище. Вам, наверное, было бы интересно побывать у него в мастерской. Да и все друзья у него талантливые ребята — Леня Щемелев, Боря Заборов. Там у них такие страсти кипят по поводу современного искусства, и вообще о жизни... Толя будет очень рад с вами познакомиться. Уверен, без подарка от него вы не уйдете.

— Большое спасибо, Владимир Алексеевич! — вежливо ответила я и добавила со светски фальшивой улыбкой на устах: — Как только выкрою свободную минутку, обязательно воспользуюсь вашим приглашением.

А про себя подумала: «Боже мой! И куда меня тащит этот пожилой дядечка? И какие такие художники могут быть в нашей глухомани? И мне ли, такой рафинированной и образованной барышне, специально летающей в Ленинград на один день только для того, чтобы полюбоваться любимым полотном Ван Дейка или посидеть возле портретов Рембрандта, мне ли снисходить до всяких там полупьяных богемных разговоров об искусстве в какой-то там неизвестной мне мастерской?»

С высоты прожитых лет я прекрасно понимаю, что иначе, чем снобизмом, к тому же, чистейшей воды провинциальным снобизмом, подобные настроения и мысли не назовешь, но когда тебе чуть за двадцать и когда кажется, что весь мир лежит у твоих ног, подобная категоричность — увы! — далеко не редкость. Такое и сегодня встречается у молодых сплошь и рядом. Юношеская самоуверенность и всезнайство — это как корь или свинка: чем раньше ею переболеешь, тем меньше отрицательных последствий для организма и для всей твоей оставшейся, уже взрослой жизни.

Как бы то ни было, но «свободной минутки» для посещения мастерской Анатолия Ткаченка я так и не выкроила. Деликатнейший Владимир Алексеевич тоже не надоедал мне более со своими приглашениями. Вечно погруженный в работу с бесконечной чередой рационализаторов и изобретателей, что ни день атакующих со всех сторон его письменный стол, вполне возможно, он и сам позабыл о том давнем разговоре.

Так прошло пару лет. Стремительно катился к концу и 1973 год, вступивший уже в пору осени. И вот как-то раз в середине сентября, когда мы, наконец, собрались все вместе после летних отпусков, Владимир Алексеевич, по своему обыкновению долго откашливаясь и смущаясь, сделал неожиданное объявление:

— Коллеги! Хочу пригласить вас на персональную выставку своего брата Анатолия. Она развернута в выставочном зале при Союзе художников на площади Свободы. Вход свободный. Приходите! Толя будет очень рад.

— Спасибо! Поздравляем! Обязательно! — оживленно загалдели сотрудники, окружив начальника БРИЗа.

— Надо организовать коллективный культпоход! — тут же вмешалась наш вездесущий профорг. — Я займусь этим в ближайшие же дни.

Но шло время, страсти и восторги поулеглись, а обещания, данные в первый момент, позабылись. Никто не вел никаких разговоров о коллективных посещениях, никто не напоминал о данном нами слове. У всех за лето накопилось достаточно неотложных дел, которые требовалось срочно переделать до наступления холодов. Конечно, изредка, когда мы смотрели в сторону Владимира Алексеевича, вполне возможно, кто-то и испытывал некоторое

смущение. Дескать, вот пообещали, а сами и в кусты. Но чувство раскаяния было мимолетным и тут же заслонялось очередными срочными делами, визитами, походами по магазинам и прочее, прочее. Тем более что и сам Владимир Алексеевич больше разговоров о выставке не заводил.

Он молчал, а вот Клавдия Захаровна Юхновец, наша глубокоуважаемая и всеми почитаемая машинистка, судя по всему, молчать — не могла. Эта красивая, статная женщина, несмотря на свою более чем скромную должность, занимала совершенно особое место в нашем коллективе, пользуясь непререкаемым авторитетом и всеобщим уважением. Никогда потом я не встречала женщины, которая бы так спокойно и невозмутимо могла поставить на место любого, невзирая на персоналии и лица, начиная от простого техника и кончая главным инженером всего предприятия. Впрочем, держалась она со всеми подчеркнуто ровно и одинаково любезно. Высокий профессионализм в сочетании с абсолютной грамотностью и невероятной быстротой машинописи сделали ее воистину незаменимым помощником, и в первую очередь, именно для руководства. Но и нам, рядовым сотрудникам, никогда не было отказа в том, чтобы что-то там напечатать, допечатать или перепечатать.

Клавдию Захаровну любили и даже, чего уж там греха таить, слегка побаивались. Она, как и Владимир Алексеевич, была постарше основной массы сотрудников. Наверное, поэтому они очень быстро сошлись и часто чаевничали на пару, ведя неспешные беседы обо всем на свете. И по тому, как начальник БРИЗа прислушивался к негромкому певучему голосу Клавдии Захаровны, как он неизменно соглашался с любым ее мнением, энергично поддакивая каждой фразе, было сразу же понятно, что ему крайне интересно все, что она говорит. И вообще, ему нравится общество этой, повторяю, красивой, но очень строгой и по-старомодному чинной женщины.

Именно Клавдия Захаровна и учинила мне самый настоящий нагоняй, отловив в коридоре, где нас не мог услышать никто из посторонних.

— Так, Зина, я отказываюсь понимать, что это творится на белом свете! — пропела она своим строгим голосом. — Наобещали человеку бог знает чего, культпоходы там всякие, массовое посещение, выставочный ажиотаж. А сами что? Даже не пошевелились. Как это называется?

— Клава! Пойми меня правильно! Я очень занята! — стала виновато оправдываться я, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

— Ничего знать не желаю и слушать не хочу. Уж от кого-кого, а от тебя я такого невнимания к человеку никак не ожидала. Все! Никаких разговоров! Завтра после работы едем на выставку вдвоем. Я уже и Владимира Алексеевича предупредила, а потому никаких увиливаний!

И что оставалось делать? Лишь безропотно сказать «Да!», и все. Как назло, на следующий день уже с самого утра зарядил противный холодный дождь вперемежку со снегом. Уныло поглядывая в окно на такой же унылый, совсем не типичный для октября пейзаж, я прикидывала, сколько времени мы потратим с Захаровной, добираясь по такой погоде из нашей Тмутаракани в центр, и как потом, по этой слякоти, я буду штурмовать транспорт уже в обратном направлении, чтобы попасть домой хотя бы к десяти часам вечера.

Но жребий, как говорится, был брошен, и Рубикон должно было перейти. Втиснувшись с грехом пополам в пятый или шестой автобус (ибо троллейбусы тогда еще на Курасовщину не ходили), мы кое-как добрались до Главпочтамта и, уже не рискуя более связываться с общественным транспортом, потопали пешком по лужам до самой площади Свободы. Дождь прекратился, холодный колючий ветер гнал низкие тучи, расчищая куски стремительно темнеющего неба. К месту назначения мы подошли уже при свете уличных фонарей. На

стекле одной из витрин красовался большой плакат, извещавший прохожих, что Союз художников БССР проводит персональную выставку «твораў Анатоля Аляксеевіча Ткачонка ў сувязі з 50-годдзем мастака». Немного оробевшая Клавдия Захаровна, слегка замешкавшись на входе, осторожно приоткрыла массивную дверь, и мы вошли.

Перед нами предстал просторный выставочный зал Союза художников. После уличной темени, да еще при ярком свете люстр, он показался нам просто необъятным. Наверное, масштабы смотровой площадки так впечатлили нас еще и потому, что в помещении никого не было: зал оказался пуст. Совершенно пуст! Ни обязательной консьержки на входе, ни единого посетителя на самой экспозиции. Через какое-то время глаза адаптировались к электрическому свету, и я увидела, как из самого дальнего угла возникла тщедушная фигурка согбенного человека. Даже мимолетного взгляда было достаточно, чтобы понять, что брат Владимира Алексеевича — инвалид. С явным усилием он поднялся со стула и, опираясь на палочку, двинулся к нам навстречу. И пока он шел, с трудом переставляя негнущиеся ноги по натертому до блеска паркету, у меня как-то странно сдавило грудь и защипало в носу. Ибо то была картина такого абсолютного, такого вселенского одиночества, когда не требуются никакие слова и когда излишними кажутся всякие комментарии. Испугавшись, что я могу не справиться с охватившим меня волнением и — еще чего доброго! — расплачусь в самый неподходящий момент, я тихонько спряталась за спину Клавдии Захаровны, предоставив ей право первого знакомства. Она певуче поприветствовала Анатолия Алексеевича, по-домашнему пожаловалась на плохую погоду, и они оба некоторое время оживленно обсуждали тему необычно раннего похолодания. Потом наступил мой черед, и на меня тут же с интересом уставились два ярко-васильковых глаза (разительно отличающихся интенсивностью цвета от поблекших глаз Владимира Алексеевича). Я поняла, что заочно художник наслышан от младшего брата о моей персоне.

Впрочем, он не стал распространяться на эту тему, а лишь, слегка взмахнув рукой в сторону экспозиции, пригласил нас познакомиться со своим творчеством. Мы неспешно двинулись вдоль стен, разглядывая живописные полотна и акварели. И почти сразу же я забыла и о существовании самого художника, и о его выставке, и обо всем, что ей предшествовало. С картин на меня вдруг пахнуло такой свежестью, таким разноцветьем родных полей и лесов, что я почти машинально сделала глубокий вдох, словно хотела напитаться всем буйством уже ушедшего лета и снова вдохнуть в себя знакомые с детства луговые ароматы. «Майский день», «Майский мотив», «Лето», «Поле», «Луг», «Цветы», «Околица». Незамысловатые названия, незамысловатые сюжеты, тем не менее, не отпускающее от себя, покоряющие с первого же взгляда той особой безыскусностью и неброской красотой, которые, по сути своей, и являют высшую форму красоты и высший идеал в искусстве.

Помню, я долго стояла перед небольшим полотном, на котором был изображен цветущий луг. Он был так похож на лужайку за огородами тетиного дома в деревне (которую местные называли «Долинкой», потому что там бил ключ и возле сруба с водой постоянно толклись все лето мы, дети), что я уже было подумала, что во время летних этюдов Анатолий Алексеевич заехал ненароком в мамину родную деревню на Могилевщине. Но название картины говорило о том, что художник подсмотрел этот милый моему сердцу пейзаж где-то на Витебщине, скорее всего, уже возле своих родных мест. Кажется, это у Рабиндраната Тагора есть такие строки: «Омой свою душу молчанием». Мы с Захаровной молча брели по пустому залу, неторопливо переходя

от одного полотна к другому, и я почти физически ощущала, как постепенно благоухающая тишина, объявшая нас со всех сторон, смывает с моей души всю суету и сутолоку прошедшего дня. Я взглянула искоса на свою спутницу и по размягченному выражению ее лица поняла, что она испытывает схожие чувства. Окончив осмотр экспозиции, мы двинулись по второму кругу, подолгу задерживаясь у особенно понравившихся нам картин.

Но вот осмотр окончен, нам вручены на память о посещении выставки каталоги с дарственными надписями, пора прощаться. Я, уже почти оправившись от стресса, пережитого в первые минуты знакомства, окидываю взглядом зал и громко вопрошаю:

— А где же книга отзывов?

Невесть откуда вынырнувшая смотрительница протягивает мне девственно чистую тетрадь. Я сажусь за столик, стоящий у самого входа, достаю из сумки авторучку и начинаю писать. Пишу долго, пространно, сумбурно выливая на бумагу все свои восторги по поводу увиденного. Клава тихонько смотрит через мое плечо и шепчет на ухо:

— Можно, я просто подпишусь под твоим отзывом?

— Ну уж дудки! — неожиданно мне делается почти весело. — Давай задавим их числом. Садись и тоже пиши.

Прошло много лет. На дворе уже гуляла та самая перестройка, про которую наш сметливый народ быстро сочинил озорные частушки: «По России мчится тройка, Мишка, Райка, перестройка». Вокруг только и слышно было, что о новом мышлении, об общечеловеческих ценностях и о равноправном вхождении страны в демократическое мировое сообщество. Под сурдинку этих нескончаемых разговоров руководители государства начали потихоньку распродавать все, что плохо лежит. А иногда и просто дарить, в расчете на взаимную любовь с той, другой стороны. Конечно, дальше приснопамятного Бакатина, который за здорово живешь отдал американцам все схемы прослушки, установленные в новом здании посольства США в Москве, не зашел никто. И все же, и все же...

Как-то раз мы столкнулись с Владимиром Алексеевичем в центре города, неподалеку от тогдашней Ленинки, и он сообщил мне прелюбопытнейшую новость. Оказывается, Союз художников СССР распахнул свои обширные фонды перед западными ценителями прекрасного, начав полномасштабную распродажу того, что хранилось в его запасниках. Можно только догадываться, по каким бросовым ценам галеристы из Европы, США и Японии скупили столь ненавистные тогдашнему интеллигенту полотна соцреализма. Ведь в те годы большинство из нас и понятия не имели о том, что такое мировой артрынок и что, а главное, почем на нем продается. Одним словом, как говаривал Трус в народной комедии «Операция Ы», налетай, торопись, покупай живопись. Наконец скупщики «дармовой живописи» добрались и до Минска. Наш республиканский Союз тоже выставил на продажу достаточно много картин белорусских художников, в том числе шесть полотен и акварелей Анатолия Ткаченка, уже, к сожалению, ушедшего из жизни.

И вот Владимир Алексеевич с гордостью в голосе доложил мне, что все шесть работ были моментально приобретены японцами для какого-то там «ихнего» музея современного искусства. Я искренне поздравила бывшего сослуживца с в общем-то заслуженным, хотя — увы! — и запоздалым для самого художника признанием, а сама с грустью подумала: конечно, кому же, как не японцам с их обостренным чувством прекрасного, с их почти религиозным почитанием красоты природы, которая у них возведена в самый настоящий культ, кому же, как не им, оценить благоуханную пре-

лесть белорусских пейзажей, запечатленных кистью талантливого мастера? Но главное — его картинам там, в далекой Японии, точно не будет грозить опасность висеть в пустых залах. Ни при каких обстоятельствах! Вот это уж точно.

«О, одиночество! Как твой характер крут...»

Прототип

Спроси любого творческого человека, откуда и как они берут (находят, создают, лепят, рисуют) свои художественные образы, и получишь сто тысяч разных ответов на один и тот же, в сущности, вопрос. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда», — восклицала когда-то Анна Горенко, ставшая впоследствии Ахматовой. «Мадам Бовари — это я», — вторил ей великий Флобер, который, по отзывам его биографов, настолько вжился в придуманный им образ, что даже пережил все симптомы отравления, предпринятого его героиней для сведения счетов с жизнью. И чуть сам не отправился на тот свет вслед за выдуманной им Эммой Бовари. Гениальный Пушкин Александр Сергеевич на полном серьезе жаловался друзьям, что никак не может совладать с норовистым характером своей любимицы Татьяны, которая ведет себя так, как ей заблагорассудится.

Словом, у каждого великого мастера свои тайны и своя кухня (творческая мастерская, как любят выражаться критики), на которой (или в которой) он колдует по своим, только ему ведомым рецептам над приготовлением очередного вымышленного блюда. И чем выше планка гения, тем более полнокровными и живыми выпархивают оттуда его герои. Недаром великий русский мистик Даниил Андреев поместил многих литературных персонажей в райские кущи наравне с реальными, когда-то жившими людьми. Нашлось там место и Пьеру Безухову, и Андрею Болконскому, и Наташе Ростовой, и многим другим героям величайшего романа всех времен и народов под названием «Война и мир».

«В конце концов, — читаем мы в знаменитой «Розе мира», которую, как известно, Андреев писал в камере Владимирского централа, — *любой человеческий образ, созданный великим писателем, художником, композитором, длящий свою жизнь в сознании и подсознании миллионов и становящийся внутренним достоянием каждого, кто этот образ воспринимает творчески, — любой такой образ есть образ мифический».*

Ну, а мифы, по мнению Даниила Андреева, есть не что иное, как отражение небесных сфер метакультуры, обладающих такой же реальностью, как и наш земной мир. Так ли это на самом деле, не нам судить. И уж во всяком случае, не здесь и не сейчас. А потому возвращаюсь к героям эпопеи Льва Николаевича Толстого, ибо моя история имеет самое прямое отношение к одному из них.

Роман Толстого — один из самых моих любимых. Наверное, я бы даже рискнула сказать, что он самый любимый, если бы не боялась, что такое признание может показаться банальным и даже неискренним, несколько в духе образовательного официоза минувших десятилетий. Когда одной из самых распространенных тем школьных сочинений была, если мне не изменяет память, тема: «Мой любимый герой в романе Л. Н. Толстого “Война и мир”».

Как бы то ни было, но и сегодня, когда меня посещают грустные мысли, я, вопреки известному совету Александра Сергеевича, не тороплюсь откупо-

ривать бутылку шампанского и не бегу к книжным стеллажам, чтобы поскорее снять с полки томик Бомарше. Потому что лично для меня самое лучшее средство от сплина — это роман Толстого. Я открываю «Войну и мир» на любой странице и тут же отключаюсь от всех своих суетных дел и мелких неприятностей. Да и от крупных тоже. В сотый, в тысячный раз перечитываю знакомые страницы и снова и снова удивляюсь тому, какими живыми, полнокровными, какими же настоящими вышли из-под гениального пера яснополянского титана герои его бессмертной эпопеи. Причем, не только и не столько главные! И семейство Бергов, и безропотная Соня, и блистательная Анна Павловна Шерер, и, конечно же, бессмертный капитан Тушин, и... Впрочем, сей список можно распространить на все несколько сотен персонажей, густо населяющих страницы романа.

Но вот было время, когда один-единственный персонаж этой книги вызывал у меня недоверие, неприятие и даже отторжение, ибо раздражал своей явной надуманностью и почти очевидной искусственностью самой конструкции. Я имею в виду Платона Каратаева. И это вопреки тому, что сам Толстой неоднократно заявлял о том, что многие его герои списаны с живых людей, а сам он *«часто пишет с натуры»*. Так, по воспоминаниям Г. А. Русанова, Лев Николаевич в разговоре с ним признался, что иногда в черновиках даже оставляет настоящие фамилии прототипов с тем, чтобы лучше представлять себе будущий персонаж. Разумеется, дело не в портретном сходстве или каких-то запоминающихся чертах характера. В конце концов, любой художественный образ, и тем более у такого гениального мастера, каким был Толстой, — это сложнейшее творческое обобщение многих жизненных наблюдений, пропущенных, что говорится, через себя, то есть через собственную душу и сердце. Кстати, любопытная деталь. Перечитывая недавно дневники жены Толстого, я обнаружила запись, сделанную Софьей Андреевной в то самое время, когда ее муж трудился над романом «Война и мир». Оказывается, Лев Николаевич часто повторял тогда бессмертные слова Гиппократа *'Vita brevis, ars longa'*, видно, прикидывая в такие минуты, хватит ли его собственной жизни для решения тех колоссальных задач, которые стали перед ним во весь рост в процессе создания эпопеи.

Но искусство искусством, а я, всякий раз, дочитав то тех страниц, когда в повествовании появляется Платон Каратаев, вспоминала знаменитый крик души Станиславского. Потому что и сама я, правда, мысленно, произносила те же слова: «Не верю!» Да, я исправно проштудировала всю критику и была отлично осведомлена о том, что образ Платона Каратаева очень значителен для развития сюжетного действия романа, что он многозначен, неординарен, сложен и все такое, что в его лице персонифицировано все то лучшее, что есть, по мнению Толстого, в русском народе, как-то: долготерпение, смирение, мудрость. Наконец, что он очень близок самому писателю, почти что его *alter ego*, что с его помощью Толстой попытался воплотить в художественной форме так занимавшие его в те годы идеи о непротивлении злу насилием. Все это я умом понимала, но вот, повторяюсь, дочитываю до того места, как маленький человечек, заинтересовавший спаростью и аккуратностью движений Пьера, вдруг вопрошал его:

— А много вы нужды увидали, барин? А? — сказал вдруг маленький человек. И такое выражение ласки и простоты было в певучем голосе человека, что Пьер хотел отвечать, но у него задрожала челюсть, и он почувствовал слезы.

Ну, а я в эту минуту чувствовала неприкрытое раздражение и ничего не могла с собой поделать. Меня раздражали и незамысловатые сентенции типа

«Час терпеть, а век жить», и бесконечный ворох пословиц и поговорок, которыми сыплет Платон Каратаев направо и налево, и ласковость голоса тоже раздражала, и эта знаменитая округлость всех его движений, так восхищавшая самого автора. Не случайно в душе Пьера Платон Каратаев навсегда остался *«самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого»*. Впрочем, круглое, как идеал совершенства и внутренней гармонии, почитали еще в глубокой древности многие античные мыслители и философы. Но круглый или квадратный, а Платон Каратаев так и остался бы для меня персонажем неубедительным, а его размышления о смысле бытия прописными и даже ходульными истинами, не имеющими ничего общего с реальной жизнью, если бы не одна встреча, случившаяся летом то ли 1978-го, то ли 1977 года.

Я возвращалась домой из Ленинграда. Была пора летних отпусков, а мой краткосрочный визит в Питер, как всегда, не планировался заранее, а потому билеты туда и обратно пришлось брать такие, какие были в кассах на тот момент. Если туда я еще коротала время в купейном вагоне, хоть и на верхней полке, то обратно проблема лишь бы какого билета и лишь бы в каком поезде встала передо мной во всей ее пугающей неразрешимости. Стоило мне оказаться возле железнодорожных касс на Витебском вокзале, как я поняла, что места в купейном вагоне мне не видать, как собственных ушей. Как бы вообще не пришлось возвращаться домой на крыше какой-нибудь теплушки, как это делали лихие герои времен Гражданской войны. О том, чтобы улететь в Минск самолетом, тоже нечего было и мечтать, потому что все билеты на все авиарейсы ближайших нескольких дней были уже давным-давно раскуплены отпускниками. А потому, когда, в конце концов, я стала обладательницей нижней полки в плацкартном вагоне какого-то пассажирского поезда, следующего своим неспешным курсом из Мурманска во Львов (с остановкой в Минске), то счастью моему воистину не было предела. Меня даже не очень расстроил его черепаший ход, обещавший пять или шесть лишних часов пребывания в пути. Ничего, утешала я себя, главное — это то, что у меня есть билет и что рано или поздно я все же попаду к себе домой.

На вокзал меня в тот раз никто не провожал, ибо мои питерские друзья тоже были в отъезде, пополнив собой несметные ряды отпускников. И это обстоятельство — увы! — не прибавило мне хорошего настроения. Ведь в привокзальной сутолоке особенно остро чувствуешь собственное одиночество и даже какую-то неприкаянность.

Мне захотелось просто быть в пути
И ехать в поезде.
Поехал.
А с поезда сошел,
И не к кому идти.

Сами собой всплыли в моей памяти строки полузабытой японской танки.

Вот с такими невеселыми мыслями я ступила на запруженный народом перрон, нашла свой вагон, зашла и сразу же вобрала в себя полной грудью все ароматы общего класса в поезде дальнего следования: крепкий запах пота (как-никак лето, жара), винный перегар, терпкий дым «Беломора». Словом, настоящий букет изысканных амбре, которые придется стоически терпеть лишних пять или шесть часов. Однако жизнь вокруг меня кипела вовсю. Большинство пассажиров уже успели перезнакомиться друг с другом, а потому в вагоне царила та оживленная атмосфера всеобщего единения и согласия,

какая обычно бывает в пути, когда люди ненадолго сходятся вместе, а потом расстаются навсегда. Вот, сдвинув чемоданы прямо на проходе, несколько человек с азартом стучали костяшками домино. В соседнем купе немолодая дородная дама неспешно раскладывала пасьянс «на удачу» для своей соседки, а рядом шло застолье, сопровождающееся, как это у нас водится, шумными разговорами за жизнь. Что совсем не мешало пассажиру на верхней полке мирно спать прямо на голых досках, прикрыв лицо газеткой. Кое-как я добралась до своего места, забросила вещички в багажный отсек под сидением и, пригорюнившись, уселась у окна в ожидании вечернего чая.

Причин же для дурного настроения было более чем достаточно. Вся тройка моих ближайших спутников оказалась мужского пола — это раз. Причем, двое пассажиров вели оживленный спор о чем-то таком, что уже заранее настраивало на бессонную ночь, это два. Ибо, как правило, такие судьбоносные дискуссии уже по определению не могут закончиться в течение часа или двух. Я достала из сумки книжку и попыталась сосредоточиться на чтении, но в эту минуту высокий и по-бабьи протяжный голос надо мной пропел:

— Э, мил человек, болезни еще как полезны. Они нам во спасение посылаются. Скорбями грехи людские надобно истреблять. Только скорбями. Жди скорбей, как любезных гостей.

Что-то в интонациях голоса, в общем подборе слов, в том, как неспешно и вместе с тем значительно ронялось каждое слово, показалось мне смутно знакомым. Где я могла все это слышать, подумала я отстраненно. Взгляд мой упал на развернутую книжку. Или читать?

Ну конечно, читать! Это же «Война и мир» и те самые нескончаемые разговоры, которые вел Платон Каратаев с Пьером, попавшим в плен к французам.

— Ну, вы прямо как апостол Павел. Тот тоже в свое время писал коринфянам, что скорби посылаются нам во благо. Дескать, именно от скорби происходит терпение, от терпения опытность, а от опытности надежда, — добродушно пробасил плотный мужчина лет пятидесяти, сидевший напротив меня.

— Все так! — охотно согласились с ним сверху. После чего послышался легкий вздох.

Очень скоро мне стало понятно, кто есть кто в разворачивающейся на моих глазах дискуссии. Мой сосед напротив — убежденный атеист и материалист, скорее всего, специалист с высшим образованием. Вполне возможно, историк или гуманитарий другого профиля. А вот составить конкретное мнение о человеке, восседающем у меня над головой, пока никак не получалось. Я уже корила себя за то, что лишь скользнула взглядом по полкам, когда зашла в купе. Не подниматься же сейчас со своего места для того, чтобы рассмотреть как следует вдохновенного спорщика. Да-да, я не оговорилась. Спорщик действительно заинтриговал меня своими вдохновенными монологами, из коих следовало, что, во-первых, бог все ж таки есть, а во-вторых, *«Бог-то един, да путь к нему льдин»*. Незамысловатые, округлые сентенции сыпались сверху, как из рога изобилия, причем одна лучше другой. Хоть ты бери ручку и начинай конспектировать по горячим следам.

Наконец природное, чисто женское любопытство взяло верх. Я схватила полотенчико, мыло и двинулась в сторону туалета, чтобы совершить вечернее омовение. В проходе остановилась и искоса взглянула на верхнюю полку, расположенную над моим спальным местом. А дальше...

А дальше я отсылаю читателя к четвертому тому «Войны и мира», а еще конкретнее, к главе XIII. Открываем и читаем.

«Вся фигура Платона в его подпоясанной веревкою французской шинели, в фуражке и лаптях, была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые.

...Лицо его, несмотря на мелкие круглые морщинки, имело выражение невинности и юности; голос у него был приятный и певучий. Но главная особенность его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность».

— Да разве ж такое возможно? — воскликнет иной недоверчивый читатель. Оказывается, очень даже возможно. Где и когда Лев Николаевич подсмотрел образ человека, который спустя сто с лишним лет целехоньким и невредимым восседал надо мной, правда, не во французской шинели, а в каком-то дешевом, немного кургузом пиджачке и изрядно помятых брюках, пусть разбираются дотошные исследователи творчества Толстого. Я же под впечатлением увиденного (поневоле поверишь в эту самую реинкарнацию!) молча потащилась в конец вагона. Когда через некоторое время я вернулась к себе в купе, то оба спорщика мирно похлебывали чай, продолжая свой неспешный разговор исключительно об универсальных проблемах бытия. Ибо вопрос вселенского масштаба «А что есть истина?» уже был озвучен, и сейчас обе стороны бились над поиском компромиссного ответа на него. «Каратаев», как я уже мысленно окрестила своего соседа, сдвинулся ближе к проходу, давая мне возможность сесть у окна.

— А чаек-то стынет, вас дожидаючись, — одарил он меня приветливой улыбкой. — Без чаю ведь никак нельзя! Не положено!

Самое удивительное, что вопреки всем моим опасениям и страхам я проспала до утра как убитая. Сквозь сон я все еще слышала, как мужчины возобновили свои философские разговоры, но их негромкий гомон — странное дело! — убаюкивал лучше всякой колыбельной.

Вот и вся невыдуманная история, которая рассеяла все мои сомнения в неправомерности такого персонажа, как Платон Каратаев. А с другой стороны, разве же мог гениальный Толстой, глыба, как называл его Ленин, разве мог он придумать что-то искусственное, не имеющее никаких корней в окружающей его действительности?

Недавно перечитывая свои записные книжки, натолкнулась вот на такую выписку, сделанную бог весть когда. Эти слова принадлежат хорошему русскому писателю Николаю Задорнову, ныне почти забытому.

«Пока ты в простых людях не научишься видеть людей интересных — считай, что ты не писатель, так — журналист...»

Что ж, граф Лев Николаевич Толстой понял эту основополагающую для любого художника истину много-много раньше. И в полной мере реализовал ее в своем творчестве.

Ты — мой кумир...

«Ты — божество, ты — мой кумир», — распевали когда-то элегантные герои оперетт Имре Кальмана, разыгрывая совсем не шутейные страсти перед зрителями. И эта строчка как нельзя более подходит для названия следующей истории. Ибо я хочу рассказать об одном театральном кумире, самом насто-

ящем кумире искушенной московской публики 70-х годов прошлого века. Кстати, и о своем тоже. Так совпало, что предмет обожания молодых и не очень молодых, и даже откровенно пожилых театралов-москвичей стал и для меня на многие годы вперед эталоном мастерства и безукоризненного вкуса в том, что касается актерской игры на сцене. Впрочем, его боготворили не только театралы. Этот артист много и весьма успешно снимался в кино, правда, в основном в развлекательных кинокомедиях. Но кинокомедии эти популярны и сегодня, спустя почти четверть века после его смерти. Недаром их с усердием «крутят по телеку» в любой праздничный день. Наверное, вы уже догадались, что речь пойдет о всеобщем любимце тех лет, о несравненном, обаятельном, легком, изящном, умном и очень-очень талантливом Андрее Миронове. Я бы даже сказала, гениальном! Но кто осмелится сей эпитет нанизать на фамилию артиста, всю жизнь проработавшего в комедийном театре? Впрочем, в знаменитом на всю страну Московском Театре Сатиры под руководством не менее знаменитого Валентина Плучека.

Про таких, как Андрей Миронов, англичане говорят, что он родился с серебряной ложкой во рту. В самом деле! Родители — известные артисты, популярный эстрадно-театральный дуэт Мария Миронова и Александр Менакер. Блестящее образование, распахнутые двери во все лучшие столичные театры, постоянные съемки в кино. Как легко было бы скатиться до уровня взбалмошно-капризной кинозвезды и заурядного плейбоя, сотрясающего высший свет тогдашней Москвы своими бесконечными любовными похождениями. И как трудно было остаться тем, кем он в сущности и был — великим артистом. Он и смерть свою раннюю принял как истинно великий артист — прямо на сцене. Трагическим образом повторив судьбу Мольера, тоже вроде бы всю жизнь только смешившего французских королей и придворную знать.

Подруга рассказывала мне, что в тот далекий августовский день 1986 года, когда хоронили Миронова, в Москве шел дождь, и площадь Маяковского (ныне снова Триумфальная площадь), запруженная бесчисленными толпами почитателей таланта Андрюши (как ласково называли его даже те, кто никогда не был знаком с ним лично), издали напоминала цветущий луг. Из-за обилия разноцветных зонтиков, раскрытых над головами тех, кто терпеливо дожидался под дождем выноса тела из здания театра и последних минут прощания с Андреем Мироновым, еще как с артистом. Даже смерть свою этот удивительный человек сумел превратить в некое подобие праздника. Или, во всяком случае, растворить горечь утраты в потоках все смывающего летнего дождя. Как это там у поэта? «Печаль моя легка...»

Наверное, среди многочисленных везений, которые случились в жизни этого прекрасного артиста, — главным можно назвать театр, в который он пришел после окончания «Щуки» (Театрального училища им. Щукина) и в котором прослужил до самой смерти. В самом деле! Театр Сатиры, руководимый Валентином Плучеком, несомненно, входил в тройку лидеров по популярности в тогдашней Москве. Он уверенно оттеснил на более дальние позиции и Малый, и МХАТ, и вахтанговцев на пару с несколько поблекшим «Современником», на равных соперничая за любовь зрителей со скандальной Таганкой и с набирающим обороты Ленкомом. Причин такой ошеломляющей популярности, которую имел тогдашний Театр Сатиры, по крайней мере, три.

Во-первых, серьезный репертуар, отвечающий самым строгим канонам театрального искусства. На сцене театра ставили в те годы Брехта, Маяковского, Бомарше, Гоголя, Фонвизина, Грибоедова плюс целую россыпь остроумных современных комедий, написанных как советскими, так и зарубежными авторами.

Во-вторых, это — сама театральная труппа, многие представители которой приобрели необычайную популярность у «всего советского народа», как принято было тогда выражаться, благодаря телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев». Ведь любимые всеми (и лично Леонидом Ильичом Брежневым, который, по воспоминаниям соратников, просто обожал передачи «Кабачка», не пропуская ни одного выпуска), так вот, любимые всеми пани Моника, пани Тереза, пан Директор, пан Вотруба, пан Владек, пан Спортсмен, да и почти все остальные завсегдатаи кабачка в обычной жизни числились артистами Театра Сатиры. Что опосредствованно работало на репутацию театра, создавая невиданный ажиотаж среди многочисленных приезжих и командированных, жаждущих собственными глазами увидеть на сцене Ольгу Аросеву, Спартака Мишулина, Романа Ткачука, Зою Зелинскую и других актеров, занятых в «Кабачке».

И наконец в-третьих, почти во всех спектаклях этого театра были постоянно заняты такие корифеи сцены, причем почти всегда в дуэте друг с другом, как Анатолий Папанов и Андрей Миронов. А вы думали, что они вместе только в «Бриллиантовой руке» восхищали зрителей? О, нет! Два блистательных драматических актера, которым, казалось, было подвластно все, от высот шекспировской трагедии до откровенного фарса, удачно сошлись друг с другом на одной сценической площадке, как говорится, в одном и том же месте, в один и тот же час. Разумеется, в театре было полно и других, заслуженных и признанных актеров и актрис. Достаточно назвать ту же Татьяну Пельтцер, Георгия Менглета, Веру Васильеву, Александра Ширвиндта. И все они очень талантливо дополняли этих двоих, оттеняли их достоинства, создавая совершенно удивительные по своей гармонии актерские ансамбли. Те, кто видел «Свадьбу Фигаро», хотя бы даже в телевизионной версии, отлично поймут, о чем я. Ну, а мне, побывавшей на одном из премьерных показов этой пьесы и собственными глазами созерцавшей триумф, который выпал на долю всеобщего любимца Андрюши, уже не понаслышке известно, что же это такое — великая наука театрального искусства К. С. Станиславского в ее, так сказать, диалектическом развитии. Когда актеры играют не просто вдохновенно, но с величайшим уровнем внутренней свободы, не боясь импровизировать, ошеломляя зрителей самым настоящим фейерверком удачных реплик, жестов, интонаций и филигранно выстроенных мизансцен.

Подозреваю, что главному режиссеру Театра Сатиры, скорее всего, был не чужд азарт игрока. Ибо с упорством завсегдатая казино Валентин Плучек почти в каждой своей новой постановке ставил на одно и то же число: «два». И каждый раз неразлучная пара Папанов — Миронов успешно срывала для него весь банк. Они и умерли-то в один год, с интервалом в три или четыре месяца, навсегда осиротив свой родной театральный дом, над сценой которого после их ухода надолго опустился занавес былой славы. Финита ля комедия. Спектакль окончен, господа!

Но не будем о грустном, ибо сегодня мне хочется вспомнить об одной из самых примечательных постановок Театра Сатиры времен Андрея Миронова, которую критика тех лет, тем не менее, старательно обошла своим вниманием. Что опосредствованно свидетельствует о том, что творческий коллектив, ведомый своим главным режиссером, попал-таки в самое яблочко. Я имею в виду комедию Грибоедова «Горе от ума».

На моей памяти было, по крайней мере, три постановки этой бессмертной комедии, которые сотворили просто невероятный шум и волнение, как в высоких театральных кругах, так и в среде рядовых зрителей. В шестидесятые годы прошлого века это удалось Георгию Товстоногову в знаменитом на

всю страну БДТ. Изюминка той давней постановки заключалась в странном, на первый взгляд, смещении акцентов, ибо главным героем в спектакле стал не Чацкий, а Софья. Впрочем, акценты режиссером были смещены вполне сознательно и совершенно точно. Ибо Софью играла тогдашняя бесспорная прима товстоноговского театра, красавица и умница Татьяна Доронина. О том, как она на пару с Иннокентием Смоктуновским играла в другом товстоноговском спектакле «Идиот» по роману Ф. М. Достоевского, в Ленинграде ходили легенды. А потому и новая роль молодой актрисы тоже немедленно стала звездной. К сожалению, вскоре Доронина переехала в Москву, и спектакль был снят с репертуара. Представляете? Снят только потому, что в труппе не нашлось равноценной замены исполнительнице роли Софьи!

В средине семидесятых годов два ведущих московских театра почти одновременно снова обратились к комедии, про которую хороший русский писатель Гончаров написал в свое время очень умную критическую статью, назвав ее весьма символически: «Мильон терзаний». В Малом театре выпустили спектакль, в котором в роли Чацкого был занят тогда еще совсем молодой Виталий Соломин, недавно приглашенный в труппу театра. Знакомые московские театралы рассказывали мне, что он создал совершенно не похожий на стандартные интерпретации образ классического героя, монологи которого все мы заучивали наизусть в школе. Никакого, даже внешнего сходства со своим великим предшественником в этой же роли Михаилом Ивановичем Царевым. Худой, по-юношески стремительный, в круглых очках с тонкой металлической оправой, он был похож то ли на разночинца Чернышевского, навечно озадачившего народ своим риторическим вопросом «Что делать?», то ли на молодого Антона Павловича Чехова, с удивлением взирающего на окружающую его жизнь, то ли на одного из будущих чеховских героев, вечного студента Петю Трофимова. Соломин носился по сцене как угорелый и без конца душил всех, включая зрителей, своими утомительными поисками правды. Резонер! И немного позер, — решила театральная общественность города Москвы и затаилась в ожидании, что же сотворит Плучек на сцене своего театра. Тем более что уже было доподлинно известно, что к репетициям приступила та самая беспроигрышная «двойка»: Андрей Миронов в роли Чацкого и Анатолий Папанов в роли Фамусова.

Сердце мое заныло в сладостном предчувствии чуда. Сидя в Минске, я прокручивала сто сорок восемь вариантов того, как именно мне следует совершить марш-бросок в столицу, чтобы оказаться там аккурат в канун театральной премьеры. Точнее, вариантов было всего лишь два. Если повезет и вдруг случится командировка в те дни, когда на афише появится долгожданный спектакль, то тогда, как говорят нынешние молодые, *no problems*. Билет уж я как-нибудь раздобуду. На то и спрос, в конце концов, чтобы было соответствующее предложение. И пусть театральные жучки взвинтят цены на билеты десятикратно, лишний перевод в Торговой палате с лихвой покроет все мои театральные расходы. Хуже, если командировки не случится (а я — не начальник, чтобы самой себе устанавливать даты и назначать сроки, когда ехать, а когда нет). Тогда остается одно: терпеливо ждать от московских друзей известия, когда желанный спектакль поставят на субботний вечер, с тем чтобы можно было обернуться с поездкой в Москву за два выходных и появиться на работе строго в восемь ноль-ноль в понедельник утром.

Заметили ли вы, глубокоуважаемые читатели, одну любопытную жизненную закономерность? Если чего-то хочешь очень-очень сильно, всем сердцем или, как говорил мой школьный завуч Николай Макарович, преподававший у нас историю, всеми фибрами души, то твое желание обязательно исполнится.

Воистину, прав был Сократ, утверждавший, что боги всегда позаботятся о хорошем человеке. Ну, а кто же из нас осмелится отнести себя к категории плохих людей?

Словом, в очередной понедельник мне было велено собираться в очередную командировку в Москву, страшно подумать! — аж на целых десять дней. Невероятная удача! Я уже была в курсе того, что первый показ пьесы прошел с шумным успехом, а следовательно, тянуть со вторым и с третьим премьерным спектаклем сатировцы не станут. По прибытии в столицу я первым делом помчалась изучать театральную афишу, из коей следовало, что третий прогон спектакля — о, радость! — состоится именно в те дни, когда я буду в Москве. Что ж, остальное, как говорится, было уже делом техники.

Конечно, хорошо бы в этом месте сочинить сентиментально трогательный пассаж о том, с каким волнением и как тщательно я собиралась в театр, почти что в духе Наташи Ростовой, готовящейся к первому в своей жизни взрослому балу. Как накручивала на голове кудри, как облачалась в парадновыходное платье и обильно поливала себя сверху духами. Например, очень модными в те годы французскими духами «Клема». Только вот беда, ничего этого на самом деле не было. Обычный рабочий день, среда или четверг, и я, отпахав как папа Карло за допотопным электрофотом (такой прибор для чтения текстов с микропленок) во Всесоюзной патентной библиотеке, что на Бережковской набережной, рысью метнулась к центру, перекусив на бегу в какой-то пельменной.

Уже на станции метро «Маяковская» меня, подобно герою известной кинокомедии, стали терзать смутные подозрения. Всегда оживленная, эта, бесспорно, самая красивая подземная станция метро в мире в тот день была оживлена как-то по-особенному. Я бы даже сказала, она вся просто кипела от возбуждения. Толпы нарядных людей стекались к эскалаторам, и было ясно как божий день, что вся эта публика, выйдя наружу, тотчас же устремится вниз, по Садовой-Кудринской, к Театру Сатиры. Так оно и случилось. Но не это испугало. В конце концов, какая же премьера, да еще в таком сверхпопулярном театре, мыслима без зрительского ажиотажа? Настораживало другое. На всем пути следования никто не спрашивал у меня лишнего билетика (и, само собой, никто не предлагал). Такое впечатление, что никаких билетов вообще не существует в природе. Их просто взяли и отменили, назначив для нескольких сот счастливчиков безбилетный проход на спектакль. Та же картина повторилась уже на ступеньках театра. Море народа, многие с цветами, то тут, то там раздаются радостные восклицания (назначенная встреча состоялась), но никто в этом колышущемся людском море не озабочен проблемой лишнего билета. Посмотришь со стороны и решишь, что у всех собравшихся тут театралов они либо уже есть, либо они просто им не нужны. Я с трудом протиснулась сквозь толпу поближе к входу, прошлась по парадному крыльцу в одну сторону, потом в другую. Безрезультатно! Ни одного подпольного миллионера, торгующего билетами из-под полы. А у меня-то уж взгляд на этих ребят наметанный. Так сказать, многолетняя визуальная практика. Что делать, повторила я бессмертный вопрос и устало прислонилась к стене, словно безотчетно надеялась, что она, по известному библейскому выражению, вдруг возьмет и превратится в ворота. Но нет! Стена не шелохнулась, не дрогнула, не рухнула под напором моего неистового желания, а осталась стоять там, где ей и положено было стоять, на своем законном месте.

И вот стрелки часов неумолимо приближаются к семи. Толпа постепенно редеет, на ступеньках остаются лишь те, кто терпеливо дожидается своих спутников, по каким-то причинам опаздывающим к началу спектакля. И что я

здесь делаю? — снова и снова задаюсь я нелепым вопросом, впадая в какое-то непонятное сомнамбулическое состояние. Ведь нет же здесь никого, кто взял бы меня за руку и отвел в театр. Или кому нужна моя двадцатка, нет, даже тридцатка против номинальной стоимости билета в партер за два рубля пятьдесят копеек. Я снова бросаю взгляд на часы. Ровно семь часов. Все! Аллес! Провал! Облом (впрочем, тогда еще так не говорили). Вселенская катастрофа! Невероятно, но факт! Я осталась без билета, и это имея все возможности, чтобы его приобрести. Включая недюжинный опыт контактов с преступной театральной мафией. И вот в тот самый момент, когда жизнь, казалось, уже потеряла всякий смысл и содержание, над моей головой раздается откуда-то с небес божий глас: «Вам нужен билет на спектакль?» Поднимаю голову, отказываясь верить своим ушам. Рядом стоит немолодой мужчина вполне респектабельного вида.

— Думайте быстрее! У меня лишний билет, — нетерпеливо говорит он, протягивая мне вожделенный пропуск в рай.

Говорите, так не бывает? Да именно так и бывает, поверьте старому человеку. В жизни всегда происходит именно то, чего ты меньше всего ждешь. Вернее, чего вообще не ждешь. Я, словно во сне, достаю кошелек, плачу положенные два рубля и пятьдесят копеек, подсознательно фиксируя, что у нас с моим неожиданным соседом третий ряд партера. Третий ряд! Невероятно! Не верю!!! Правда, боковые места, четыре и пять. Что, учитывая особенности театрального зала в Сатире, не самый лучший вариант. Но ничего! Зато рядом со сценой. Я почти вприпрыжку устремляюсь вслед за своим благодетелем. Он явно расстроен. Видно, тот (скорее всего, та), для кого предназначался мой билет, не пришел. Но мне уже нет никакого дела до него, до нее, до всех на свете. Мы успеваем как раз вовремя. Усаживаемся на свои места, и в зале гаснет свет. В самом деле, чего еще ждать? Ведь я уже здесь!

Валентин Плучек предложил совершенно свежее прочтение комедии Грибоедова, доложу я вам с видом заправского критика. Я бы даже сказала, поражающее небанальностью своего решения во всем. Прав Есенин, большое видится на расстояньи. И вот сегодня, по прошествии более трех десятков лет со времени того премьерного показа, я готова заявить где угодно: Плучек создал совершенно гениальный спектакль. А Миронов, как и положено гениальному артисту, принял весь удар на себя и с честью справился с возложенной на него миссией, напитав заполненный до отказа зрительный зал совершенно фантастической энергетикой. Это был замечательный Чацкий, я бы сказала, лучший Чацкий всех времен и народов. Красивый, изящный, умный, насмешливый, ироничный, иногда саркастичный, но без намека на желчную язвительность или желание кого-то задеть за живое. Плюс настоящий сорванец, если вспомнить ту характеристику, которую ему дает Фамусов в самом начале пьесы. И вообще, постранствовав по заграницам, молодой человек совершенно искренне удивляется тому, что видит вокруг себя в матушке-Москве. Дескать, дома новы, а предрассудки стары. Да и люди! Люди вокруг какие-то странные, ей-богу!

Люди, то бишь персонажи пьесы, действительно были странными. Во всяком случае, совершенно непохожими на самих себя, как мы их привыкли воспринимать еще со школьной скамьи. Вот, скажем, Алексей Степанович Молчалин, секретарь Фамусова, в потрясающем исполнении Александра Ширвиндта. Никакого лизоблюдства! Никакой смердяковщины! Никакого лакейства! Угодничество — да, но какое! Закамуфлированное, растворенное в тысячах мелочей: жесты, поворот головы, участливый взгляд, полнейшее смирение, в духе той трогательной преданности, которую демонстрирует

восточный юноша, изучающий основы классических единоборств, своему сэнсею. А какой красавец! Поневоле проникнешься пониманием того, почему же неглупая девушка Софья не на шутку увлеклась этим проходимцем. А еще *«деловой»,* как характеризует его Фамусов, причем, именно в том смысле, какой вкладываем сегодня в это слово мы, далекие потомки Грибоедова.

Да это ведь самый настоящий прообраз наших будущих чикагских мальчиков, которые в девяностые годы вскружили голову уже не одной только невинной московской барышне, а всему честному народу, обитающему на одной шестой планеты Земля. Помните, как пылко обещали они нам построить рай на земле уже не за двадцать лет, как во времена Хрущева, а за каких-то пятьсот дней. Всего лишь за полтора года! Сущий пустяк! И по две или по три «Волги» в обмен на бумажки, именуемые непонятным словом «ваучер». Вот оно, наше знаменитое третье сословие, во всей его красе! То самое, про которое когда-то Дмитрий Мережковский провиденциально написал: «Грядущий хам». Пригреб-таки, наконец, родимый! И как раз тогда, когда мы и не чаяли встретиться с ним. Пригреб и огреб все что только можно, от яиц Фаберже до всех сокровищ земных недр. И представьте себе, немедленно стал законодателем вкуса, и тоже во всем: в живописи с ее бесконечной чередой инсталяций и перформансов, в литературе с ее гламурным пустословием и ложью, в театральном искусстве с его эпатажем в стиле «ню». Впрочем, раздеться догола — эка невидаль! Это всегда проще, чем обнажить потаенные пружинки, с помощью которых приводится в действие часовой механизм, отмеряющий наше время.

А Фамусов! Вальяжный барин Фамусов, чем-то там управляющий в каком-то там казенном месте. Анатолий Дмитриевич Папанов не просто вылепил образ типичного русского самодура и бонвивана, но на целых двадцать лет предвосхитил появление вечно полупьяного политика, который одним взмахом пера порешил в пьяном угаре судьбу целого государства. О чем с превеликим удовольствием тут же лично доложил в Вашингтонский обком тамошнему первому секретарю. И, пожалуйста, не думайте, что я передергиваю факты. Сама удивляюсь тому, насколько же, даже внешне, был похож образ, вылепленный великим артистом, на «известного политического деятеля времен Аллы Пугачевой». А потому, что настоящее искусство, оно всегда ведь пророческое. И какие такие предостережения оставил своим читателям, зрителям, слушателям художник, какой, выражаясь современным языком, мессидж отправил он в будущее, все это каждое новое поколение берется разгадывать сызнова, как поется в одной хорошей песне *(«Да мы начнем все сызнова»)*. Кстати, возвращаясь к комедии Грибоедова, напомню, что Александр Блок считал «Горе от ума» единственным произведением в мировой литературе, так и не разгаданным до конца.

А каким оригинальным получился у Михаила Державина полковник Скалозуб. Красавец мужчина во цвете лет, и никакой тупости во взоре. Да, служака, да, книг не любит. Будь его воля, он оставил бы их только *«для больших оказий»*. А за что их любить, скажите на милость? Особенно французские. От них ведь одни напасти — вольтерианство *(«Ученье — вот чума»*, — в унисон с полковником замечает Фамусов), бунт, да мало ли что еще? И вместе с тем пан Ведущий, как называла Михаила Державина вся страна по той функции, которую он выполнял в «Кабачке 13 стульев», предложил зрителю совершенно новую трактовку привычного образа. Сравнительно недавно в газете «День литературы» (№2, 2010) я прочитала интереснейшую статью Владимира Винникова «Счастье — к уму», посвященную Грибоедову и его комедии. Особенно меня заинтересовала та часть статьи, где автор подробно

анализирует образ полковника Скалозуба. А подробности выясняются и в самом деле весьма и весьма любопытные.

Вот, скажем, известный обмен репликами между Фамусовым и Скалозубом.

Фамусов.
Имеет, кажется, в петличке орденок?
Скалозуб.
За третье августа; засели мы в траншею:
Ему дан с бантом, мне на шею.

За какие ж такие ратные подвиги полковника наградили орденом святой Анны, который во времена Грибоедова обладатели сей награды действительно носили на специальной орденской ленте так, как ныне носят кулон? А ни много ни мало — за героическую оборону Смоленска летом 1812 года. Защитники города своим беспримерным мужеством сделали тогда возможным невозможное, то есть то, чего больше всего на свете опасался Наполеон. Они обеспечили соединение разрозненных армий Багратиона и Барклая де Толли в единое целое, а также их организованный отход в сторону Москвы. Случилось это именно 3 августа 1812 года. Армия, о которой так радел Кутузов, была спасена, и можно было начинать готовиться к генеральному сражению на Бородинском поле. Следовательно, образ Скалозуба совсем не так уж однозначен, как это представляли мы, когда учились в школе. Отнюдь не только *«созвездие маневров и мазурки»*, но и боевой офицер, не посрамивший своей воинской чести в ближнем бою с противником. Именно эту многогранность своего героя и продемонстрировал Державин ошеломленному зрителю, привыкшему видеть в Скалозубе тупоголового болвана, и только. Обычно исполнители этой роли всегда заостряют комическую составляющую образа, а тут на первый план вышли другие характеристики, тоже разбросанные по всей пьесе: *«честный офицер»*, *«не по летам и чин завидный»*. А чему удивляться? Заслужил в бою, вот и завидный. И потом, если хорошенько подумать, то разве стал бы хитроумный Фамусов так усердно метать бисер перед Скалозубом только для того, чтобы выдать замуж единственную дочь за какого-то примитивного солдафона? Мало, что ли, в Москве приличных женихов для богатой невесты? Я читала статью и все время вспоминала Михаила Державина. Не думаю, что ему были знакомы все те подробности боевой биографии героя Грибоедова, о которой поведал своим читателям Винников. Не уверена, что и Валентин Плучек так далеко простер свою режиссерскую длань, что буквально уперся рукой в события Отечественной войны 1812 года. Но большому художнику дано даже на интуитивном уровне понимать и чувствовать то, что потом уже с цифрами и датами запускают в широкое обращение для всех любителей словесности дотошные ученые и добросовестные комментаторы.

Однако снова вернусь в тот далекий зимний вечер. Не стану искать стандартные клише, чтобы описать, какая атмосфера царила в самом зрительном зале. Скажу лишь одно. Кажется, впервые я воочию и наглядно увидела, что такое знаменитая московская фронда в ее, так сказать, публичном проявлении. Ведь одно дело — вести на кухне всякие диссидентские разговоры, тихо поругивая застойные времена в кругу приятелей. И совсем другое — открыто смеяться над тем, над чем смеяться, ну, никак не положено. Никогда и ни при каких обстоятельствах.

А в комедии Грибоедова полно пассажей, которые не теряют своей актуальности вот уже скоро двести лет и при желании всегда могут быть озвучены как самые современные и острые филиппики. Что с превеликим удовольстви-

ем и проделали актеры Театра Сатиры.

«Ведь нынче любят бессловесных», — роняет Чацкий, и зал немедленно разражается шквалом аплодисментов.

«Браво, Миронов!» — кричит у меня кто-то сзади, словно это не Грибоедов написал, а сам артист изрек только что мысль, неожиданно пришедшую ему в голову.

«Возьмите вы от головы до пяток,

На всех московских есть особый отпечаток».

Это уже размышляет Фамусов, и зал соглашается с ним дружным смехом.

«Где? — негодует Чацкий — *укажите нам, отечества отцы, которых мы должны принять за образцы?»*

Овация, несмолкаемые крики «браво».

«Чины людьми даются;

А люди могут обмануться».

Снова восторженные вопли публики, услышавшей нечто такое, что просто не передать словами.

И так весь вечер, все четыре действия и все два акта.

Хватит ли у Миронова сил довести этот изнуряющий марафон до конца, размышляю я в антракте, сидя в своем кресле. Он устал, с моего третьего ряда это видно вполне отчетливо, безо всякого бинокля. То и дело артист достает из кармана белоснежный батистовый платок, чтобы отереть струящийся по лицу пот. Я вижу, как горят у него глаза и как он бледен. Тяжелая роль. Невероятные, запредельные нагрузки! Психологические, эмоциональные, да и просто физические.

Вокруг меня возбужденно гудит наэлектризованная до предела публика. Все всем известно, сюжетные повороты комедии выучены еще в школе, но все ждут. Чего? Наверное, слова. Точнее, Слова, обращенного к ним, зрителям, с амвона, каким в те далекие годы для многих был театр. Как скажет его Миронов в заключительном монологе, заезженном донельзя?

И вот они, известные всем начальные строки.

«Не образумлюсь... виноват...»

В зале устанавливается мертвая тишина. Я даже не слышу дыхания тех, кто сидит рядом. И в этой звенящей тишине на нас падают и падают свинцовые слова всеобщего прозрения.

Наверное, именно тогда, 21 февраля 1977 года, я, как и все остальные зрители, пришедшие на спектакль, мысленно сказала себе то, что много позже озвучил уже публично самый загадочный Генсек КПСС Юрий Андропов. «Мы не знаем общества, в котором живем». Да, не знаем, но то, что в нем однозначно творится что-то неладное, стало в тот вечер очевидным и понятным для малой толики людей, составляющих это общество: для публики Театра Сатиры.

«Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,

Где оскорбленному есть чувству уголок!» —

вдохновенно декламирует Миронов, небрежно опершись на колонну, почти рядом с нашими креслами.

И в эту самую минуту наступает всеобщее помешательство. «Браво!!!» — скандируют откуда-то сверху, с галерки. «Молодец, Андрюша!» — экзальтированно вопит немолодая дама весьма благообразной наружности со своего первого ряда. Несмолкающие овации, почти переходящие в речевки, которые так искусно организовывали тогдашние молчалины на всяких официальных съездах и форумах.

Боже, что они делают! — ужасаюсь я. — Как после этого шквала зрительских восторгов он сумеет произнести эту пресловутую строчку — «Карету мне, карету!»? Разве ж так можно, искренне негодую я, сострадая всей душой и сердцем своему кумиру. Артист молча смотрит поверх наших голов куда-то вдаль. Он отрешен от всего, он не слышит громоподобного рева публики, он там, в другом измерении, в другом мире, в другом времени. Постепенно шум затихает, публика снова сосредотачивается. И Миронов, делая шаг вперед, навстречу всем нам, совершенно будничным голосом смертельно уставшего человека, которому все видно, все известно и все понятно, говорит последнюю строчку монолога:

«Карету мне, карету!»

Он произносит ее так, словно и не было вовсе этой незапланированной паузы с пятиминутными овациями и восторгами, словно и не он — герой дня и любимец всей Москвы. Вот он, истинный артист с большой буквы, снова умиляюсь я, чувствуя, как увлажняются мои глаза. Нет, такой не станет тянуть одеяло на себя, оттеснять партнеров от авансцены, чтобы собрать цветы успеха лишь для себя одного. Ведь главное «на театре», как говаривали в старину, совсем не личность, даже самая гениальная. Главное — это ансамбль. И, верный этому принципу, этому, если хотите, кодексу чести настоящего театрального артиста, Миронов легко подхватывается со своего места и исчезает за кулисами, давая возможность Папанову довести комедию до ее триумфального завершения. А Анатолий Дмитриевич невозмутимо подходит к краю сцены и хрипловатым голосом наипопулярнейшего горемыки Волка из любимого всеми мультика «Ну, погоди!» начинает декламировать последний монолог Фамусова:

«Ну что? не видишь ты, что он с ума сошел?»

Потом с ума сходит уже весь зал. Вы говорите, испанцы ликовали, празднуя свою победу на чемпионате мира по футболу? Видели бы вы, как ликовали зрители Театра Сатиры в тот вечер! Да никакие футбольные фанаты им и в подметки не годятся.

Я выхожу на ярко освещенную площадь Маяковского. Мне не хочется в метро, мне не хочется в гостиницу, меня переполняют те самые эмоции, которые так легко выплескивать именно в толпе, на людях, на улице, вместе со всеми. Увлекаемая нескончаемым людским потоком, я иду по направлению к улице Горького, потом почти бегом проскакиваю несколько кварталов до Белорусского вокзала: мне нужна кольцевая станция метро. В гостиницу добираюсь далеко за полночь.

— Попала-таки в свой театр? — сонно шепчет соседка по комнате, славная, уже немолодая женщина, приехавшая в Москву из далекой Анапы на какие-то курсы переподготовки и повышения квалификации. — А Миронов хоть что-нибудь пел?

— Нет, не пел. У него сегодня роль была без песен. Зато мы, зрители, напелись от души.

— И что ж вы пели? — заинтригованно спрашивает соседка, поворачиваясь ко мне лицом и зажигая ночник над головой.

— Да разное пели! Но чаще всего «браво» или «бис». А знаешь, по-латыни «бис» — это дважды. *Bis in die*, — пишут врачи на рецептах, что означает «два раза в день». Вот и я слушала бы и смотрела на своего любимого Андрюшу Миронова два раза в день, утром и вечером.

— Конечно, когда любишь, оно не надоест! — мирно соглашается со мной женщина и снова отворачивается к стенке. — Спокойной ночи, гулена! На работу завтра не проспи.

В. Ш.

А вот еще одна история на извечно животрепещущую тему: место гения в толпе. Да-да, именно так, гения, не больше и не меньше. Однако начну несколько издалека.

Любой переводчик не понаслышке знает, какое это в общем-то муторное дело переводить заглавия, причем не важно, идет ли речь о толстенном томе художественного произведения или о коротенькой статье из научно-технического журнала. Кажется, все-то тебе понятно, все-то тебе известно, и все подводные камни особенностей англоязычных (к примеру) заголовков ты можешь среди ночи пересчитать наизусть. И правило номер один, гласящее, что заглавие надо переводить в последнюю (в последнюю!!!) очередь, уже после того, как переведен весь материал, ты свято соблюдаешь. Ан нет! Вот взор твой упирается в заглавие очередного перевода, и начинаются «творческие муки». А может, так? А может, этак? А может, еще как-нибудь?

Только люди, далекие от переводческих забот, станут удивляться, дочитав до этого места. А чего ты мудришь? — воскликнут они, вполне возможно, даже с некоторым раздражением в голосе. — Переводи то, что автор написал, и будет тебе распинаться на пустом месте!

И невдомек им, счастливчикам, что лишь очень небольшой процент красивых и запоминающихся названий зарубежных произведений, которые на слуху у всех, выполнен способом так называемого *word by word translation,* а проще говоря, переведен дословно. Ну, как, скажем, «Ромео и Джульетта» или «Гамлет». Все же остальное прилаживается и приделывается в процессе работы уже исходя из общего смысла произведения и его удобочитаемости. Точнее, в строгом соответствии со стилистикой и нормативной базой языка перевода.

Но коль скоро мы упомянули знаменитые трагедии Вильяма, понимаешь ли, Шекспира нашего, как говаривал герой Евгения Евстигнеева в одной старой кинокомедии, то вот вам и еще один пример по теме. Название знаменитой шекспировской пьесы «Сон в летнюю ночь» на языке оригинала выглядит так: *«A Midsummer Night's Dream».* Что буквально переводится: «Сон в ночь на Иванов день», который, как помечено во всех британских календарях, англосаксы празднуют 24 июня. Заметьте, не 14 июля и не 16 августа, а именно в день летнего солнцестояния, который действительно приходится на самую макушку лета. Празднуется Иванов день в Англии с не меньшим размахом, чем наше Купалье. Ну, а уж Купальская ночь, как известно, полна самых необыкновенных и волшебных превращений, приключений и бог знает каких еще сказочных событий. О которых, собственно, и идет речь в комедии. Вот и судите сами, что из оригинального названия шекспировской пьесы ушло в подтекст, а что осталось на поверхности, то есть сохранилось уже в русскоязычном варианте названия.

Однако речь не о пьесах. Хотя Шекспир в этой истории играет далеко не последнюю роль, впрочем, как и положено Гению с большой буквы. Несколько лет тому назад мне довелось переводить рассказ с прелюбопытнейшим (с точки зрения перевода, разумеется!) названием для тогдашнего журнала «Всемирная литература». Рассказ этот написал Лесли Поулз Хартли, классик английской литературы XX века, автор аж целых восемнадцати романов и шести сборников рассказов. Отточенный стиль в сочетании с тонким, я бы даже сказала, изощренным психологизмом прорисовки характеров всех персонажей, делает чтение произведений Хартли по-настоящему увлекательным времяпрепровождением. А потому я взялась за перевод рассказа с большим рвением и даже, не побоюсь громкого слова, с воодушевлением.

Назывался рассказ предельно коротко: «W. S.». И сразу же начались мои те самые творческие муки, о которых говорилось выше. Казалось бы, чего проще? Обзови рассказ в переводе «У. С.» или «В. С.», и все дела! Но закавыка состояла в том, что аббревиатура, вынесенная в заглавие рассказа, является для англичан знаковой. Она, несмотря на обилие имен, могущих претендовать на схожие инициалы, ассоциируется в сознании жителей Альбиона, в первую очередь, с одним-единственным человеком: Вильям Шекспир, и только Вильям Шекспир (оставляю за скобками своего повествования особенности английского произношения, способного трансформировать букву *s* в звук *ш*). А еще, попутно, прошу культурную общественность обратить внимание на то досадное обстоятельство, что в последнее время мы все чаще, вопреки устоявшейся традиции и нормам русского языка, можем прочитать «Уильям Шекспир». Что, конечно же, неправильно, неправильно и еще раз неправильно!

Итак, перевожу «В. Ш.». Правда, русскоязычные читатели могут не сразу догадаться, что речь пойдет именно о Шекспире. Ведь в нашем языке нет таких стойких ассоциаций на предмет английского классика, какие, скажем, возникают у нас при имени Пушкина и его инициалов А. С. Ну да ничего! Поймут потом, по ходу текста. Чтобы сохранить такой вариант названия в переводе, пришлось изрядно потрудиться.

Потому что главного героя в рассказе звали Вальтером Стритером, то есть на языке оригинала инициалы полностью совпадают с шекспировскими. А вот в русском переводе появляются уже непонятные разночтения: В. Ш. и В. С., то есть игра слов, на которой во многом базируется весь сюжет рассказа, немедленно рассыпается в прах. Начались неизбежные в таких случаях переделки и подгонки, позволяющие сохранить каламбурность ситуации и в переводе. Слава богу, справилась, о чем не без некоторого самодовольства доложила в предисловии к переводу, доставленному в редакцию журнала.

Каково же было мое разочарование, когда там посчитали предложенный мною вариант названия блеклым, скучным и совершенно неинтересным. После чего редактор с легкой душой повычеркивал из предисловия все пассажи о титанических усилиях, предпринятых переводчиком, и отправил рассказ в печать под новым названием «Шекспир хренов», что применительно к ситуации, обыгранной Хартли, было действительно стопроцентным попаданием в яблочко.

В положенный срок рассказ появился на страницах журнала, а еще через некоторое время мне позвонили и сообщили самую желанную для любого автора весть. Надо явиться в бухгалтерию за получением гонорара. Зная, какая бывает толчея возле кассы в первый день выдачи денег, я обычно всегда оттягивала эту процедуру на потом. Но в тот раз что-то у меня не получалось: то ли расписание занятий не позволяло, то ли еще какие-то дела, но пришлось ехать за вознаграждением в первый же день. Прихватив с собой стопку студенческих рефератов, чтобы скоротать время ожидания в очереди, я направилась «в город», как говорим мы, жители окраин, когда выбираемся в центр.

Приехала я на удивление быстро и непозволительно рано, за целых сорок минут до того момента, как нас пригласят в кассу. Тем не менее в полутемном предбаннике возле закрытой двери бухгалтерии уже отирались двое молодых людей. Один, кудрявый юноша лет двадцати (точно, поэт, почему-то сразу же решила я) подпирал стенку, а второй, чуть постарше, невзрачный парнишка в очках, вальяжно развалившись, восседал на единственном колченогом стуле возле запертой двери. Ну, а этот — явно критик, тут же вынесла я свой следующий вердикт. Вишь, какой важный! Знамо дело, судить других всегда проще, чем что-то создавать самому.

— Итак, кажется, я замыкаю тройку лидеров? — весело поинтересовалась я у ребят, окидывая взглядом интерьер в поисках уголка, где можно было бы поудобнее устроиться с проверкой работ. — Кто последний?

— Я! — откликнулся «поэт».

Очкарик не пошевелился, не проронил ни слова и не сделал ни малейшей попытки подняться со своего места, чтобы уступить стул краснощекой грузной тетке. Он лишь лениво скользнул холодным взглядом по моим формам и снова погрузился в размышления о каких-то одному ему известных высоких материях. Например, о том, что жизнь наша коротка, а искусство, как его ни крути, все же штука — вечная.

А критик-то — самый настоящий хам, мелькнуло у меня, привыкшей к всегдашней почтительности со стороны студентов. Вот уж воистину, из молодых, да ранних. Впрочем, комплексовать было некогда. Я заглянула в одну из полураскрытых дверей, позаимствовала там свободный стул и, пристроившись возле стоявшего неподалеку письменного стола, с головой ушла в проверку рефератов.

Но что-то мне мешало, что-то постоянно отвлекало от работы и чем дальше, тем сильнее раздражало и даже злило. Остынь, корила я себя. Эка невидаль! Молодой парень не уступил бабусе места. Да в общественном транспорте это случается сплошь и рядом, каждый божий день. Стоит ли удивляться или, тем более, обижаться на ретивое поколение *next*? Однако, покопавшись как следует в собственных расходившихся чувствах, я пришла к выводу, что разозлил меня не столько сам факт откровенного хамства по отношению к пожилому человеку, сколько свинцово холодный взгляд, которым меня измерили в момент моего появления. Измерили и тут же вынесли свой вердикт. По всему было видно, что с точки зрения высокого Искусства, моя значимость в глазах юноши равнялась той самой минимальной погрешности, которую никто и нигде не берет в расчет. И это почему-то неприятно царапнуло по самолюбию, задело и обидело одновременно.

А еще озадачила странная отрешенность первоочередника, исполненная какой-то особой враждебности ко всем остальным присутствующим, что угнетало и одновременно создавало непонятное напряжение в полутемном коридоре. Листая страницы студенческих работ, я все силилась понять, как у столь молодого человека может быть так развито чувство собственной самости, которым он, словно мелом, очертил запретную зону вокруг себя. Дескать, не переступай, иначе убьет током. Ну и черт с ним, разозлилась я вконец, уже на саму себя. Мало ли их, таких вот непризнанных гениев, а я вместо того чтобы работать, трачу время попусту на всякие антимонии.

Постепенно коридор стал заполняться литературной публикой. В основном пожилыми людьми, для которых получение гонорара всегда событие, приятное во всех отношениях. И денежное довольствие, что отнюдь не лишнее в наше время, и возможность лишний раз перекинуться словом с коллегами по профессиональному цеху, узнать, так сказать, из первых уст последние литературные новости и вообще показать себя свету. Я неторопливо листала страницы студенческих опусов под негромкое жужжание разговоров, лишь изредка отрываясь от бумаг, чтобы взглянуть на часы. Долго ли еще ждать? И всякий раз сталкивалась глазами с колючим взглядом молодого человека. Он методично продолжал изучать незнакомую аудиторию, застыв в неподвижной позе на своем стуле возле двери.

Впрочем, почему я решила, что незнакомую? Это я здесь мало кого знаю, *if any*, как добавляют в таких случаях англичане. То есть, если вообще знаю кого-нибудь. А мальчишка, вполне возможно, стопроцентно свой среди своих.

Вон как ест глазами старикашку с палочкой, который примостился возле стенки напротив. К чести почтенного аксакала от литературы, он выдержал взгляд юного нахала, не дрогнув. А может быть, даже и не обратил внимания на то, что на какую-то долю секунды тоже превратился в объект для постороннего наблюдения. Старик продолжал энергично обсуждать что-то с дородной дамой, на лице которой, несмотря на все оживление их разговора, застыло страдальческое выражение. Видно, больше всего на свете ей в ту минуту хотелось просто сесть и растереть онемевшие от стояния ноги.

Я почувствовала, как во мне снова закипает раздражение, в том числе и на старика, который не может призвать молокососа к порядку, заставить его встать и уступить место даме. И одновременно распирало самое настоящее любопытство. Кто же это такой, размышляла я, механически пробегая глазами очередную страницу. Если судить по манере поведения, то либо самый обычный грубиян, который компенсирует отсутствие хороших манер тем, что косит под разнузданного битника, либо кто-то такой, кого знают все и вся, коль скоро он может позволить себе откровенно наплевательское отношение к собравшимся старикам.

Но тут ход моих размышлений был прерван появлением на пороге бухгалтерии очаровательной девушки.

— Прошу заходить по одному, в порядке очереди.

Мальчишка моментально подхватился со стула и исчез за дверью, с громким стуком прихлопнув ее за собой.

Я тоже поднялась со своего места, чтобы переместиться поближе к двери.

— Садитесь! — участливо предложил старик своей собеседнице, указывая на освободившийся стул. — Нам еще долго ждать.

— Что ж вы не рискнули поднять с места юное дарование? — не удержалась я от язвительной реплики, проходя мимо.

— Что вы! Как можно! Это же наша восходящая звезда. Ей у нас сейчас везде дорога и почет! — благодушно откликнулся незнакомец.

— Вот как? — вполне искренне удивилась я. — И кто же он?

Мне назвали фамилию автора, чье имя, и правда, постоянно мелькало в прессе. Особенно после того, как пару лет тому назад он выиграл какой-то конкурс в Москве и даже якобы удостоился чести работать во МХАТе с «самим Олегом Табаковым».

Фамилию главного режиссера московского театра я закавычила как буквальную цитату из услышанного мною по радио интервью нашего имярек. Покоритель российской столицы пространно и весьма напыщенно рассуждал о новой волне в театральном искусстве, о том, как впечатлила его встреча с Табаковым, да и сама атмосфера, царящая в бывшей вотчине Станиславского и Немировича-Данченко. Особенно меня поразил тогда один пассаж из его монолога. Переполняемый восторгами, молодой человек с придыханием в голосе воскликнул, что новый МХАТ своим обликом напоминает ему современный респектабельный банк. Такое сравнение показалось мне столь неуместным по отношению к предмету его восторгов и столь пошлым (*vulgar!*), что я немедленно откликнулась на прослушанное интервью колючей статейкой, которую с превеликой готовностью опубликовали в одной из минских газет.

Помнится, я писала о том, что несчастные отцы-основатели самого знаменитого русского театра XX столетия, поди, в своих гробах перевернулись от возмущения, узнав, что их детище сравнили не с «Олимпией», не с «Комеди Франсез», не с «Глобусом» или, на худой конец, с Карнеги-холл, а с коммер-

ческим банком. Меня поразила именно шкала ценностей, в которой высокое и вечное соизмерялось с банальным и преходящим. Тем, что, по словам римского императора Веспасиана, «не пахнет».

— Как можно, — негодовала я, пересказывая содержание услышанного друзьям, — сравнивать прославленную сцену с каким-то расчетно-кассовым залом?

— Да успокойся ты! — говорили мне в ответ знакомые. — Чего ты хочешь от мальчишки, который нигде не был и ничего не видел. Подожди! Покатается по Европам и поймет, что не только в банковской сфере есть много чего достойного нашего восхищения.

Прошло время. И вот недавно мне попалось на глаза очередное интервью имярек, в котором он все с тем же придыханием, правда, уже в письменной форме, делился своими впечатлениями от поездки в Голливуд. Дескать, как все там богато и прибыльно, как ласкает взор и радует душу. А самые шикарные виллы — у кого бы вы думали? Ну, конечно же, у сценаристов!

Что ж, один факт — это тот самый шаткий случай, о котором писал в свое время Гиппократ. Но два — это уже что? Надо посоветоваться с друзьями из мира ученых, можно ли такую постоянную зацикленность на делах земных квалифицировать как тенденцию.

Впрочем, не в интервью дело. И не в манерах, в конце концов. Нам ли, пишущим людям, неплохо осведомленным об исторических персоналиях самых разных эпох, не знать о том, какими несносными порой бывали и бывают гении. Какой у них, в своем большинстве, тяжелый и даже откровенно вздорный характер и как трудно поладить с ними их же современникам. Да вот только гений ли мой давний знакомец по очереди? Что-то непохоже на то, если судить по его последним творениям. Нет в них ни гамлетовских раздумий о вечных проблемах бытия, ни отелловских страстей, ни фальстафовского смеха над обычными человеческими слабостями. Все уж как-то слишком напыщенно, слишком натужно и слишком притянуто за уши. Так и хочется, при очередной заочной встрече с селебрити, пропеть строчку из старинного романса: «Ах, не говорите мне о нем!»

А потому обзову-ка я мальчишку так, чтобы у читателя не возникало никаких ложных ассоциаций, тем более с В. Ш. Как? Да вот, пожалуй, так: «А. К». А еще лучше, позаимствую идею у Юрия Михайловича Сапожкова, редактировавшего мой тот давний рассказ для «Всемирной литературы». Шекспир хренов, вот он кто, этот А. К. Истинная правда!

Скажи мне, кудесник, любимец богов...

Что ж, коль скоро мы затронули тему МХАТа, то самое время поговорить и о нем. Но не о том, который ныне сделался похожим на банк, а по уровню коммерциализации, вполне возможно, даже может дать фору любому банку. Этот нынешний МХАТ остроумный Владимир Орлов в своем последнем романе «Камергерский переулок» заставил сняться со своего привычного места в доме под номером три и вместе со всей труппой, сценой и остальным реквизитом улететь прочь в неизвестном направлении. Что представляется очень и очень символичным, особенно если вспомнить строки великого А. С. о том, что служенье муз не терпит суеты. Тем более, банковской.

Но нет! Сегодня я хочу поговорить о том старом МХАТе, послевоенном, где среди пыльных кулис с несколько пожухлой чайкой над авансценой все еще витал дух великих основоположников театра. И это несмотря на бес-

конечную череду производственных спектаклей, в которых герои, озабоченные выполнением текущего плана, то варили сталь, то строили плотину, то вели бесконечные дебаты на партсобраниях о том, получать или не получать очередную премию.

МХАТ вошел в мою жизнь очень рано. Мне было, наверное, года четыре, не больше, когда я учинила форменное безобразие в кинотеатре во время просмотра фильма-спектакля «Анна Каренина», едва не сорвав сеанс. Когда замелькали кадры, где Алла Тарасова, великая исполнительница главной роли во мхатовской постановке, бережно перенесенной на экран, целуется с Вронским, я завопила на весь зал, как ужаленная:

— Мама! Что она делает! Она ведь целует чужого дядю!

В ответ раздался дружный хохот зрителей, а рассерженная мама велела отцу немедленно вывести из зала слишком наблюдательную дочь и прогуливаться с ней по улице до тех пор, пока не закончится сеанс.

А еще я помню, как по вечерам мама с Анной Ивановной, нашей соседкой, припав к радиоприемнику, слушали спектакли в самой популярной тогда радиопередаче «Театр у микрофона». Чаще всего в те далекие сороковые-пятидесятые годы прошлого века транслировали спектакли МХАТа и Малого театра. Сегодня можно бесконечно долго вспоминать великую Веру Пашенную с ее Кабанихой в «Грозе» Островского или не менее великую Елену Гоголеву, поразившую мое детское воображение в роли герцогини Мальборо в спектакле по пьесе Эжена Скриба «Стакан воды». Но в памяти почему-то наиболее ярким воспоминанием остались чеховские «Три сестры», и именно радиоверсия знаменитого мхатовского спектакля.

Потому что ученицей десятого класса я смотрела эту пьесу уже непосредственно на сцене МХАТа, правда, с другим составом исполнителей, и, помнится, ушла после представления страшно разочарованной. Разве что вопрос Вершинина задел за живое.

«Русскому человеку в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей, но скажите, почему в жизни он хватает так невысоко? Почему?»

Что же до всего остального, то спектакль показался мне скучным и донельзя затянутым. Да и сестры Прозоровы, бестолково мечущиеся все три акта по сцене, производили впечатление чересчур экзальтированных и даже немного истеричных барышень. Так для меня и осталось в тот вечер загадкой, какой такой магией владели знаменитые мхатовские старики, заставлявшие плакать Анну Ивановну, а меня, совсем еще ребенка, вслушиваться в странно звонкий, срывающийся иногда на ломкий фальцет голос Ангелины Степановой, игравшей Ирину, когда она с немного нервным смешком говорила барону Тузенбаху:

«Боже мой, не то что человеком, лучше быть волом, лучше быть простою лошадью, только бы работать, чем молодой женщиной, которая встает в двенадцать часов дня, потом пьет в постели кофе, потом два часа одевается... о, как это ужасно!»

Эти слова Ирины так ярко запечатлелись в моей детской памяти, что я всю свою взрослую жизнь прожила с мыслью о том, что кофе в постели — это и в самом деле верх неприличия.

И странным образом память выхватывает еще одну реплику о кофе, которая словно закольцевала всю пьесу. Ее глухо произносит Тузенбах, когда прощается с Ириной, прежде чем отправиться на дуэль:

«Я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтобы мне сварили...»

Но «Три сестры» есть «Три сестры», а потому не стану, как советовал поэт, умножать слов, чтобы рассказать о том, что и без меня прекрасно известно всем.

А еще хорошо помню, что когда в 1965 году вышла на экраны первая серия знаменитой киноверсии Сергея Бондарчука «Война и мир», то много разговоров было о том, что именно мхатовские старики украсили и даже в какой-то степени спасли эту весьма спорную, хотя и баснословно дорогую экранизацию. Еще бы! Анатолий Кторов, Виктор Станицын, та же Степанова. Какие славные имена, какие гениальные роли!

Но сегодня мне хочется вспомнить совсем другой спектакль, я бы даже сказала, знаковый для того старого МХАТа. Культовый, как любят говорить сегодня. Я имею в виду знаменитые «Дни Турбиных» по одноименной пьесе Булгакова. Надо сказать, что в шестидесятые годы прошлого века имя Михаила Булгакова еще не обрело своей нынешней популярности. Знали его в те годы мало, и в основном рафинированная столичная интеллигенция. Знаменитый роман «Мастер и Маргарита» был только-только на пути к читателю, пьесы Булгакова тоже практически не ставились на периферии. Так что завзятым театралам из провинции оставалось только вздыхать, слушая рассказы москвичей о том, что творится в проезде Художественного театра (ныне снова Камергерский переулок), когда там дают «Дни Турбиных».

Сдается мне, что не один Иосиф Виссарионович, очарованный этой постановкой, постоянно ходил на представления булгаковской пьесы. Хотя из протоколов МХАТа доподлинно известно, что Сталин смотрел «Дни Турбиных» целых пятнадцать раз. Поразительно! Особенно если вспомнить, каким непростым, очень непростым было то время для страны. Да и для самого Булгакова тоже. Ведь премьера состоялась 5 октября 1926 года, а уже в 1929 году, под давлением тогдашнего рапповского руководства, пьеса была изъята из репертуара. И снова восстановлена в начале 1932 года после известного телефонного разговора Сталина с опальным писателем. Неумолимая статистика сохранила и такие цифры: в общей сложности с 1926 года по 1941-й «Дни Турбиных» во МХАТе были показаны 987 раз. С неизменным аншлагом!

Та же ситуация повторилась и после войны, когда театр вернулся в Москву из эвакуации. О том, какая особая атмосфера царит в зале на спектаклях, я сто раз слышала от своих московских друзей. И вот, наконец, представился счастливый случай убедиться в этом самой. В очередной приезд в столицу меня пригласили во МХАТ, и именно на «Дни Турбиных». Какое счастье! Даже места на галерке я, тогда еще студентка, восприняла с благодарностью, как должное. Тем более что нам достался (невероятная удача!) первый ряд верхнего яруса. Помню, усевшись в кресло, я немедленно извлекла из сумочки театральный бинокль и стала деловито настраивать оптику.

Стоит ли цитировать слова поэта о том, что театр был полон? Сверху нам было хорошо видно, как вносятся в зал все новые и новые приставные стулья для тех немногих счастливчиков, кто умудрился пробиться в партер вопреки всем терниям на их пути. Впрочем, и на балконе царила та же радостная суета ожидания в предвкушении чего-то необыкновенно грандиозного. Весело шушукаясь, группа молодежи устилала газетами ступеньки, чтобы усесться прямо на них, как только погаснет свет. Негромко переговаривалась сидящая рядом пожилая супружеская пара, обсуждая занятых в спектакле актеров. Несколько завзятых театралов, образовав небольшой кружок возле самого входа в раек, продолжала обсуждать какие-то только им ведомые подробности предстоящего действа. Словом, в зале установилось то приподнято-праздничное настроение, которое обычно бывает лишь на премьерных спектаклях, причем, в наиболее прославленных и любимых театрах. Что показалось мне весьма необычным. Ибо спектакль, как уже было сказано, держался в репер-

туаре МХАТа не одно десятилетие. К тому же, бегло пробежав программку глазами, я поняла, что в тот вечер был занят далеко не самый звездный состав. Точнее, состав был второй, а может быть, и весь третий. Во всяком случае, знакомых имен там я не обнаружила. Разве что народный артист СССР Павел Массальский в роли Гетмана «Всея Украины», появляющийся всего лишь в одном эпизоде. Но зато каком! Как сейчас вижу дородную величественную фигуру Массальского в белоснежной черкеске с золотыми позументами и в шароварах ярко-малинового цвета. Ни дать ни взять самый настоящий гетман. А уж как веселился народ, слушая, как он выговаривает своему адъютанту Шервинскому:

— Я давно уже хотел поставить на вид вам и другим адъютантам, что следует говорить по-украински. Это безобразие, в конце концов! Ни один мой офицер не говорит на языке страны... Прохаю ласкаво.

— Слухаю, ваша светлость! — рявкает в ответ щеголеватый поручик под дружный хохот всего зала.

Да уж, веселились мы, ой, как веселились! Совсем забыли пророческие слова, сказанные бог весть когда великим земляком незадачливого гетмана. «Горьким смехом моим посмеетесь!» Вот и посмеялись, в конце концов. Ну да ладно, не об этом ведь речь. Да и забегаю я вперед. А пока...

Пока в зале гаснет свет и наступает та необыкновенная, та пронзительно-звонкая и одновременно какая-то благостная тишина, которую никогда до и никогда после я ни в одном театре более не слышала. Про такую тишину люди верующие обычно говорят: «Ангел пролетел». Вполне возможно, так оно и было. И ангел действительно пролетал, и даже прилетал в тогдашний проезд Художественного театра, когда там, в доме под номером три, давали «Дни Турбиных». Наверное, он неслышно слетал в зал со своих заоблачных небесных сфер, устраивался где-нибудь рядом с чайкой и наслаждался весь вечер гениальным творением в гениальной интерпретации мхатовцев. Хотя, сдается мне, эту пьесу просто невозможно играть не гениально. Или гениально, или никак.

Но вот раздвигаются кулисы, с легким шумом взмывает вверх занавес, растворяясь вместе с чайкой в ярком свете рампы. И перед зрителем появляется столовая в квартире Турбиных. И те самые знаменитые кремовые шторы на окнах, за которыми, по словам смешного Лариосика, *«отдыхаешь душой»*.

Можно только представить себе, как блистал выдающийся актер Николай Хмелев в роли Алексея Турбина. Или Борис Добронравов в роли штабс-капитана Мышлаевского, или молодой Яншин в роли незадачливого кузена из Житомира. Но театральное искусство — увы! — недолговечно, и даже самые восторженные отзывы современников о тех первых премьерных спектаклях едва ли способны воссоздать реальную атмосферу самого действа. Но дух того исторического спектакля каким-то непонятным, чудодейственным образом сохранился и витал в зрительном зале и четыре десятилетия спустя. Фантастика! Хотя почему? Ведь дух, как известно, дышит где хочет. Я вслушивалась в завороженную тишину, с какой публика внимала каждой реплике, звучавшей со сцены, и понимала, что таких, как я, впервые попавших на спектакль, в этом зале явное меньшинство. Да что там меньшинство, единицы!

И это чистая правда. Москвичи ходили на «Дни Турбиных», как ревностные прихожане ходят в свой храм на заутреню. Постоянно, в любую погоду, всегда. Ну, а актеры, в свою очередь, подпитывались у зрителей этой неистовой, какой-то совершенно неописуемой любовью к пьесе, загорались ответным огнем и играли просто блистательно. Вдохновенно!

Говорю же, что память не сохранила почти ни одного имени. А вот лица актеров, занятых в тот вечер, помню, все до одного! И образы вижу перед собой так, словно это было вчера. Рыжеволосая красавица Елена, ее братья Алексей и Николка, светский волокита поручик Шервинский, противный, действительно похожий на крысу муж Елены, полковник Тальберг, капитан Студзинский, штабс-капитан Мышлаевский.

Наверное, все же прав был Станиславский, когда писал в 1931 году о Булгакове:

«Он не только литератор, но и актер. Сужу по тому, как он показывал актерам на репетициях «Турбиных». Собственно — он поставил их, по крайней мере, дал те блестки, которые сверкали и создали успех спектакля» (Станиславский К. С., Собр. соч., т. 8, с. 269 — 270).

Да, блестки. Они были разбросаны повсюду: в особых, каких-то доверительно домашних интонациях актеров, озвучивших монологи своих героев. Те же самые интонации, какие наверняка оговорил Булгаков с первыми исполнителями ролей, и одновременно слова произносились со сцены так, будто звучали впервые, будто их еще никто и никогда не произносил, и они, эти слова, обращены не ко всему зрительному залу, а только к тебе. Блестки были видны по тому, как держатся актеры, как они двигаются, ходят по сцене, разговаривают друг с другом. Блестки вспыхивали в свете рампы, искрились, порхали, словно бабочки, перелетая с места на место, выхватывая из полумрака каждую новую мизансцену, заставляя зал то замирать от восторга, то погружаться в напряженную, исполненную трагизма тишину, то разражаться веселым смехом.

Каждая реплика принималась на ура. Более того, каждая реплика, как становилось ясным по реакции зрителей, большинству из них была известна наизусть. Ее ждали, эту реплику, с нетерпением готовились ее услышать, оценить по достоинству, тут же восхититься тем, как она была сказана, и одарить исполнителя бурей оваций. В зале то и дело вспыхивали аплодисменты, причем порой в самых неожиданных местах, никак не предполагающих выхода зрительских эмоций наружу.

Я уже давно отложила бинокль в сторону, ибо сцена разрослась до размеров всего зрительного зала. Я зачарованно смотрела то вниз, туда, где в свете прожекторов разворачивалось трехмерное действо, то по сторонам, отмечая боковым зрением все то, что происходит рядом: экзальтированный шепот соседей, тихо озвучивающих каждое слово еще до того, как его проговорил актер, негромкие восклицания восхищения, дурашливое подпевание задорным песенкам Николки. Совершенно уникальная атмосфера единения зрителей и исполнителей. Я почему-то вдруг вспомнила «Гамлета» и знаменитую «Мышеловку», так искусно вплетенную Шекспиром в сюжет трагедии. Пьеса в пьесе. Нечто подобное творилось и на представлении «Дней Турбиных»: один спектакль шел на сцене, другой, не менее захватывающий, разворачивался уже прямо в зале. Его творила сама публика, и творила не менее вдохновенно, чем это делали профессиональные артисты на театральных подмостках.

Хотя, с другой стороны, если вдуматься... Помните, чем заканчивается, извините за каламбур, незаконченный «Театральный роман» Булгакова? Нет? Тогда напомню.

«Я стал рассуждать просто: если теория Ивана Васильевича непогрешима и путем его упражнений актер мог получить дар перевоплощения, то естественно, что в каждом спектакле каждый из актеров должен вызывать у зрителя полную иллюзию. И играть так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена...»

Свидетельствую, так оно и было в тот далекий, незабываемый вечер. И вот, наконец, как и положено по законам театрального жанра, наступает катарсис. И драматичная, а в чем-то даже трагическая история, рассказанная Булгаковым, заканчивается неожиданно весело и даже бравурно, почти в духе знаменитых мхатовских капустников.

Лариосик передает гитару Николке, Шервинский садится к роялю, все оставшиеся в живых действующие лица пьесы подтягиваются к ним поближе. Шервинский слегка трогает пальцами клавиши.

«*Скажи мне, кудесник, любимец богов...»* — начинает он приятным баритоном. «*Что сбудется в жизни со мною?»* — подхватывают все остальные герои. Я слышу, как кто-то за моей спиной вполголоса подпевает:

«И скоро ль на радость соседей-врагов
Могильной засыплюсь землею?
Так громче, музыка, играй победу,
Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит!»

«Так за ца...» — неуверенным голосом затягивает Мышлаевский, но все хором шикают на него, и он сконфуженно умолкает.

«Так за Совет Народных Комиссаров, — нарочито громко выводит Шервинский (дружный смех зрителей, слышатся разрывы канонады в глубине сцены), — *мы грянем громкое «Ура! Ура! Ура!».*

Невообразимый шум в зале, крики «Браво!», несмолкаемые овации, громоподобные аплодисменты, в которых тонут последние слова, сказанные младшим Турбиным.

Николка. «*Господа, сегодняшний вечер — великий пролог к новой исторической пьесе».*

Студзинский. «*Кому — пролог, а кому — эпилог».*

Цветы, море цветов, сияющие от счастья лица зрителей, такие же сияющие, усталые, но счастливые лица актеров, снова и снова выходящих на поклоны.

Покидаем театр, смешиваясь со счастливчиками из партера. На улице благодать. То самое, настоящее бабье лето с последними теплыми вечерами. Толпы народа валом катят по улице Горького вниз, к Красной площади. Нам тоже туда, на станцию метро «Площадь Революции». Но перед тем как спуститься в подземку, заходим на Красную площадь. Обязательно! Это святое.

Так говорите, эти сатрапы-большевики все уничтожили, окаянные нелюди? Разрушили все, так сказать, до основания? Испоганили великое театральное искусство, которое ныне черпает свое вдохновение разве что у всяких имярек? А как же, позвольте спросить, неувядаемая «Принцесса Турандот», поставленная — страшно подумать! — в самый разгар большевистской чумы, в 1922 году? Кстати, ею до сих пор, словно фиговым листком, прикрывается изрядно посеревший Театр имени Вахтангова. А как же «Дни Турбиных», а?

Сегодня этой пьесы нет в репертуаре «театра, похожего на банк». Да и то правда, кто же из нынешних молодых актеров, с умилением разыгрывающих перед нами драму сердца несчастного Колчака или страдания Врангеля с Деникиным на пару, кто же из них выйдет к зрителю и скажет ему то, что так убедительно говорил когда-то полковник Турбин? И что так убедительно написал Михаил Булгаков. Потому что хорошо знал то, о чем писал.

«Я вам говорю: белому движению на Украине конец. Ему конец в Ростове-на-Дону, всюду! Народ не с нами. Он против нас. Значит, кончено! Гроб! Крышка!»

Так громче, музыка, играй победу...

Земляки

А закончить свои воспоминания, связанные с миром искусства, хочу тем, с чего и начала, то есть живописью. Ибо, перефразируя знаменитое ленинское изречение, можно смело утверждать, что изобразительное искусство так же неисчерпаемо, как и атом. Но вначале несколько слов вообще, так сказать, для зачина.

Семидесятые годы прошлого века начались с того, что на языке политологии тех лет очень скоро получило название «разрядка». Тогда это слово было не менее популярно, чем нынешнее «перезагрузка». Которое, кстати, на моей памяти впервые в его переносном политическом значении употребили отнюдь не Барак Обама и не Хилари Клинтон. Это сделал в своих философских эссе наш земляк и современник Геннадий Федорович Бубнов. Честь ему и хвала за это! Ну, а если вернуться снова к «разрядке», то замечу попутно, что некоторые, особенно продвинутые, выражаясь современным сленгом, политологи даже предпочитали щеголять французским оригиналом этого слова — «детант».

Но детант или не детант, а жить, как говорил когда-то мудрый Иосиф Виссарионович, стало и в самом деле значительно веселее. В Москву зачастили политики всех рангов и мастей. И что уж было совсем необычно, так это визиты венценосных особ, которые вдруг тоже обратили свой взор на восток: то король Швеции нагрянет в Москву, то молодая королева Дании, то истинный красавец, испанский король Хуан вместе со своей королевой Софией. Воистину, не только над Мадридом, но и над всей Европой установилось синее безоблачное небо, а в воздухе уже явно витали флюиды будущих судьбоносных договоренностей, которые чуть позже, в 1975 году, были скреплены подписями мировых лидеров на знаменитом совещании в Хельсинки.

Словом, разрядка, причем как-то сразу и во всем. На прилавках наших магазинов появились самые настоящие французские духи, правда, цены не копеечные, но ведь и духи-то — французские! Да и другой ширпотреб стал радовать глаз обилием зарубежных этикеток. Заметно оживилась «Иностранка», любимый журнал читающей публики, на страницах которого запестрели имена современных писателей с английскими, французскими, американскими и даже японскими фамилиями. Да и книг зарубежных авторов, хороших книг и хороших авторов, стало заметно больше. Но особенно ощутимыми, в буквальном смысле этого слова, зримыми, были перемены к лучшему в мире изобразительного искусства. Нескончаемая череда выставок в Москве и Ленинграде, одна лучше другой. Здесь тебе и картины из коллекции тогдашнего друга нашей страны Арнольда Хаммера, и Джоконда, лично прибывшая из Парижа в Москву, чтобы порадовать ценителей прекрасного своим явлением советскому народу, это и многочисленные экспозиции современных художников, как с Запада, так и с Востока. И, наконец, апофеоз культурных мероприятий тех лет — это выставка «Сто картин из Музея Метрополитен», показанная в том же судьбоносном для всего мира 1975 году. Вот о ней я и хочу рассказать свою последнюю историю из серии о «вечном».

Не углубляясь во всякие искусствоведческие экскурсы, скажу, однако, что собрание Музея Метрополитен вполне справедливо считается одним из лучших в мире. Сегодня, открыв нужную страничку в Интернете, можно с легкостью найти все, что касается истории создания этого музея, которому в 2010 году, между прочим, исполнилось ровно 140 лет. Дата основания Музея Метрополитен (по-русски, Столичного Музея) — 1870 год. Между прочим, Калвин Томкинс, автор одного из наиболее фундаментальных исследований, посвященных истории музея, имел все основания назвать свою книгу так,

как он ее назвал, — «Лавочники и шедевры». Ибо нескончаемый ряд имен меценатов, вкладчиков или, как еще говорят на Западе, донаторов — это зримое отражение того, как процесс быстрого «делания» крупных состояний на рубеже XIX и XX столетий также быстро трансформировался в повальную страсть нуворишей к искусству.

В результате чего европейские аукционы тех лет запестрели многочисленными именами новых участников, самыми разнообразными королями — сахарными, нефтяными, хлопковыми, автомобильными, и прочее, и прочее. Для большинства из этих новоявленных меценатов сделать дар музею был не просто щедрый жест, но и отличная возможность въехать на любви к искусству в высшее общество, стать «своим» среди чопорной аристократии Старого Света и нескольких сотен респектабельных семейств Новой Англии. Как бы то ни было, а коллекция музея росла просто стремительными темпами, что отнюдь не отражалось на качестве самого собрания. Напротив! Огромные деньги, которые жертвовали многочисленные фонды и частные лица на развитие музея, позволяли его руководству не просто сражаться на равных с богатейшими коллекционерами мира, но и диктовать на аукционах свои, невиданно высокие цены на те лоты, которые музей хотел приобрести для своей экспозиции. Да и сам XX век с его чередой революций и войн, бушевавших, главным образом, на территории Европы, тоже как нельзя более благоприятствовал перемещению музейных ценностей за океан.

И вот сто полотен из этого прославленного музея совершили вояж уже в обратном направлении. И каких картин, доложу я вам! Рембрандт, Рубенс, Вермеер, итальянцы от раннего Возрождения до эпохи маньеризма, немцы, англичане, французы от классиков до импрессионистов, и наконец, испанцы, которых в наших музеях все же до обидного мало. Словом, труба зовет, и надо собираться и ехать в Москву.

Пожалуй, начало этой истории можно было бы списать под копирку с той, где рассказывается о культпоходе в Театр Сатиры. Тот же «мильон терзаний» на пустом месте, те же гадания, пошлют или не пошлют в командировку, те же приготовления к поездке в столицу на выходные, и прочие.

Но поскольку выставка, особенно такая крупномасштабная, открывается, как правило, не на один день и даже не на одну неделю, то времени в запасе было у меня предостаточно.

А потому, когда спустя недели три после торжественного открытия выставки в Музее Пушкина на Волхонке (о чем сообщили программа «Время» и все центральные газеты) последовал приказ собираться и ехать в Москву в очередную командировку, то я даже не восприняла это как некий знак свыше. Так, рутинная работа. Все идет по плану! На сей раз я ехала не одна, а в компании с милой девушкой, которая сравнительно недавно начала у нас работать в качестве переводчика французского языка. «Цвиркуша», как ласково называли в отделе новенькую, недавно вернулась из-за границы и с жаром начала готовиться к встречам со своими многочисленными столичными друзьями, приобретенными во время совместной работы в какой-то африканской стране.

Словом, непроизводственные цели у каждой из нас были свои, что не помешало нам поселиться вместе. И где! Поскольку эта деталь тоже имеет отношение к развитию сюжета, упомяну и о ней. Отец Люды, как на самом деле звали мою спутницу, работал в правительственных верхах, а потому без труда забронировал нам на двоих номер-люкс в гостинице «Москва». Что, выражаясь современным языком, было просто супер: всего лишь в паре кварталов от Волхонки, вожделенной цели лично моего паломничества в столицу.

Помню, что наш несолидный, с точки зрения возрастных характеристик, вид изрядно потряс многоопытную администраторшу в гостинице. Она долго вертела в руках наши паспорта, потом куда-то звонила, видно, уточняя, не случится ли чего непоправимого, если она поселит двух пигалиц в правительственном люксе, после чего с тяжелым вздохом вручила нам ключи от номера на шестом или седьмом этаже.

Скажу честно, прославленная гостиница потрясла нас своим тяжелым великолепием и какой-то особо торжественной роскошью, в которой, впрочем, не было ничего кричащего или нарочито показного. В интерьере преобладали спокойные, приглушенные тона. Повсюду толстенные ковры, на стенах картины в золоченых массивных рамах (скорее всего, авторские копии) кисти Лактионова, Герасимова и других признанных живописцев тридцатых — пятидесятых годов. Помнится, у нас на этаже в холле висело масштабное полотно Юрия Непринцева «Отдых после боя», сюжет которого однозначно был навеян легендарной поэмой Твардовского «Василий Теркин». В номере (две огромные комнаты, обставленные добротной старой мебелью в стиле все тех же пятидесятых годов) тоже висело несколько очень приятных пейзажей. Но самый лучший пейзаж (просто потрясающий вид!) открывался из окон самого номера: Кремль, золоченые купола соборов, подсвеченная розовыми красками утреннего часа, тающая в солнечном мареве Москва. А еще — свой городской телефон! Прежде чем бежать на работу (которая, с учетом того, что мы поселились в центре, тоже была совсем близко) мы успели обзвонить некоторых наших знакомых и сообщить им радостную весть. Во-первых, мы уже в столице, а во-вторых, в этот наш приезд в гости мы сами не ходим, а принимаем у себя, в своем шикарном номере в гостинице «Москва», после семи часов вечера, каждый день. Наскоро перекусив в гостиничном буфете, мы рысью помчались на работу, а оттуда, после честно отработанного трудового дня, направили свои стопы на Волхонку.

Уже на дальних подступах к музею я разглядела темную колышущуюся массу. Подойдя поближе, мы увидели то, что и должны были увидеть: вся территория музея по периметру вдоль ограды была обвита тремя или четырьмя плотными кольцами людей. То была живая очередь, неспешно (раз в четверть часа, когда запускали очередную порцию посетителей) продвигающаяся к центральному входу в музей. Таких гигантских очередей на столичных выставках я еще не наблюдала. Даже облепленный народом Манеж, когда там была развернута экспозиция полотен Ильи Глазунова, производил менее устрашающее впечатление.

Обычно я всегда поступала очень просто. Начинала небрежно прогуливаться вдоль очереди, делая вид, что отыскиваю там знакомого (или знакомую), кто якобы держит место и для меня, а на самом деле высматривая в толпе человека, который всегда был готов переуступить свое место в очереди любому за умеренную (или не очень) мзду. Верная своему принципу искать и находить, я и на сей раз, бросив Люду дежурить на воротах, наглухо перекрытых железными ограждениями, отправилась на поиски нужного нам клиента. Медленно обошла всю очередь, внимательно вглядываясь в лица тех, кто, по всей видимости, занял здесь места с раннего утра, если не с ночи. Безрезультатно! Ни одного человека, откликнувшегося на мой респектабельно-импортный «прикид» и горящий взор, сулящий немалое материальное вознаграждение. Отказываясь поверить тому, что в этой очереди нет желающих заработать деньги, что говорится, на халяву, я двинулась по второму кругу. С тем же нулевым результатом.

Люда, уже нетерпеливо переминающаяся с ноги на ногу, заметив меня, ринулась навстречу.

— Посмотри на часы! У нас же времени в обрез! Скоро гости заявятся, в магазин еще нужно заскочить, а мы тут зря время теряем. Сегодня — явно не наш день. И потом, тут такое творится! Пока ты выискивала своих барыг, я наслушалась в толпе! Люди с ума посходили с этой выставкой. Дежурят ночами, отмечают свои номера в очереди: каждые два часа — перекличка. Представляешь? Два часа ночи — а ты рапортуешь: «Номер 2348 — на месте!» Нет уж! Уволь меня с таким искусством! Это же просто фанатизм какой-то.

Делать было нечего. В самом деле! Как-никак, первая вечеринка на новом месте. Разве можно ударить в грязь лицом? К тому же, до закрытия музея тоже оставался всего лишь час с небольшим. Я потащилась вслед за Людой в наши шикарные апартаменты, но настроение у меня было изрядно подпорчено, ибо стало очевидным: выставка Музея Метрополитен явно не относится к категории тех препятствий, которые берутся с наскока.

Разговоры с друзьями за вечерней рюмкой чая не добавили оптимизма. Все они в один голос заявили, что в Москве творится нечто невообразимое, а москвичи и в самом деле спятили в своем неуемном стремлении любой ценой попасть на выставку.

Надо ли говорить о том, что и назавтра нас поджидала неудача? И на следующий день тоже. Время в командировках всегда пролетает как один миг. Много работы днем, до предела наполненные встречами и культпоходами вечера. Вот и у нас стремительно проскочило несколько дней, и до отъезда в Минск оставалось уже всего ничего: два дня. Утром я встала с постели, преисполненная самой твердой решимости. Надо прорываться любой ценой, и именно сегодня. Потому что завтра, в день отъезда, это тем более будет сделать крайне сложно. Управившись на работе до двух часов, мы с Людой потрусили по знакомому маршруту, и меня все время почему-то распирало от желания петь. Не знаю, какой такой внутренний голос нашептал мне, что сегодня, наконец, — мой день. Но то, что настроение у меня было лучезарным, не оставляло сомнений: все у нас получится. Как именно получится, я и сама толком не смогла бы объяснить. Одно знала точно: получится, и все.

На Волхонке нас встретила все та же уже ставшая привычной картина: толпы народа, шеренги милиции, регулирующие подход людей уже на ближних подступах к музею. Оставив Люду дежурить на входе, я отправилась по знакомому маршруту, заранее настроившись на то, что ничего путного из этого хождения по замкнутому кругу не будет. Так оно и получилось. Потратив впустую полчаса, я вернулась на исходную точку и с видом заправского военачальника, готовящегося к генеральному сражению, принялась изучать диспозицию.

Так, многоступенчатое парадное крыльцо, лавочки по обе стороны центральной аллеи. Сколько раз я на них сиживала, обмениваясь впечатлениями об очередной экспозиции с друзьями или просто поджидая кого-то на своей любимой Волхонке. Знакомые до рези в глазах голубые ели за кованой оградой приветливо помахали мне своими пушистыми лапами, словно приглашая подойти поближе. И в ту же минуту, отбросив всякие сомнения, я решительно отодвинула в сторону железное ограждение и сделала первый шаг к ним навстречу. Тотчас же, словно из-под земли, передо мной возникла фигурка невысокого, но ладного солдатика в форме внутренних войск.

Лихо откозыряв, он строго спросил:

— Вы куда, девушка?

Я сделала глубокий вдох, вбирая в легкие побольше воздуха, потом открыла рот и начала говорить. О чем? Не помню. Но мне еще в детстве внушили раз и навсегда одну прописную истину. Когда не знаешь, что сказать, говори правду. Впрочем, как шутят те же американцы, говори всегда только правду, ничего, кроме правды, но никогда не говори всей правды.

Прерывающимся от волнения голосом я стала рассказывать солдатику о том, что мы с подругой (последовал взмах рукой в сторону несколько напуганной моей прытью Люды) приехали в Москву издалека, и только для того, чтобы попасть на эту распроклятую выставку (упоминание о командировке было благоразумно опущено). Ходим сюда каждый день, как на работу, а попасть никак не можем. А завтра вот уезжаем. Значит, никогда больше не представится нам случай лицезреть прекрасных мах на балконе, запечатленных кистью прославленного Гойи, или нежных красавиц, изображенных Гейнсборо. И надо что-то с этим делать, но что? Тут я вперила отчаянный взор в неумолимого часового и впервые заметила, как же он похож на моего двоюродного брата Толю. Тот же светловолосый чуб, та же россыпь веснушек, те же голубые глаза, а все вместе почему-то мгновенно вызывает в памяти картину спеющей нивы, расцвеченной яркими головками васильков.

— Издалека приехали?

— Из Минска, — честно признаюсь я, зная, что москвичи всегда по-особому благоволят к жителям белорусской столицы.

— О! — почему-то вдруг страшно обрадовался суровый страж порядка. — Надо же! Стало быть, землячки. А я вот из-под Борисова. Служу в Москве уже второй год. Скоро дембель, домой собираюсь. Может, подождали бы, а? Вместе бы и поехали! — и он рассмеялся тем веселым, беззаботным смехом, которым смеются люди, когда впереди их ждет только хорошее. — Лады! Попытаюсь как-то вам подсобить, девчата, если, конечно, получится. Сами видите, какое тут светопреставление.

Он окликнул кого-то, и из-за следующей ели, словно по мановению волшебной палочки, материализовался еще один спецохранник. Заметив нас, он подошел поближе.

— Вот землячки мои, — начал первый солдат, — специально приехали на эту выставку из Минска, а попасть никак не могут. Завтра уезжают. Надо бы девчонкам помочь, все ж мне они не чужие. Передай старшому, а?

Солдат молча кивнул головой и тут же снова растворился в сгущающихся сумерках. Потянулись томительные минуты ожидания, наверняка заполненные какими-то разговорами. Просто я их от волнения все перезабыла. О чем говорили? Ума не приложу! Помню, даже смеялись.

Но вот боковым зрением замечаю, как распахнулась вожделенная дверь центрального входа в музей и по ступенькам крыльца быстро сбежал сухощавый молодой человек в штатском. Он направился прямиком к нам.

Каким он был, этот наш спаситель в штатском? Честное слово, не помню. Режь меня на куски, я не сумею описать его внешность. У представителей спецслужб, знаете ли, есть одна характерная особенность: они умеют быть никакими. Впрочем, в ту первую минуту он показался мне даже красавцем. Вот что значит сила самовнушения.

Наш земляк коротко доложил незнакомцу, судя по всему, начальнику караула, суть дела, закончив свой лаконичный доклад совсем не уставной фразой:

— Надо бы помочь девчатам, товарищ майор, а? Землячки ведь!

Незнакомец повернулся к нам с Людой и, скользнув пристальным взглядом, словно сфотографировал на какую-то невидимую пленку. Кажется, фейс-контроль мы прошли успешно. Взгляд его стал менее официальным, и он вдруг улыбнулся.

— Так сильно любите искусство?

— Очень! — хором выкрикнули мы с Людой, а она еще и кокетливо улыбнулась при этом. Хороша была, чертовка, ой, хороша! И сама это прекрасно знала.

— Боюсь, сегодня уже вряд ли что получится. Я сдаю дежурство. А вот завтра подходите в это же время к центральному входу, и обещаю, я проведу

вас на экспозицию. Коль скоро земляк так за вас просит. Кстати, вы где остановились? Успеете потом по времени на свой поезд?

— Да! — снова завопили мы хором. — Мы живем совсем близко отсюда. В гостинице «Москва».

Кажется, нам не поверили. Очередной профессиональный осмотр сверху донизу, видно, не склонил чашу весов доверия ни в одну из сторон.

— Вот как? — вежливая улыбка, но холодная. — Значит, нам по пути. Я как раз направляюсь в ту сторону в метро.

Ага! В метро, как же, злорадно думаю я про себя, чувствуя, что надежда моя снова начинает превращаться в некую эфемерную абстракцию. Так я тебе и поверила! Поди, в свою контору на площади Дзержинского путь держишь, а заодно и нас решил взять под свой колпак.

И вот мы идем по вечернему городу, неторопливо, почти как старые знакомые. Наш спутник в меру оживлен, весьма остроумен и все время сыплет забавными историями, которые то и дело вызывают наш дружный смех. Но какая-то пикантная недосказанность все время витает в воздухе, и наш променад по-прежнему кажется мне очень странным. Особенно с учетом того, что ближайшая станция метро «Кропоткинская» осталась уже позади: она ведь находится практически напротив музея. Но вот мы и дома! Забираем на reception ключи от номера, потом обе поворачиваемся к нашему провожатому и, не договариваясь, в один голос приглашаем к себе наверх на чашечку кофе. Молодой человек в смятении, да и время его явно поджимает. Кто-то где-то (скорее всего, по указанному выше адресу) уже ждет его с докладом. Он любезно откланивается и поспешно исчезает.

— Как думаешь, — задумчиво роняет Люда, — он завтра придет к нам на стрелку?

— А у нас есть другие варианты? — позабыв про вежливость, отвечаю я вопросом на вопрос.

И вот ровно за двадцать минут до назначенного времени в последний день нашей командировки мы торчим на указанном нам месте, которое уже начинает казаться мне лобным. Ловлю на себе неодобрительные взгляды тех, кто медленно движется мимо, отстояв бог знает сколько часов в очереди. Для всех этих людей мы, бесспорно, две вертихвостки, которые пытаются попасть на выставку вопреки всем правилам приличия, по самому откровенному блату, или как там еще это назвать.

В сущности, так оно и было. Потому что ровно в три нас, как и обещали, повели в музей. Хорошо помню, как, очутившись в вестибюле, мы с Людой робко двинулись в сторону касс, но тут же были остановлены.

— Нам с вами наверх. Никаких билетов. Вы у меня проходите по категории «почетные гости выставки». А потому вперед!

Что рассказать о самой выставке? Конечно, возьмись я описывать свои впечатления по горячим следам, восторгам моим не было бы конца. Я бы живописала о том, с каким трудом меня оттащили от этих самых мах, что на балконе, ибо угроза опоздания на поезд стала и в самом деле вполне реальной. А еще знаменитый пейзаж Эль Греко «Вид Толедо», так потрясший меня своими поистине апокалипсическими настроениями. Ни одна, даже самая лучшая репродукция не передает и сотой доли того первозданного ужаса, которым полнится эта картина. Когда разглядываешь островерхие крыши домов и шпиль виднеющегося на самом горизонте собора, то сами собой приходят на ум слова, сказанные когда-то Владимиром Сергеевичем Соловьевым:

«Наступающий конец мира веет мне в лицо каким-то явственным, хотя неуловимым дуновением, — как путник, приближающийся к морю, чувствует морской воздух прежде, чем увидит море».

Но не стану нагонять излишней мистики вокруг этого прославленного полотна, тем более что замечательный русский писатель Максим Кантор не без юмора описывает в своем романе «Учебник рисования», как возлюбила московская интеллигенция после той давней выставки именно это полотно, сделав репродукцию с картины обязательным атрибутом домашнего интерьера. Наподобие того, как в шестидесятые годы прошлого века все кнопили к стенкам своих квартир одинаковые портреты бородатого Эрнеста Хемингуэя.

А потому расскажу лишь об одном курьезном эпизоде. Толпы народа окружали полотно Карло Кривелли «Мадонна с младенцем». Но когда мы оказались в самой гуще зрителей, то выяснилось, что публика восторгается не столько самой картиной, написанной в далеком 1480 году, сколько мухой, которую художник виртуозно изобразил рядом с младенцем, запечатлев ее для истории в лучших традициях всех реалистических течений. И в самом деле, когда стоишь рядом с полотном, то появляется непреодолимое желание схватить газетку и отогнать назойливое насекомое подальше от ребенка. Вот так самая обыкновенная муха вляпалась в историю мирового искусства, заслуженно получив свою порцию славы и признания от восторженных зрителей. Хотя, как говаривал когда-то Уильям Блейк, *«А чем ты, муха, не человек?».*

Но вот прошло и это, по справедливому замечанию царя Соломона. Пролетели, как один миг, те два с половиной или три часа, которые мы могли позволить себе потратить на осмотр экспозиции. Наш чичероне явно впечатлен: ему нравится наш потрясенный вид и та обстоятельность, с которой мы ходили по залам, снова и снова возвращаясь к наиболее понравившимся полотнам. Судя по всему, ему понравились и наши разговоры, и наши комментарии к увиденному, непосредственные и искренние. И вообще, у меня такое впечатление, что мы ему понравились. Во всяком случае, хотя бы одна из нас. Иначе зачем же на прощание он выносит в качестве подарков для нас два роскошно изданных каталога к выставке, которые — уж точно! — предназначены только для почетных гостей.

В порыве чувств я обещаю выслать ему из Минска стопку книг из столь любимой мною серии «Современный зарубежный детектив», которая по степени популярности в те годы ничуть не уступала самым раритетным альбомам по искусству. Прощаемся, обмениваемся телефонами (мне диктуется домашний адрес, на который следует выслать бандероль с книгами), уезжаем домой.

И никто из нас, ни единого разу не вспоминает того белобрысого солдатика, нашего земляка из-под Борисова, благодаря которому, в сущности, и состоялось чудо нашего приобщения к шедеврам мирового искусства из собрания Музея Метрополитен. Проходят годы. Да что там годы! Три с половиной десятилетия промелькнули с той же стремительностью, что и три часа, проведенные на выставке. Жизнь почти прошла, если что и осталось, то только-только на самом донышке. Но, слава богу, есть еще время повиниться в своей горделивой самоуверенности и глупой заносчивости. Дескать, нам, рафинированным интеллигенткам, всякая солдатня не ровня.

А вдруг случится чудо? И незнакомый мне парнишка, увы! — уже не парнишка, случайно прочитает эти строки? Тогда у меня есть счастливая возможность публично покаяться перед ним за такую по-девичьи короткую память, попросить у него прощения за то, что тогда мы даже не сообразили спросить его имя и поблагодарить, как следовало бы поступить по всем человеческим законам. Что я и пытаюсь сделать только сейчас, памятуя о том, что лучше поздно, чем никогда. Спасибо тебе, земляк, за все!

А с другой стороны, земляки ведь на то и существуют, чтобы подставить тебе плечо или протянуть руку помощи в трудную минуту. Разве не так?



ЕЛЕНА ЛАПШИНА

Самоцветы

* * *

Возвращайся, Соловушка!
День разлукою крут.
Как сберечь твое горлышко
От ветров и простуд?

По денечку, по капельке
Выпадало удач.
Осень серая в крапинку,
И не смех, и не плач.

Утром в окна автобуса
Глянет солнечный диск.
Для чего ты рассорился
С октябрем, гармонист?

Ночь качает задумчиво
Неулыбчивый сон,
Словно ива плакучая
Смотрит в омут окон.

Только лодочка месяца
На поверхности сна.
Слуху песня пригрезится,
А надежде — весна.

А женщина придумает себе...

А женщина придумает себе
Полеты птиц и заросли сирени,
Придумает все лучшее в судьбе,
Усилит блики, растушует тени.

Придумает короткое «люблю»,
Которому ни слуха, ни намека.
И оживит фантазию свою,
И вознесет над временем высоко!

Ну а когда случится наяву,
Чему и предпосылок не бывало,
Поймет, что сердце видело канву,
Когда рука вслепую вышивала.

* * *

Бродяга-Дождь. Потеки и разводы.
Уже не видно туфелек в воде.
Спасает переход от непогоды
Нахохлившихся, вымокших людей.

И надо ж так: на пятачке знакомом
Я в замкнутом кольце зонтов и спин,
И греет пол, как будто здесь я — дома,
И кажется, до песни — миг один.

Вот нам бы всем сюда разлив гармони,
В слиянье судеб, как в слиянье рек.
Так где же Вы, улыбчиво-спокойный,
Светловолосый, светлый человек?

Попутчику

Намочит дождь послушные крыла,
Как спрятать взгляд мне радостно-неловкий?
Я камушек с дороги подняла,
С трудом его найдя у самой бровки.

И вот ведь — оказалось: самоцвет,
В укор иным сомнительным богатствам.
Троллейбус пробирается в рассвет,
Спрессованный недолгим нашим братством.

Нехитрая история пути,
Лиц полусонных мятые листочки,
Но до того, как вновь ему сойти,
Рифмует время остановок строчки.

Не узнает... Цветные слайды окон.
В них полусумрак дымчато-лилов.
И только чувство, что стою под током
Упругой недозволенности слов.

* * *

Две дорожки — оси поперечные,
Светофор на перекрестке глаз.
Ох, сердечки, эти темы вечные,
Вечно интригующие нас.

Нагрузившись кладовыми опыта,
Правильно умея видеть, жить,
Мы прошли на цыпочках, но топотом,
Все ж успев друг друга оглушить.

Чем отличны те, что нами избраны?
Для того ль, чтоб после не страдать,
Так спешим, пересекаясь жизнями,
«Сделать вид» и «вида не подать»?

Опять в календарях...

Опять в календарях мелькают зимы,
Но в мужестве презрев бедлам природы,
Все женщины в обед — по магазинам
(Нормальные), а я — по переходам.

Храни, Господь, и «съехавшие» крыши,
Под ними окна все равно горят.
И в час, когда душа на ладан дышит,
Пошли мне ПЕСНЮ и пошли мне ВЗГЛЯД.

* * *

...Он вздохнет, улыбнется устало
Над раскрыльем листа моего.
Верно скажет: «Во всем этом мало
Слишком мало меня самого».

И опять, обрываясь, дорога
Спрячет грусть мою в омуте дня.
Я пойму, что во всем этом много,
Непростительно много меня.

* * *

И будет фото на стене...
Звезда над крышей...
А что печаль не обо мне —
Так срок не вышел.

* * *

Рябина гроздьями в снегу,
Вот диво-дивное!
Зима на этом берегу,
Как осень — длинная.

И не пройти мне сквозь метель
Из недоверия.

Я белым саваном потерь
Укрою дерево.

Себе дороги закажу
В края далекие,
Про звезды сказку доскажу
Про синеокие.

Замкнут усталую тетрадь
Странички пыльные.
Ни жизни сердцем не обнять,
Ни неба крыльями.

* * *

Продлевая терпению срок,
Выбираюсь с базара — из улея.
На прилавках из множества строк
Мне спасением — Ахмадулина.

И, избавив от денег карман,
Как обычно, решением скорым,
Вновь скажу себе: «Капитан,
Никогда ты не станешь майором...»

* * *

Ложится снег в ложбиночки ветвей,
Как свет в пробелы между слов и строчек.
Успей заметить, что слова — нежней,
Длиннее письма, а года — короче.

Успей на встречу, сказки (вот беда)
Полны неосторожности кончаться.
И звездочки, слетевшие сюда,
Недолгим светом по глазам лучатся.

Сумей пройти по краю (видит бог,
В последнем предложеньи нету точки),
Чтобы ноябрь, замешкавшись, не смог
Сорвать с души последние листочки.





АНАТОЛЬ ЗЭКОВ

Ягоды с молоком

Рассказы

Сон в руку

Услышав, как скрипнула калитка, Татьяна выглянула в окно: и кого это несет в такую рань? Хоть и без того знала: кого же еще, как не соседку Ольгу? Натура у соседки такая: если не забежит с утра, то будто и день для нее не начался. Хоть поздороваться, словом перекинуться. Заскочит, бывает, в дом, застрекочет, как сорока, покрутится и, даже не присев, сразу за дверь. Скажешь: «Ну, сядь ты и посиди». А она: «Ой, побегу, Татьянка, а то свиньи некормленые, хлев в щепки разнесут». Не успеешь оглянуться, а ее уже и след простыл.

«А это и хорошо, что она такая, Ольга, людская, — думала Татьяна. — Проведает на минутку — и на том спасибо. Зато, когда умру, не буду лежать, как тот Хведар три дня в нетопленом доме, пока соседи не нашли. Ольга ни свет ни заря углядит».

Татьяна всегда жила в этом доме. Здесь родилась, отсюда и родителей на кладбище проводила. А когда муж Василий поехал на заработки и, связавшись с какой-то цацей, не вернулся, то и вовсе вдвоем с дочкой остались. Так и жили, пока Аленка школу не закончила. Да и когда на кулинара училась, каждые выходные к маме приезжала. А окончила училище — в Тюмень направилась. Не хотелось отпускать, а что сделаешь: такая доля матери, не век же держать дочку при себе.

С того времени еще больше сошлись Татьяна с Ольгой. Потому что и та была как сокол одна. Единственный сын в город подался, женился там и, считай, забыл о матери. Что ни говори, а своя семья — свои беспокойства. Муж Ольги, Адам, лет десять как умер. Бухгалтером в совхозе работал. Пришел однажды домой, пожаловался на боль, лег на диван и не поднялся.

Остались соседки свой век доживать одни. И приятной новостью поделятся, и беду разведут на двоих. Даже внешне похожие, наверное, от судьбы одинаковой: худощавые, чернявые, хотя и у той, и у другой уже проблескивала седина.

— Вот и хорошо, что заглянула, — обрадовалась Татьяна, когда Ольга переступила порог. — А то такой сон приснился...

И начала рассказывать соседке свой сон. Ольга слушала, кивала головой, а потом — даже помолодела! — затарахтела, как заслонка, что с припечка свалилась:

— Ой, Татьянка, сон твой да Богу в уши. Неужели ты еще не додумалась, что к чему, голова твоя садовая? Алена твоя там замуж, может, выскочила. Жди гостей, Татьянка!

Татьянка только рукой махнула.

— И руками не махай. Тут затылок чесать нужно, а не руками размахивать... Может, уже на поезде гремит с Севера. Или на самолете. Хорошо, если на поезде, может, что-нибудь сделать успеем. А если на самолете, то и дом не подмести.

— Ой, Ольга, что ты несешь?

— Сон, Татьянка, сон. Не я виновата, все сон сказал, — обычно Ольга торопилась, а тут расцвела, даже про свиней некормленых забыла.

— Неужели это правда? Я совсем не готова. Да и она мне ничего не говорила.

— Может, и сказала б, если б ей кто сказал. Где это видано, чтобы нынешние хлопцы загодя говорили, что замуж брать будут? Они, как в космос ракету: сначала запустят, а потом уже признаются. А то, что не готова, не беда. Сделаем, все сделаем. Миром сделаем. Пропасть не дадим. Самогонку, наверное, уже давно выгнала?

— Да что ты, какую самогонку? Литр вон стоит на полке, думала, буду сено возить...

— Посмотрите на нее! Ну не тетеря ли? Дочка на выданье, а у нее шаром покати. Не маленькая же, знаешь: имеешь дочку — имей в гляке. Ну, ничего, Татьянка, не переживай, все сделаем. И горелку найдем, и в доме уберем. А что сами не в силах, люди помогут. — И уже в двери бросила: — Ну, я побежала.

— Ой, куда же ты?

— За кумом Иваном, — откликнулась соседка. — Попрошу, чтобы кабана пришел заколоть. А ты давай в доме что-нибудь думай...

Иван, коренастый, с носом, как клюв у ворона, мужчина лет пятидесяти, даже испугался, когда с утра — он и позавтракать не успел (жена в больнице, нужно было сперва скот накормить, а потом за стол садиться), — в дом как ошпаренная влетела соседка Ольга и еще с порога завопила:

— Иван, давай собирайся! Татьяне кабана заколоть надо. Быстрее! Иначе не успеем...

Иван, услышав все это, кусочком хлеба чуть не поперхнулся. «Чего не бывает, — подумал, — может, случилось что...»

Подхватился из-за стола и, на ходу накидывая куртку, выскочил из дома.

Следуя за ним, Ольга кудахтала, как квохтуха, но Иван ничего не слышал, долетали только отдельные слова: «Сон... Хоть бы успеть... Ой, бедная Татьянка».

«Успеем... — бормотал Иван про себя. — Не дадим кабанчику пропасть».

Иван выплюнул папиросу и по привычке хотел затоптать ногой, однако увидел, что окурок упал в пепел, который еще дымился. Из развязанного снопа взял пук соломы и, положив ее в пепел, подождал, пока солома загорится.

Подошла Татьяна. Не поднимая головы, бросил:

— Маловато соломки будет, Татьяна. Но ничего, не хватит соломки, лампой закончим.

— Что ты, Иван, лампой? От этой лампы шкурку не укусишь. Тимофей вон своих вечно лампой смалит, так шкурку хоть выбрасывай.

— Шкурка, шкурка, — буркнул Иван. — Для тебя уже, чем ни смали, все равно шкурку жевать нечем.

— Да разве я для себя, Иванка? Сало приятнее, когда шкурка мягкая...

Иван промолчал: что попусту говорить.

— И много этой соломки нужно? — посмотрела на него Татьяна.

— Много не много, а с полснопа хорошего, — бросил Иван и полез за новым пучком соломы.

— Так, может, я сбегаю к Марии? Займу до следующей жатвы, а?

— Не нужно, Татьянка, занимать. Если не ленишься, сходи лучше ко мне. В хлеву там, над тюфяком, возьми. Там и на мой век хватит. Может, когда чарку нальешь, так выпью за здоровье твое, Татьянка, и за счастье дочки твоей Алены.

— А как же, Иванка, налью, обязательно налью, — приговаривая, Татьяна выскочила на улицу.

А Иван, переворачивая кабанчика на другой бок, думал: «Еще и подрастить можно было: пуда четыре-пять будет, не больше. К Рождеству в самый раз был бы...»

На плите аппетитно потрескивала свеженина. Одну большую сковородку мяса Татьяна уже нажарила и выложила в миску, тут же взялась за вторую. Ножом перевернула шкварки и, вытерев руки о подол, достала с полки бутылку мутноватой самогонки, поставила на стол:

— Наливай, Иван.

— А где твой стакан?

— Я еще успею. А ты пока с Ольгой выпей, — отмахнулась Татьяна, однако все-таки выставила третий стакан.

— Не надо много жарить, — вставила Ольга. — Разве много на троих нужно?

— И то правда, — добавил Иван.

— Ай, что вы, все съедим, не пропадет. Свеженина, она хорошо идет. Да еще под чарочку-вторую...

Иван взял бутылку, немного налил Ольге, капнул Татьяне, потому что знал: не пьет старая, сколько помнит ее; на палец-два недолил себе.

— Ну что ты, Иван, — заметив это, хозяйка подошла к столу и, взяв бутылку, долила стакан до краев. — Мужчина же, не ровня нам, бабам.

— Ладно, — буркнул Иван.

Недолил себе он скорее из приличия, потому что знал: Татьяна так не оставит, дольет.

Чокнулись. Иван, сказав привычное «чтобы все хорошо было», залпом осушил стакан, потянулся за выжаренным куском мяса. Оно похрустывало на зубах, а Иван, немного опьяневший от стакана самогонки на голодный желудок, рассуждал:

— Хорошо, если б холодильник был. Дольше свеженькое сохранилось бы. Свежее, оно намного вкуснее. А вот просолишь, и уже не то. Кажется, и мясо как мясо, а аппетит не тот.

Татьяна принесла вторую сковороду мяса, выложила в миску.

Снова выпили.

— А за самогонку, Татьянка, не переживай, — взялась за свое Ольга. — Найдем. Никита вон продает, пять рублей за литр. А сколько ее тебе нужно для начала?

— Нет, Татьянка, на сегодня будет, — не понимая, о чем разговор, возразил Иван. — Разве это свадьба какая?

— А я что говорю, — вскочила Ольга, — пока свадьба, и своей нагонишь, а на помолвку хватит и купленой. Или издалека много людей приедет? Может, только родители...

Напоминание о свадьбе растрогало Татьяну, и она, радостная, снова полезла на полку, где в уголочке притаилась последняя бутылка самогонки, которую она припасла на сенокос.

Никогда еще Татьяна не ждала почты так, как сегодня. И поэтому, сидя за столом, то и дело поглядывала в окно. Не может быть, думала, чтобы дочка приехала внезапно, не предупредив мать хотя бы одним словом. Не напишет письмо, так телеграмму даст. Обязательно.

Почтальоншу разглядела еще издалека. Не дождавшись, пока та подойдет к дому, выскочила во двор. Ни Иван, который уже успел выпить половину и второй бутылки, ни Ольга не поняли, в чем дело.

Татьяна почувствовала, как сильно забилось в груди сердце.

— Добрый день, тетя Татьянка! — поздоровалась почтальонша. — А вы как знали, что письмо вам несу.

Еще сильнее забилось сердце. Вот-вот, кажется, выскочит из груди. И все вспомнилось Татьяне в ту минуту: и сегодняшний сон, и утренний разговор с Ольгой. И так хотелось побыстрее взглянуть на письмо, на дочкин почерк, убедиться, что все это и на самом деле правда. А что в письме, она и так знала: сон рассказал.

Почтальонша долго копошилась в своей толстой, доверху набитой газетами и журналами коричневой сумке. И Татьяне подумалось даже: а что, если она на почте забыла дочкино письмо или, хуже того, вынимая газеты, выронила его где-то из сумки? Испугавшись такой мысли, сразу поспешила выбросить ее из головы.

Очнулась только тогда, когда, прижимая письмо к груди, вбегала в дом. Даже не помнила, поблагодарила ли почтальоншу.

— Письмо от Ленки, — придя в себя, радостно взглянула на Ольгу с Иваном.

— А я что говорила? — хлопнула в ладоши Ольга. — Сон, Татьянка, сон.

— Он, соседушка, он, — согласилась Татьянка, а что сказать еще, не знала. Словно вмиг и говорить разучилась.

— За это и выпить не грех, — взял стакан Иван и, не дожидаясь, как на это среагируют женщины, выпил.

— Давай, распечатывай быстрее, — подгоняла соседку Ольга.

А что ее подгонять, когда Татьяна и сама старалась как можно быстрее вскрыть конверт. Да руки почему-то не слушались, бегали по конверту, вертели его — как бы не зная, с какой стороны разорвать.

— «Добрый день, мама! Не обижайся, что долго не писала тебе, — вслух читала Татьяна, хотя замечала, что сперва все-таки каждое слово, перед тем как произнести, читала про себя, словно проверяя, можно ли сказать его всем. — У меня все хорошо. Не сердись, мамочка, что давно домой не приезжала. Все никак не получалось. Но скоро буду...»

— А я тебе что говорила? — перебивая Татьяну, заерзала на месте Ольга. — Сон, он всю правду рассказал. Читай, Татьянка, дальше. Сейчас и про свадьбу будет. А я тебе что...

— «Мамочка, любимая, деньги мне высылать не надо, — читала Татьяна дальше, не обращая внимания на слова Ольги, — получаю я на работе неплохо. Живу по-прежнему в интернате. Замуж...», — внезапно Татьяна остановилась, глазами пробежала письмо.

— Ну вот,— затараторила снова Ольга, — замуж выходит, значит. — Но, взглянув на Татьянку, которая замолчала и угрюмо уставилась в угол, спросила: — Что с тобой, Татьяна? Что случилось?

И сразу же перевела взгляд на письмо. В глаза бросились слова: «Замуж пока что не собираюсь...»

Прочитав это, вдруг замолчала, виновато опустила голову, направилась к двери. Иван, моргая и ничего не понимая, глядел то на одну, то на другую. А потом, вылив из бутылки в стакан остаток самогонки и с таким же проворством перелив ее в горло, — только булькнуло, пробормотал:

— Прости, Татьянка. Я-то что... Мое дело ясное... Я думал как лучше. Чтоб кабанчик того-этого... Бывай, Татьянка, не обижайся, а?

Но хозяйка не обратила на него внимания.

— Вот тебе и сон в руку, — шептала она сама себе. — А я тоже, кочерга старая, ворона неразумная. Смотри, уши развесила. В какой-то сон поверила...

И долго еще проклинала себя Татьяна. И не заметила, как осталась в доме одна...

А на скамье лежали неразделанные окорока, дымились крупные ломти сала...

Кузьма из деревни Сунички

— Егор! Егор! Ну, куда же ты? Иди сюда! — надрывался женский голос, и Кузьма обернулся: что там за ослушник, этот Егор, мать кричит, хрипнет, а он — хоть бы что.

Из-за кустов, перевернувшись через бордюр, выкатился черный как смоль щенок и бегом бросился на зов хозяйки. Молодая женщина, точь-в-точь как его Лизка, лет тридцати, в темно-синих джинсах и голубой курточке-дождевике присела, расставив руки, и щенку ничего не оставалось, как прыгнуть на них. Женщина подхватила щенка, прижала к груди и, чмокая в носик-пуговичку, приговаривала:

— Егорка, глупенький мой, как ты меня напугал! Куда ты побежал? А если бы машина из-за поворота выскочила? Ну скажи, что так больше не будешь, ну скажи, Егорка...

Щенок все целился лизнуть хозяйку в лицо, которое она и не собиралась отворачивать, и, мотая хвостиком-флюгером, завывал от удовольствия.

Кузьма, по старой привычке заложив руки за спину, минуту постоял, поглядывая на женщину и щенка, потом повернулся и, шаркая ногами, двинулся к подъезду.

— Тьфу, черт, — проворчал он. — Дожились, собакам человеческие имена начали давать...

Кузьма в городе недавно. До переезда сюда жил в небольшой полесской деревне Сунички. Предки, которые несколько столетий назад обжились здесь, не напрасно дали селению такое красивое название. Земляники в здешних лесах было хоть возами вози. Еще до недавнего времени женщины руки обрывали, корзинами нося домой ягоды. И на варенье хватало, и на зиму засушить, и компот закатать. А то и просто в миску с ягодами сыпали сахар, наливали молоко и, перемешав, хлебали вприкуску с хлебом; особенная вкуснятина была, если с белым, который в деревенскую лавку, правда, привозили редко. Внучек Артемка, когда его на летние каникулы оставляли в деревне (еще и Анна жива была), пожалуй, никакую еду не любил так, как эту. Набегается на улице, заскочит запыхавшийся в дом — и еще с порога:

— Баб, дай ягод с молоком!

И так ненасытно прихлебывает, будто неделю во рту маковой росинки не было.

Любил старый Кузьма в такие минуты наблюдать за Артемкой. И при этом обычно вспоминал свое детство. Сахара тогда не было, не всегда и молока хватало — не удивительно, восемь детей в семье! — однако ягоды, пусть себе и с водичкой, лакали в удовольствие. И росли, считай, на ягодах и рыбе, которую ловили в Припяти и ее заводях. Теперь, известно, не то время — и колбаса есть, и другое, но к ягодке все равно тянет. Потому что ягодка — она и есть ягодка. И никакие лакомства, что там ни говори, не заменят ее.

Вороша в памяти прошлое — и прежнее, и совсем недавнее, — теперь, в городе, Кузьма будто занозу в сердце загоняет. Потому что ягод уже не поешь, и внук не приедет в деревню погостить. Да и сам Кузьма навестит ли еще родной уголок? Может, разве что в гробу, когда хоронить привезут на кладбище, под тот коренастый дуб, где Анина могилка.

И надо же было случиться беде такой! Кто бы мог подумать, что сама нечистая сила затаилась в пятидесяти километрах от Суничек. Даже когда рванул реактор, сельчане этому никакого значения не придали. Мало ли всяческих аварий случалось в стране? Ну, потушили — молодцы пожарники!— и спасибо Богу.

Три года еще после аварии жили здесь. Правда, как-то не по себе было: это же не шуточки, когда молоко от собственной коровы пить запрещалось, собирать грибы и ягоды — тоже. Хотя — что греха таить — и пили, и собирали. А как же в деревне иначе жить, если свое не есть? И разве этого купленного наберешься — пенсии не хватит с тридцаткой «гробовых».

Да и в лавке — хоть шаром покати. Не класть же зубы на полку. Подумаешь, радиация какая-то, все пугали. Разве это беда, когда за воротником не щиплет, за ноги не кусает. Вот только люди умирать стали как мухи. И его Анна — на кладбище. С утра еще бегала-металась на своих ногах, а вечером пошла на насест посмотреть, что там за день куры снесли, прислонилась к столбу — и молча осела.

Когда Анну похоронили, дети собрались помянуть благочестивую и начали наседать на Кузьму: бросай, дескать, папа, все — поехали. Сначала отнекивался, не хотелось покидать дом, нажитое с «мозоля» хозяйство, двор, где каждая травинка ступней обласкана, однако дети (особенно настырничала Лизка, дочь) так насели, что думал-гадал и в итоге сдался.

Через неделю приехал Олег на «Жигулях» и забрал Кузьму в город. Из живности в хозяйстве на тот момент остались одни куры, так что хлопот никаких не было. Ключи от дома и хлева отдал соседу Захару: мол, поглядывай тут, может, еще, даст Бог, и вернусь. Хотел что-нибудь из вещей прихватить, но Олег зашипел:

— Ты что, папа, оно же все под радиацией...

Кузьма окинул взглядом дом, обошел двор, убрал из-под ног миску с водой для кур и, закрыв на защелку калитку, пошел к машине. Когда немного отъехали, не выдержал, оглянулся, украдкой смахнул слезу.

По дороге свернули на кладбище, постояли возле Аниной могилки.

На лифте Кузьма ездить не любил. Разве только с Артемкой. А так ходил пешком. Пройдет немного, передохнет и снова давай ступеньки считать. А куда ему, пенсионеру, спешить. Это не в деревне, где все бегом: и корове сена бросить, и свиней накормить, и курам сыпануть. Да и огород — как втянешься весной, так до самых заморозков пашешь.

На лестничной площадке между вторым и третьим этажами поднял хлебный ломоть и осторожно, сдув пылинки, положил в бочонок, который стоял в подъезде, предназначенный специально для пищевых отходов. Заглянул в него и заметил ломти и побольше. «Вот, все на жизнь жалуются, — вспомнил услышанный на днях разговор в универсаме, куда ходил с Артемом. — А хлеб целыми буханками выбрасывают. Заелись. Ясно, на бесхлебице не сидели...»

Подошел к квартире с цифрой «86» и, поискав в кармане, достал ключ. Пока целился в замок, дверь щелкнула и открылась.

— О, ты уже дома! — воскликнул Кузьма, увидев перед собой внука.

— А ты где это, дедушка, был?

— Да во двор погулять выходил.

— А чего я тебя не видел, когда из школы шел?

— Я тоже не заметил, как ты прошмыгнул.

Кузьма скинул на пороге сандалии и, сунув ноги в тапочки, прошел в ванную, помыл руки. Потом вернулся в комнату, где Артемка делал уроки, присел рядом.

— Ты пообедал?

— Я пока не хочу, дедушка, — отмахнулся внук. — Вот сделаю уроки, тогда и поем.

— Смотри, — покрутил головой Кузьма. — А то на голодный желудок и наука не пойдет...

Кузьма, чтобы не мешать, сидел молча. Только удивлялся, как это внуку удается так ровненько выводить буквы. Заметив, что дедушка наблюдает за ним, Артемка оглянулся:

— Дедушка, а можно, когда сделаю уроки и поем, на рыбалку схожу?

— На рыбалку? — удивился Кузьма. — А где же тут речка?

— Видел пригорок, что за нашим домом?

— Ну...

— Так за тем пригорком — озеро. Небольшое, правда. Но рыба есть. Я сам ловил. Плотва и пескари. Хочешь, вместе пойдем?

— Что ж, — взбодрился Кузьма, — можем и вместе.

Чтобы не отвлекать Артемку от уроков, он пошел в зал, снял пиджак, лег на диван. Спать не хотелось, потому что и без того спит в городе, как тот пожарник, — разве бы в деревне вылеживался? А здесь что — не путаться же без дела под ногами. Да и какое в городских квартирах занятие — обед приготовить да в комнатах раз в неделю прибрать. Без его помощи обходятся: дескать, отдыхай, папа, ты свое отработал.

Кузьма, подложив руки под голову, лежал на боку и понуро смотрел в угол, где стоял телевизор. А мыслями был там, в своих Суничках. Так теперь всегда — стоит только склонить голову к подушке. И с вечера не заснет, пока не передумает обо всем. Ворочается так, что Лизка иной раз испуганно подбежит и спросит:

— Может, у тебя, папа, болит что, так не таи, скажи. Лекарство какое дам или доктора вызову...

«Эх, Лизка, Лизка, доченька моя родная, — думает после этого Кузьма, — нету лекарств мою боль успокоить. Неизлечимая она. А болит у меня все. Сердце тоскует по дому родному, по людям, которые в Суничках остались, бока ноют по топчану возле печи и по теплой лежанке, а руки по работе крестьянской скучают. Но разве, доченька, ты поймешь старого-слабого? Ты всю жизнь в городе. Как восемь классов закончила, так и на крыло».

Многое передумал Кузьма за это время, — а чем еще заняться старому в городе? И про что бы ни думал, всегда почему-то вспоминается, как старший

сын Николай привез из Грузии, где служил в армии, росток виноградной лозы. Посадил возле окна — пусть, говорил, и у нас виноград растет. Только росток тот не прижился, засох, так и не выбросив ни одного листочка.

Вот так, видно, и он, Кузьма, в городе, как тот росток в чужой земельке.

— Дедушка, а дедушка, — прервал мысли Кузьмы голос Артемки, — ты где там? Я уже на рыбалку собираюсь. А ты идешь со мной?

— Иду, внучек, иду...

Кузьма поднялся с дивана, надел пиджак и подался в прихожую. А перед глазами все стоял, не выходил из головы тот засохший росток виноградной лозы.

Перевод с белорусского Кристины Уклейкиной.

Еловые лапки

— Пап, а пап, а почему, когда тетку Юлю на кладбище везли, то на дорогу еловые лапки бросали?

— Чтобы тетке мягко спать было, сынок.

— А что, пап, она поспит и опять к нам придет?

— Придет, сынок, придет...

— Нет, папа, не придет она больше. Вот деда Федоса на кладбище завезли — год уже прошел, а он все не приходит...

Деревня наша большая — считай, дворов девятьсот будет, а может, и вся тысяча. В сельсовете-то должны знать, однако я так никогда и не поинтересовался. У отца, правда, спрашивал, но он также не знает. «Где-то около этого, — говорит, — а если нет, то не намного и меньше».

Километров на семь растянулась Кривичевка. До Буды, райцентра нашего, и то путь короче, чем по деревне из конца в конец. И столько улиц в ней да переулков разных, что есть такие уголки, где я за всю жизнь свою и не был ни разу.

Это же не шуточки, дизель-поезд в деревне два раза останавливается. А все равно есть улицы, до которых от станции еще пешком километра три шагать. Но не останавливаться же поезду из-за них еще раз. Он и так едва тянется из-за остановок этих.

Сначала остановки так и назывались: «Кривичевка-1» и «Кривичевка-2». Но путаница возникла. Кривичевцы свои остановки знают, сойдут там, где надо. А вот если гости едут, то и промахнуться недолго.

Тогда и переименовали «Кривичевку-2», дали ей название «Качановка», хотя почему именно Качановка, а не Свекловка, например, никто не знал. Ничего похожего с таким названием поблизости не было. Просто первое, видимо, что взбрело какому-то железнодорожному начальству в голову. Поговаривали, однако, будто у того человека, который название давал, в годы войны родную деревню вместе с семьей сожгли фашисты. И называлась она вроде бы Качановкой. После войны так и не возродилась. Вот и решил он таким образом хоть название возродить.

Может, и в самом деле так, кто знает...

«Здравствуй, сынок!

Решила вот написать. Ты уж не сердись, что пишу редко. Может, и чаще писала бы, да все из-за Ленки Галкиной некогда. Уж такая она вреднющая, глаз да глаз нужен. Не успеешь куда отвернуться, так она обязательно нашкодит.

То тарелки со стола посбрасывает, то в ведро, где свиньям корм размешиваю, руками по самые уши залезет, то о чугунки вымажется. Да что рассказывать, ты и сам знаешь, видел, какая она вреднющая.

Галка перешла на другую работу, там, говорят, садик свой есть, может, скоро и заберет Ленку от меня. Тогда хоть немного станет свободнее, теперь же я связана по рукам и ногам. А подумаю, то и скучно будет, привыкла я к ней. Летом вот, когда Галка в отпуске была и Ленку с собой в Жлобин свезла на месяц, я здесь чуть с ума не сошла.

Мы, сынок, все живы-здоровы, чего и вам желаем. Петька домой приезжает редко. Первый год, когда поступил учиться, каждое воскресенье проведывал, не было воскресенья, чтобы не навестил. А теперь, бывает, и месяц пройдет, и полтора, а он не показывается. Хотя бы взять какой еды заехал, да денег сколько-нибудь дала бы, а то, может, и голодный сидит. Будет тебе звонить, так ты уж пристыди его, может, тебя послушается.

Жениться еще вроде бы не думает, хотя кто его знает. Разве вы говорите все матке? И ты такой же был. Тогда только и признался, когда заявление с Жанкой подали.

Дома, сынок, у нас все хорошо. На зиму сена корове накосили. Сейчас бы на дрова расстараться. Степка-лесник обещал два воза, да еще бы с воз какой сами напилили. Торфа прошлогоднего с полмашины осталось, вот и хватило бы перезимовать.

Я рада за тебя, сынок, рада, что все у вас с Жанкой хорошо. И что Сережка не болеет, рада. А то я за него волнуюсь. Как он там теперь, хотя бы привезли когда показать. Сама же, пока Ленка будет, вряд ли выберусь.

Сынок, недавно Галка привозила журнал, где твой рассказ о дядьке Иване напечатан. Мне рассказ понравился, посмеялись вволю. Особенно в том месте, где дядька свататься к тетке Василине ходил, и как она его протурила. А вот батька что-то морщился все время и ругался. Где это, говорил, он видел, чтобы в нашем пруду пудовых щук ловили? Ими там, говорил, уже тридцать лет как не пахнет. И еще говорил, что случай, о котором ты написал, вовсе не с Иваном был, а с Тимохом, соседом нашим, и тетку ту не Василиной звали, а Марфой.

Галка ему было пробовала втолковать, что это же художественный рассказ и в нем необязательно, чтобы все правдой было, а он и слушать не захотел. По мне, говорил, художественный — не художественный, а коль взялся писать, то выдумывать незачем. Пиши, как оно в жизни есть. На то он, мол, и рассказ, чтобы все — как в жизни. Одним словом, так Галка батьку и не убедила. Перепутал, говорил, все ты, сынок, и факты исказил. А попутно и журнал тот ругал. Там тоже, говорил, такие, как он, сидят. Нет, чтобы проверить, так что им сунут, все и печатают. За что только, говорил, деньги людям платят.

Вот так, сынок. А может, ты и в самом деле ничего выдумывать не хотел, может, и правда просто напутал? А все потому, что дома редко бываешь, позабыл многое. Так что не ленись, сынок, выбери какой денек и заскочи. Да и Сережку привез бы. Уж очень давно я не видела его. Сам не можешь, так хотя бы когда Жанка приехала с ним. А то и умру, не повидав.

Ну, сынок, буду закругляться. Ленка уже проснулась, надо бежать, пока с кровати не свалилась.

Передавай привет Жанке, сватам. Сережку за меня крепенько поцелуй. Не забыл он там еще бабу?

Ждем с батькой вас в гости».

Останавливается поезд. Две минуты стоит на остановке, а потом вновь в путь — только колеса тарахтят.

Вот я и дома.

Здороваются земляки, шепчутся девчата, настороженно косясь в мою сторону: не слушаю ли? Милые мои девчата, не бойтесь, шепчитесь смело. Я все равно не вспомню, чьи вы. Без меня вы выросли, без меня.

Как много здесь перемен свершилось, Кривичевка моя родная. Если что и осталось без изменений, так одно кладбище. Дорога вдоль него ведет меня к отчему дому. Дорогу тоже не узнать: здесь, у моста, когда с полей сходил снег, или осенью, в непогоду, вряд ли и на тракторе можно было пробраться, а теперь вот весна в самом разгаре, но мимо проносятся иномарки. Поднялась насыпью дорога, асфальт-панцирь на себя натянула. Что ей теперь дожди, даже самые проливные!

По той еще, в грязи и лужах, дороге доставили меня из роддома, по той дороге маленькая и худая, как сейчас помню, лошадка везла на кладбище мою бабушку Маню. И люди бросали на дорогу еловые лапки. Вся дорога была усыпана ими. Многое забылось, а вот еловые ветки цепкая детская память сохранила и по сегодняшний день.

Позже, приезжая домой и проходя мимо кладбища, я не один раз видел на дороге еловые лапки. И словно заноза вонзилась в сердце. Вот кого-то еще не стало в моей деревне. Кто он, человек этот, вспоминая которого в разговоре, не преминут сказать «царствие ему небесное».

Кладбище наше приютилось на перекрестке дорог, и по еловым лапкам я определял, где, на какой улице жил умерший. Тревожно щемило сердце, когда еловые лапки вели на мою улицу Лесную. И чем ближе подводили они к дому нашему, тем страшнее мне становилось...

Когда я бываю в лесу и вижу зеленые ели, всегда вспоминаю не ту, украшенную, которая приходит в наш дом под Новый год, а невыносимо страшные, до боли в сердце, еловые лапки, которыми была усыпана дорога к кладбищу.

— Пап, а почему еловые лапки на бабушкину улицу ведут?

— Значит, умер кто-то с бабушкиной улицы.

— Пап, а что, если бабушка наша?

— Да что ты придумал, сынок! Сплюнь!

— А помнишь, пап, бабушка писала: «Не едете долго, я так и умру, не повидав вас...» А мы же долго не ехали, правда, пап?

Перевод с белорусского автора.





ЖАННА ЗАВАЦКАЯ

В темной и светлой воде

* * *

Ветер не бьет в окошко,
И не скребется мышь.
Лишь за селом гармошка
Режет ночную тишь.

Скрипнет петля дверная,
Жар опалит лицо.
Выйду тайком босая
К милому на крыльцо.

Дым папирос колечком,
Лунный неяркий свет.
Будем у тихой речки
Вместе встречать рассвет.

В темной воде чуть слышно
Щука хвостом плеснет.
Станет краснее вишни
От поцелуев рот.

В старых речных затонах
Робко шуршит лоза.
Словно в глубокий омут,
Кану в твои глаза.

Сердце трепещет сладко,
Спит деревенька, лишь
Где-то поет трехрядка,
Режет ночную тишь.

Одиночество

То ли чье-то мрачное пророчество,
То ли наваждение мое,
Но за мною ходит одиночество

И нигде покоя не дает.
Наступает на ногу в автобусе,
Шелестит газеткою в метро,
А по выходным коктейли пробует
За соседним столиком в бистро.
Вечером в рабочей телогреечке
Важно отсчитает этажи,
И по-стариковски на скамеечке
Поворчит, посетует на жизнь.
Мне его порой окликнуть хочется
И спросить, смиренно поклонясь:
«Ваше одинокое высочество,
Что же вы хотите от меня?
Может, не по той иду тропиночке,
Может, ближе через косогор?
Но свою родную половиночку
Так и не нашла я до сих пор.
Я ведь далеко еще не старая,
Подскажите, в чем моя вина?
Все подруги, точно в песне, парами,
Только я по-прежнему одна».
Повздыхаю, погрущу, пожалуюсь
На судьбу, на жизнь, на белый свет.
И, всплакнув, смахну слезинку малую,
Вовсе не надеясь на ответ.
Поверну домой, к родимой пристани,
Долгожданный обрести покой.
Вдруг замечу, незнакомец издали
Улыбаясь, машет мне рукой.

* * *

Никогда не говорю «нет»,
Если хочется сказать «да».
Я бегу за счастьем след в след
По пути, что мне судьбой дан.

Нарисую для себя дом,
Самый лучший, этажей в пять.
И спокойно стану жить в нем,
Верить в сказку и тебя ждать.
Будет падать за окном снег,
Барабанить по стеклу дождь.
Каждый новый день — длиной в век,
Если ты кого-нибудь ждешь.

Все тревоги отгоню прочь.
Ты придешь и принесешь свет.
Хочешь, вместе проведем ночь?
Я не буду возражать, нет.

Мы послушаем мою грусть,
Одинокую ее песнь.
Ничего не разберешь, пусть.
Основное то, что ты здесь.

Растолкаем по углам ложь
И подальше зашвырнем тьму.
Не понравится — уйдешь, что ж,
Я понятливая — пойму.

* * *

Уходит время. С чистого листа
Жизнь не начать. Она несется мимо,
Стирая прошлое, как с потного лица
Стирает лицедей остатки грима.

И скорбный лик несбывшихся надежд,
И юный пыл любовной круговерти,
Что предначертано, все поместилось меж
Двух главных дат — рождения и смерти.

Кто станет кем? Мучительный вопрос.
От древних звезд, посланцев мудрой ночи,
Мы тщетно ждем ответ, упорно и всерьез
Вникая в суть таинственных пророчеств.

Игра судьбы. Мельканье карт Таро.
Зловещая ухмылка черной метки.
Один неверный шаг — и вот опять зеро
Нам выпало на жизненной рулетке.

Но иногда в отчаянных мечтах
Мы рвемся в бой под дерзкий свист шрапнели.
Идем на абордаж, превозмогая страх,
И попадаем в яблочко, не целясь.

Звените громче, счастья бубенцы!
И пойте, душ разбуженные струны!
Мы нашей жизни гениальные творцы,
А не заложники слепой фортуны.

Пусть нам помогут радость обрести
Попутный ветер, ровная дорога.
И мы пройдем все то, что суждено пройти,
И не попросим лишнего у Бога.

Незнакомка

Свечи. Пламени желтые брызги.
Полумрак и сплетение тел.
Женский лик на меня с укоризной
Со старинной картины глядел.
Не грешат на земле только боги.
На щеке высыхает слеза.
Почему ж холодны так и строги
Незнакомки прекрасной глаза?
На лице неподкупности стужа,
Осуждающе сжаты уста.
Но ведь ты и сама перед мужем
Не всегда оставалась чиста.
Вспомни ночи в покоях дворцовых
(Крепко спал одряхлевший супруг),
Как ласкал тебя снова и снова
Молодой и отчаянный друг.
Вспомни страстью наполненный вечер,
Запряженный тайком экипаж,
Где твои оголенные плечи
Целовал расхрабрившийся паж.
Пусть надменная дама мне в спину
Шепчет злые слова, но, увы,
Меркнут старые краски картины
Перед таинством новой любви.
Профиль твой, утомленный и чистый,
В душной комнате призрачно бел.
Свечи, пламени желтые брызги,
Полумрак и сплетение тел.



Великие умирают дважды?

Современное общество охвачено англоманией: в этом нет ничего предосудительного и, наверное, по большому счету, ничего опасного. Ведь на то есть целый ряд весьма веских и вполне объективных причин. Тот же Интернет, к примеру. Да и прочие технические инновации, сделавшие нашу землю весьма компактным местом проживания. Так что особых оснований для страха у радетелей чистоты языка нет. Уверена, русский язык, как, впрочем, и все остальные языки народов мира, в положенный срок переварит все эти саундтреки и хит-парады, ток- и дог-шоу, фьючерсы и ваучеры, сохранив в своем словаре только то, что им действительно нужно и полезно. К тому же, единый язык (вспомним, что для средневековой Европы таким языком была латынь) — это крайне важно и для развития науки, и для пропаганды культуры. И в этом смысле объединительную роль английского языка можно только приветствовать. Однако приходится с грустью констатировать, что в наши дни пропаганда культуры все больше напоминает улицу с односторонним движением, ибо англоговорящие старательно навязывают свои стандарты и вкусы всему остальному человечеству. Глобализация, одно слово!

Впрочем, англосаксы не всегда были столь агрессивны в своей культурной интервенции. И уж точно, не всегда претендовали на роль мирового духовного лидера. Еще каких-то два с половиной столетия тому назад Бенджамин Франклин (кстати, первый полномочный посол во Франции молодого государства под названием Соединенные Штаты) сказал так: «Всякий человек любит в первую очередь свою родину, а затем Францию». Замечательные слова! И имеющие самое прямое отношение к герою нынешней публикации.

Поль Валери (1871—1945), французский поэт, критик, философ, теоретик искусства, академик, ставший «бессмертным», как называют во Франции членов Академии, в 1925 году (а спустя два года Валери занял там освободившееся место Анатоля Франса) — фигура в каком-то смысле знаковая для европейской культуры первой половины XX столетия.

И одновременно загадочная. Ибо этот человек, всю жизнь чуравшийся того, что сегодня в духе времени называют опять же англоязычным словом «паблисити», совершенно ничего не делал, как говорится, палец о палец не ударил, чтобы эту самую публичную славу завоевать. Между тем поражает именно быстрота официального признания Поля Валери, рафинированного интеллектуала и поэта, так сказать, только «для избранных». Воистину власти Третьей республики сделали все от них зависящее, чтобы сразу же после избрания Валери в Академию придать его творчеству общепризнанный характер, его же поэзия и вовсе была приобщена к национальному художественному достоянию.

Едва ли мы, во всяком случае, те из нас, кто читает Валери в переводах, в состоянии объективно оценить это решение или опровергнуть его. Ведь как справедливо заметил сам Валери в одной из записей в своих знаменитых «Тетрадях», *«Переводы великих иностранных поэтов — это архитектурные чертежи, которые могут быть превосходными, но за которыми неразличимы сами здания, дворцы, храмы... Им недостает* ***третьего измерения****, которое превратило бы их из созданий мыслимых в зримые».*

Кстати, о самих «Тетрадях». Сегодня многие современные литературоведы ищут разгадку «тайны» феноменальной творческой судьбы Поля Валери не в его поэзии или философских эссе, а именно в личных «Тетрадях», куда он в течение всей своей жизни бессистемно заносил собственные наблюдения, мысли, наброски, критические оценки, аналитические размышления об искусстве. В сущности, этот своеобразный дневник, начисто лишенный бытовой событийности, стал летописью интеллектуальной жизни Валери. Неслучайно иные критики уже даже объявили «Тетради» «главным произведением» автора, отодвинув в сторону все остальное творчество поэта и мыслителя.

Как бы то ни было, но при жизни интеллектуальный и, что редко бывает одновременно, моральный авторитет Валери был необычайно высок и непререкаем, и не только во Франции, но и далеко за ее пределами. В качестве знаменитого писателя, президента французского ПЕН-клуба, профессора Коллеж де Франс (где для него была специально учреждена кафедра «поэтики»), он объездил практически весь мир, достойно выполняя почетную миссию «посла французской культуры».

Столь же безупречным было поведение Поля Валери и во время Второй мировой войны. Не будучи формально в рядах Сопротивления, он, тем не менее, в годы страшной фашистской оккупации сохранил незапятнанной свою репутацию писателя и гражданина. С начала 1942 года Валери входит в Национальный комитет писателей, один из центров антифашистского сопротивления французской интеллигенции. Он дожил до освобождения Европы от «коричневой чумы», собственными глазами увидел свободный Париж и смог лично приветствовать освобождение Франции в своей знаменитой речи, с которой выступил в Сорбонне на официальных торжествах в честь 250-летия Вольтера.

20 июля 1945 года Валери не стало. По распоряжению генерала Де Голля ему были устроены торжественные похороны общенационального масштаба с ночной церемонией прощания в Париже и траурным шествием, в котором участвовали тысячи французов.

Смерть Поля Валери породила огромное количество откликов тех, кто хотел уже прямо по горячим следам оценить его роль и влияние на французскую культуру. Один из них, публикуемый ниже, принадлежит перу нобелевского лауреата и ближайшего друга Поля Валери — Андре Жида.

Едва ли короткое вступительное слово может претендовать на глубокий экскурс в творчество Валери и все загадки его творческой судьбы. И все же один вопрос так и просится, чтобы его озвучили. Так ли велик этот француз сегодня, как это представлялось его современникам шестьдесят с лишним лет тому назад?

Сам Поль Валери с присущей ему афористичностью сделал такую запись в «Тетрадях»: *«Великие люди умирают дважды; один раз — как люди, и один раз — как великие».*

Думаю, применительно к самому поэту такой прогноз едва ли правомерен. Всю жизнь он был непреклонно тверд в том, что касалось искусства. Для него, как и для его духовного предтечи Вольтера, разум был и оставался главным и определяющим фактором в развитии человечества. *«Где тот Вольтер, который бросит обвинение в лицо современному миру?»* — восклицал он во время своего последнего публичного выступления.

И забывал, что во многом таким «Вольтером» стал он сам со своим незашоренным взглядом на все и вся: мир, человека, нравственность, духовную систему ценностей.

При всей своей рафинированности и эстетической утонченности Валери всегда на первое место в искусстве ставил того, кому оно адресовано. *«Что имеет цену только для одного меня, то не имеет никакой цены, — таков железный закон литературы»*, — любил повторять он.

Увы, приходится констатировать, что сегодня интеллектуалов такого уровня, как Поль Валери с его страстной верой в человеческий разум и его нравственные возможности, нет. Или их попросту затерли и отодвинули в сторону более боевитые конкуренты, в изобилии расплодившиеся в наше насквозь меркантильное время. Как бы то ни было, но едва ли кто-нибудь из ныне живущих деятелей искусства рискнет повторить вслед за Валери:

«Дайте мне перо и бумагу — и я сочиню вам учебник истории или священный текст, подобный Корану и Ведам. Я выдумаю короля Франции, космогонию, мораль, теологию».

Ведь чтобы заявить такое — мало одного таланта: нужны еще и четкие нравственные ориентиры, такие, какими руководствовался всю свою жизнь сам Поль Валери.

Что же непосредственно до самих публикаций, то их связь с творчеством Валери лишь опосредствованная. Андре Жид (1869—1951), известный французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1947), был не только близким другом Поля Валери, но и весьма авторитетной личностью, особенно, в кругах символистов. Творчество Андре Жида оказало огромное, можно даже сказать, решающее влияние на становление французского экзистенциализма в лице Альбера Камю и Жана-Поля Сартра. Публикуемый ниже очерк Жида представляет интерес уже хотя бы потому, что личность оценивает личность, а такие оценки не только всегда интересны, но поучительны.

Что же до второго автора, то, вполне возможно, кому-то из читателей небольшое эссе Андре Моруа и вовсе покажется притянутым за уши. И тем не менее, есть резон поставить эти две публикации рядом. Андре Моруа (1885—1967), автор известных романов «Превратности любви» и «Семейный круг», а также большого числа беллетризованных биографий великих людей, многие из которых уже давно переведены на русский язык и известны самому широкому кругу наших читателей, оставил после себя, помимо всего прочего, еще и целый ряд фундаментальных литературоведческих трудов. Его перу принадлежат такие серьезные исследования, как «От Лабрюйера до Пруста» и «От Пруста до Камю», в которых дана развернутая панорама французской литературы первой половины XX столетия. И имя Поля Валери фигурирует на страницах этих книг десятки раз, как, впрочем, и в «Голых фактах», своеобразных дневниковых записях, увидевших свет в 1963 году. В «Голых фактах» Моруа нарисовал яркие, запоминающиеся портреты многих

выдающихся современников, в том числе и Поля Валери, к которому он всегда относился с особым пиететом. Одна из таких зарисовок датирована 1929 годом. Привожу ее целиком.

«Валери завтракает с Симоной и со мной. Он в ударе и просто неотразим. В ходе разговора он то и дело с легкостью строит блестящие, точно ажурные конструкции.

О войне: «Война — это некая акция, благодаря коей люди, которые не знают друг друга, друг друга убивают ради славы и выгоды людей, которые знают друг друга и друг друга не убивают». По-моему, это в ключе суждений Алена: «Все войны затевает элита». Или: «Все войны — религиозные».

Валери о Паскале: «Смерть у него просто навязчивая идея».

«Надо читать мало или никогда не читать ни философов, ни историков. Лишь обращаясь к элементарным представлениям об окружающем мире, включая самого себя, можно обнаружить что-то новое».

«Яблоко Ньютона? В эту самую минуту вокруг нас происходят тысячи феноменов, которые с помощью какого-нибудь начинающего простака распахнут врата в столь же необозримые области, как, скажем, атомная физика. Бери и открывай».

Отвечаю:

— Всегда найдется то, что еще надо открыть.

— Совершенно верно, — соглашается Валери».

(Андре Моруа, «Надежды и воспоминания», Художественная публицистика, М.: Прогресс 1983, с. 130.)

Особенно часто мелькает имя Валери на страницах публицистической прозы Андре Моруа посвященной этическим проблемам, в том числе и вопросам любви. Достаточно перечитать его «Письма незнакомке» или «Открытое письмо молодому человеку о науке жить», чтобы убедиться в этом. Вот и ироничное и даже немного скандальное эссе «Сюжет для рассказа» (1934) тоже заканчивается отсылкой к авторитету Валери, мнение которого, как мы имеем возможность убедиться сами, было непререкаемой истиной не только в глазах его друга Андре Жида.

Что ж, надо думать, что человек, написавший в своих «Тетрадях»: *«Страстная любовь нелепа. Это смехотворная выдумка писателей»*, знал толк и в любовных делах тоже.

Зинаида Красина

АНДРЕ МОРУА

Сюжет для рассказа

Как-то недавно, размышляя над сюжетом для нового рассказа на одну весьма забавную тему, я задумался над теми законами, по которым, собственно, и создается вся литература любимого мною жанра. Это литература о любви. А тема такова: сексуальное удовольствие — вот тот базис, на котором сформировалась наша цивилизация. Процесс этот начался где-то в двенадцатом веке и в наши дни уже существенно замедлился, да и сама цивилизация постепенно приходит в упадок. Вполне возможно, кто-то не согласится с предложенными мною временными рамками. Что ж, на эту тему можно поспорить, но никто, я думаю, не станет спорить с тем, что возникновение такого феномена, как романтическая любовь, оказало поистине судьбоносное влияние на развитие искусства в Европе и на формирование морали народов, ее населяющих.

А ведь это довольно странно, не раз повторял я себе, что необходимость в удовлетворении простой физиологической потребности дала толчок к зарождению столь сложных переживаний, которые, если вдуматься, лежат в основе практически всех шедевров мирового искусства. И это при том, что, скажем, другие физиологические потребности, те же жажда или голод, так и остались на своем первобытно примитивном уровне, и большинство людей воспринимает их именно в этом качестве: как заурядную потребность своего организма.

Немного поразмыслив над странностями нашей человеческой натуры, я пришел к выводу, что объяснение может быть весьма банальным. Просто и голод, и жажда — это те потребности, которые человек удовлетворяет сам, и исключительно для самого себя. Цивилизационная же и эстетическая роль любви объясняется тем фактом, что любовь изначально предполагает участие двоих в удовлетворении этой физиологической потребности. Иными словами, любовь — это гармоническое соединение двух человеческих существ, причем свободных существ (имея в виду и ту ограниченную свободу, которую постепенно, начиная с двенадцатого века, стали приобретать женщины). Итак, мы имеем дело со свободным, добровольным соглашением двоих, в котором задействованы всевозможные типы гармоний и диссонансов. Выходит, подумал я, если бы люди были устроены таким образом, что для удовлетворения все той же жажды нужно было бы обязательное участие двоих, то тогда и жажда стала бы вызывать не менее сильную страсть и явилась бы побудительным мотивом к созданию возвышенных шедевров искусства.

Я даже попытался представить себе новую породу людей, специально приспособленную для парного удовлетворения этой потребности, возведенной ими в культ, как это стало у нас с любовью. Я представил себе остров, на котором живут люди, несколько непохожие на обычных людей. Предположим, на правом предплечье у них имеется нарост, наподобие женской груди, и тоже с соском, но только гораздо меньшего размера. Я попытался представить себе, как островитяне удовлетворяют

свою жажду, припадая к соску. Сказать по правде, картинка показалась мне довольно омерзительной.

Тогда я перекинулся на другие физиологические функции. А еда? А что, если предположить, что люди могут потреблять только ту пищу, которую они ассимилируют у себе подобных?

Итак, люди живут только за счет той пищи, которую получают друг от друга. Тогда откуда они берут жидкость, необходимую для жизнедеятельности организма? А может, они ее выделяют подобно тому, как растения выделяют сок? Да, но растения наполняются соком от земли и под воздействием солнечного света. Неужели мне предстоит изобразить аборигенов моего вымышленного острова похожими на овощи, да еще с зелеными волосами?

Чем больше я размышлял на эту тему, тем более непосильной представлялась мне задача, которую я взялся разрешить. Еще можно как-то вообразить, что люди получают необходимую им пищу обычным путем, через рот, но только из уст другого человека, но ведь им же требуется и какое-то дополнительное питание. Нечто вроде подкормки, как подкармливают, к примеру, грудных детей коровьим молоком, или как подкрепляются муравьи, поедая жидкость, выделяемую насекомыми, которые обитают в коре растений.

Сюжет предполагаемого рассказа требует наличия, по меньшей мере, двух персонажей извне, которые попадают на мой фантастический остров. Я уже даже название для рассказа придумал — «Путешествие на остров Артиколь». Итак, герои: французский моряк по имени Пьер Шамбре и его жена Ани. Общую сюжетную канву прорисовать было несложно, учитывая опыт Свифта, создавшего своего Гулливера. Супружеская пара путешествует по разным незнакомым землям и в конце концов попадает на остров Артиколь, где обитают мои воображаемые монстры, у которых на правой руке имеется нечто похожее на грудь. Но надо же как-то обозвать этих чудищ. Я подумал и решил назвать их эрофагами. Наверное, правильнее было бы обозвать их эротофагами, но само слово показалось мне не очень благозвучным.

Разумеется, законы беллетристики таковы, что нельзя, чтобы герои, да и читатели тоже, с самого начала получили ключ к разгадке сюжета, на котором строится повествование. Поэтому завеса над интимной жизнью обитателей острова приоткрывается перед путешественниками не сразу, а постепенно. Во всяком случае, не с первых страниц книги. Пусть для начала мои герои испытают шок при виде поразительного бесстыдства аборигенов. Мои эрофаги будут нудистами, что вполне объяснимо в условиях того теплого климата, который царит на острове. Но при этом все они будут носить на правом предплечье повязку, украшенную красивым орнаментом. А что же до физиологии любви в нашем понимании этого слова, то эрофаги воспринимают половой акт совершенно равнодушно и не придают ему ровным счетом никакого значения. Они могут предаваться соитию на людях, и все присутствующие не обращают на их действо никакого внимания. Они приглашают к себе друзей для любовных утех точно так же, как мы, скажем, приглашаем гостей на ужин. Отвращение, которое испытают Пьер и Ани, наблюдая за их оргиями, вызовет у эрофагов лишь легкое недоумение. Почему? С какой стати? И что они делают не так? Они даже обвинят путешественников в отсутствии человеколюбия, в непонимании простых человеческих радостей.

Но вот постепенно путешественники узнают, что молодые пары эрофагов по нескольку раз на дню уединяются у себя в комнате, и в это время их категорически нельзя тревожить.

«При такой свободе нравов, — удивляются Пьер и Ани, — чем еще они там могут заниматься?» Изумляет их и странное проявление целомудрия у обитателей острова. Ходят нагими, но старательно прикрывают у себя правое плечо. Причем эта часть тела старательно задрапирована и у женщин, и у мужчин. И это тем более удивительно, потому что большую часть своей жизни островитяне проводят в море, в воде. Но и мужчины, и женщины купаются только с повязками на правом предплечье, под которыми, когда они намокают в воде, просматривается какая-то странная припухлость. На пляже общественность строго следит за тем, чтобы никто из присутствующих не разгуливал с обнаженными плечами.

Вообразить себе дальнейшее развитие сюжета, когда завеса секретности над интимной жизнью аборигенов вдруг приподнимается и путешественники понимают, в чем дело, совсем не трудно. Пьер и Ани узнают, что все эрофаги, независимо от пола, выделяют жидкость, которую можно отсасывать друг у друга. Вкус этой жидкости настолько восхитителен, а сама она настолько необходима этим людям, что для эрофагов она равнозначна самой жизни. Разумеется, они не умрут, если не будут получать эту жидкость, но очень быстро постареют и станут медленно умирать от всяких страшных болезней.

Далее фантазию придется поднапрячь. Ведь если предположить, что эрофаги могут получить столь жизненно важную для них жидкость от любого себе подобного, тогда удовлетворение этой физиологической потребности никогда не будет сопряжено с возникновением глубоких чувств и сильных переживаний. Здесь я придумал довольно ловкий ход. Все эрофаги обладают очень развитыми вкусовыми качествами: их чувствительность столь высока, что удовлетворить каждого из них может только определенная по вкусу жидкость, взятая от определенного человека. И вот именно этот человек, который выделяет жидкость, так идеально совпадающую с потребностями другого организма, делается бесценным в глазах того эрофага. Тогда мы получаем всю палитру взаимоотношений, столь схожую с нашими любовными переживаниями, ибо пара демонстрирует друг к другу такую же нежность и привязанность. Единственное отличие состоит в том, что чувственные отношения эрофагов строятся не на потребности удовлетворить свои сексуальные желания, а на необходимости подкреплять организм именно той жидкостью, которую выделяет идеально подходящий для этой цели партнер.

И что дальше? А дальше все, как у нас, обычных людей. Сильные чувства друг к другу порождают то, что мы называем целомудрием. Отсюда нарукавные повязки эрофагов. Отсюда их стремление уединиться в те моменты, когда они хотят припасть к предплечью друг друга. Можно даже вообразить появление романов, написанных великими писателями эрофагами и посвященных всецело драмам несостоявшихся или разрушенных союзов островитян. Кстати, описание полового акта в книгах воспринимается местными жителями совсем не как порнографическая литература. И такие книги у них могут читать даже дети. Зато описание процесса отсасывания жидкости друг у друга квалифицируется как жуткая непристойность, и их лучшие писатели старательно избегают подобных сцен в своих произведениях.

Нетрудно также вообразить себе, свидетелями скольких драм становятся наши путешественники на острове эрофагов. Самое удивительное, что в основе всех этих драм лежат такие же переживания и чувства, как и у нас. И главное — это чувство неразделенности, наподобие неразделенной любви у нас. Предположим, один эрофаг испытывает страстную потребность в жидкости, выделяемой его партнером, а тот совершенно равнодушен к его секреции. И вот вам вся гамма переживаний: скука и равнодушие с одной стороны, неутоленная жажда — с другой. Можно, при желании, вообразить и другие человеческие коллизии, скажем, возраст одного из партнеров или его болезни и так далее, и тому подобное.

Наблюдая за нравами, царящими на острове, мои герои приходят к выводу, что длительность чувств, соединяющих эрофагов в пары, приблизительно такая же, как и у нас: от одной недели до десяти лет. Впрочем, некоторые эрофаги, подобно нашим ловеласам, неутомимы в поисках все новых и новых партнеров и готовы менять их хоть каждый день. Другие же наслаждаются спокойной гармонией отношений по пятьдесят лет и более.

Вот так удовлетворение обычной физиологической потребности оборачивается появлением духовной близости, нежных чувств и всего того, что сопутствует любви и дружбе в нашем понимании слова. Разумеется, там, где любовь, есть место и ревности, хотя супружеские измены в нашем понимании на острове случаются крайне редко. Изменой считается факт, когда пара, не связанная брачными узами, была застигнута непосредственно во время акта отсасывания секреции друг у друга.

Кстати, в связи с тем, что удовлетворять свою главную потребность эрофаги могут с представителем любого пола, то и брачное законодательство на острове отличается от нашего. У них встречаются и разнополые, и однополые браки, то есть мужчина может заключать союз с мужчиной, а женщина с женщиной.

Самое время суммировать свои фантазии: идеи, лежащие в основе того, что составляет ценность любви в наших глазах, то есть идея греховности или идея, что каждого из нас может удовлетворить только один определенный человек, так вот, все эти идеи, правда, ассоциированные с удовлетворением совсем иного желания, в ходу и у эрофагов. Романтические истории о том, как они питают друг друга, у них не менее популярны, чем наши любовные романы, в основе которых лежит обычный инстинкт размножения. Их искусство, замечательное и достигшее невиданных высот, черпает свои вдохновенные сюжеты исключительно в потребности удовлетворения жажды и голода.

Более того, религия эрофагов — это тоже всего лишь сублимация этого инстинкта. Как прозорливо заметил Поль Валери, который, конечно же, и представления не имел о моем замысле написать про эрофагов: «Голод и жажда не возведены на пьедестал наших чувств и мы не сделали из них идолов. А спрашивается, почему? Зато секс превратился у нас в полубога. Нет, он стал у нас богом!»

И вот, вспомнив к месту эти слова Валери, я решил отказаться от своего замысла и не писать рассказ об эрофагах.

АНДРЕ ЖИД

Поль Валери

Временное правительство Франции оказалось на высоте положения. Торжественные похороны, которые они организовали, и все те почести, которые были оказаны Полю Валери в момент прощания с ним, все это было воспринято общественностью не как простая дань обстоятельствам, а как выражение глубочайшего почтения к человеку, являвшему собой, пожалуй, самого выдающегося гения Франции XX столетия. Поль Валери — одно из самых блестящих имен в истории нашей страны. Можно сказать, что именно благодаря Полю Валери Франция все еще занимает свое достойное место духовного лидера в современном мире, и это несмотря и даже вопреки всем историческим катаклизмам и поражениям последних лет.

При всем том столь широкомасштабное признание заслуг Валери, замечательное по своей сути, не перестает удивлять. В самом деле, ведь фигура Поля Валери и та выдающаяся роль, которую он сыграл в культурной жизни страны, не вполне вписывается в привычные стандарты того, что мы понимаем под «известностью». Влияние Валери, часто опосредствованное, его неоценимый вклад в историю нашей культуры, — все это, по большому счету, способны оценить в полной мере лишь немногие французы. Ведь его работа никак не была связана напрямую с общественной деятельностью ни в одной из ее привычных, стандартных форм. Более того, она была как бы отрезана от остального мира с его потоком быстро сменяющих друг друга событий, и даже в какой-то степени чуралась этого мира. И тем не менее, именно в сфере творческой деятельности Поля Валери, сокрытой от большинства его современников, решались наши с вами судьбы. «Меня породили события, — любил повторять Поль Валери. — Но события — это всего лишь пена на глади моря. А меня интересует в первую очередь само море. В море мы ловим рыбу, по морю мы плаваем, в глубины моря мы ныряем».

Что ж, никому еще не удавалось нырнуть в морские пучины событий глубже, чем ему.

С ранней юности им двигало тайное честолюбие. Не могу поставить рядом с Валери никого, чьи честолюбивые помыслы были бы благороднее и возвышеннее. На их фоне честолюбивые желания героев Бальзака вызывают лишь легкую улыбку. Но и в осуществлении обычных житейских планов, которые по большей части и обуревали героев Бальзака, Валери преуспел не меньше, а пожалуй, и больше, чем любой из них. Он знал, как завоевывается слава и почести и чего они стоят. Но он также знал им и истинную цену — знание, которое приобретается в ходе глубоких и неустанных размышлений. Впрочем, он, как мне кажется, никогда не стоял за ценой. Но исключительно потому, чтобы доказать себе и всем остальным, что для него не существует ничего невозможного. Потому что в глубине души он всегда презирал все материальное. И в этом была его духовная сила. Ибо в своих поступках Поль Валери всегда руководствовался только разумом и его помыслами. Все остальное представлялось ему второстепенным, мелким и смехотворно ничтожным.

При этом Валери никогда не стремился быть властителем дум и не претендовал на роль духовного лидера. Его интересовал только собственный разум и его внутреннее устройство: ему страшно хотелось понять, как он работает. Поль всегда хотел быть хозяином собственного интеллекта и пользоваться им по своему усмотрению. Именно на это, в первую очередь, и были направлены все его творческие устремления.

Вот такой странный тип нарциссизма, когда человек преисполнился решимости установить контроль над собственным разумом с помощью самого разума. Все же остальное его попросту не интересовало: ему не важна была ни сама цель, если она перед ним возникала, ни пути ее достижения. Главное — *«быть в состоянии»* добиться поставленной цели.

«Мой характер, — любил повторять он, — заключается в его скрытых возможностях». Как же повезло всем нам, что Поль Валери вздумал обратить эти скрытые возможности именно на изящную словесность.

«Я думал, что в литературе мне будет проще всего существовать», — написал он впоследствии, объясняя свой выбор. Для него все его самые замечательные стихотворения, самая совершенная проза, вышедшая из-под его пера, были не более чем обычными упражнениями, наподобие тех, что выполняют ученики в школе на уроках правописания. Недаром он однажды обронил такую фразу: «В искусстве, как я его понимаю, все так или иначе связано с понятием «упражнение». Кстати, именно упражнениями он называл свою поэму «Юная Парка». Хотя у меня нет сомнений: примени он свой оригинальный метод к другим сферам человеческой деятельности, и результаты были бы такими же триумфальными. Да! Я могу с легкостью представить себе Поля Валери — выдающегося политического деятеля, или Валери — искусного дипломата, крупного финансиста, замечательного ученого, инженера или врача. Иногда я даже думаю, что не меньших успехов, чем в поэзии, он смог бы добиться и на поприще архитектора, художника или музыканта, хотя для всех этих профессий нужны особые способности. Впрочем, способности Поля Валери были поистине универсальны и многогранны.

Как и его великий предшественник Эдгар Аллан По, Поль Валери всегда руководствовался в своем творчестве следующим принципом: художник, будь то поэт, музыкант или живописец, должен в своем творчестве опираться не на собственные эмоции, а на те чувства и переживания, которые он хочет пробудить своим искусством в душах читателей, слушателей, зрителей.

Иными словами, основная задача художника — трогать чужие сердца, а не предаваться собственным переживаниям. Не об этом ли рассуждал Дидро в своем трактате «Парадокс об актере», восхищаясь игрой драматических актеров? Собственно, то же самое можно сказать и про живопись Леонардо да Винчи или про музыку Вагнера. Между прочим, сам Валери весьма скептически относился к такому, столь любимому всеми романтиками, понятию, как «муза», а по поводу вдохновения вообще всегда предпочитал насмешливый тон. Пожалуй, он мог бы взять себе в качестве девиза слова Флобера: «Вдохновение? Это когда каждый день садишься в одно и то же время за свой письменный стол».

До последних дней своей жизни Валери поднимался с рассветом и работал до тех пор, пока его не начинали беспокоить те, кто просыпается уже гораздо, гораздо позже.

Мне кажется, он работал с той же интенсивностью, что и Декарт, естественно, не в плане разработки одних и тех же проблем, но в стремлении довести каждую мысль до своего логического совершенства. В течение почти двух десятилетий, пока его собратья по перу трудились над очередными произведениями, эстетическая ценность которых, по его мнению, была весьма невелика, Валери занимался неустанной разработкой собственного метода, храня при этом полное молчание. Зато всякий раз, когда на глаза ему попадалось действительно что-то стоящее, он тут же задавался вопросом: «А как это сделано?»

Причем готовое блюдо привлекало его гораздо меньше, чем рецепт, по которому его приготовили. А еще он всегда язвительно высмеивал случайные всплески гениальности. А уж о том, чтобы восторгаться такими искрами, не могло быть и речи. Еще совсем молодым человеком, а наша дружба с Полем началась, когда нам было чуть больше двадцати, и продлилась вплоть да его смерти, так вот, еще совсем юным, помню, он повесил у себя над кроватью известное изречение кого-то из греческих философов: «Подвергай все сомнению». И он руководствовался этой максимой неукоснительно, независимо от того, шла ли речь о человеке, о каком-то предмете или явлении, о чьих-то убеждениях, вере или о тех служителях культа, которые несут эту самую веру в массы. Но самым главным и основным объектом его сомнений были и остались до конца его дней слова. А все мы прекрасно знаем, какая скрытая энергия таится в слове и как неожиданно она может выплеснуться наружу, стоит только попытаться разъять слово на отдельные составляющие. Пожалуй, по силе своей разрушительности эта энергия вполне сопоставима с той, которая выделяется при расщеплении атомного ядра.

Помню, однажды вечером мы коротали время, сидя в маленьком кафе на бульваре Сен-Жермен, совсем рядом с министерством обороны, где Поль в те годы трудился на какой-то скромной должности. И он зачитывал мне вслух витиеватые пассажи из речей Мориса Барреса. Он с улыбкой модулировал свой голос, как самый заправский оратор: в какой-то момент он возвысил его, а затем, оторвавшись от текста, продолжил с той же интонацией, будто все еще читал речь: «И вот мы видим перед собой весь спектр (далее, красноречивая пауза) *омерзительных* условий!» И в голосе Валери я услышал столько ужаса и негодования, что мне сразу же стало ясно, что условия, сопряженные с рядом жестких требований, о которых рассуждал Баррес, действительно ужасны и неприемлемы. Впрочем, не столь ли жесткие требования Валери предъявлял и к себе, тоже оговаривая их всевозможными условиями? И в конце концов, они, эти условия, и сделали его тем, кем он стал. Но пока… пока шло время, а он *ничего не создавал*.

Его затянувшееся молчание начало тревожить его друзей. Иногда кто-то из нас бросал ироничную реплику, а некоторые даже позволяли себе пространный монолог по теме: «Так где же тот великий Валери, который так блестяще начал? Написал несколько стихотворений и замолчал. Да, многообещающее начало, но сейчас-то он молчит. Он, наверное, замолчал навсегда. Признайтесь, вы его явно переоценили. Он исписался, не успев начать». О нем все чаще говорили в сослагательном наклонении, причем относя само действие не только к буду-

щему, но и к прошлому. Иными словами, не только «возможно», но и «мог бы».

Между тем Валери по-прежнему завораживал всех нас своими блестящими разговорами. Я уже даже стал бояться, что всю оставшуюся жизнь он будет довольствоваться именно разговорами. Меня также настораживало его чрезмерное увлечение математикой: эта необыкновенная любовь к точности, думал я, тоже может сыграть с ним скверную шутку. И действительно! В те годы его рабочим местом был не стол со стопкой чистой бумаги. Нет, главным его рабочим местом была огромная школьная доска, которая вечно путалась под ногами в убогой каморке, в которой он тогда квартировал на улице Ги Люссака. Черная поверхность доски была постоянно испещрена какими-то странными знаками, сложными уравнениями и прочей заумью. Я не понимал ни слова из его пространных объяснений, когда он принимался втолковывать мне, и это вопреки моему полному невежеству в области точных наук, то или иное положение из математики. Впрочем, его мало занимало, понимают ли его слушатели. Все эти разговоры и объяснения велись, главным образом, для себя и только для себя. Возможно, поэтому он совершенно не обращал внимания на собственную дикцию, и она до самой его смерти оставляла желать лучшего, ибо Валери всегда говорил очень быстро и крайне неразборчиво. Часто случалось так, что толпы обожающих его поклонников, собиравшиеся на его лекции в Сорбонне, Коллеж де Франс и в других местах, вынуждены были довольствоваться лишь созерцанием своего кумира, оставив всякую надежду еще и понять то, о чем он так вдохновенно рассуждает.

Разумеется, никто из них и помыслить не мог о том, чтобы попросить его повторить что-то дважды, как это постоянно случалось в частных беседах. Впрочем, для Валери не имело значения, кто его слушает: лишь бы его слушали, не перебивая и не мешая развивать какую-то идею. В дни нашей юности у него появился один такой «слушатель», которому он не переставал петь свои дифирамбы при каждой нашей встрече. Во-первых, тот человек все время молчал, но его молчание казалось Валери весьма заинтересованным. Он говорил мне, что незнакомец буквально упивается его словами и слушает его медитации с нескрываемым восхищением на лице. Валери встречался с ним ежедневно на автобусной остановке. Этот неизвестный мне почитатель талантов Поля начал вызывать у меня любопытство. Я даже стал немного ревновать своего друга к столь пылкому почитателю его талантов. Кто бы это мог быть? Я навел справки и с удивлением обнаружил, что «восторженным слушателем» Валери был обыкновенный тренер по плаванию, работавший в одном из парижских бассейнов.

Итак, в те далекие годы все помыслы Валери были заняты математикой. Причем не геометрией, которую он совершенно не понимал еще со школьной скамьи. «Помню, — рассказывал он мне, — как только учитель в классе стал объяснять нам что-то типа «Возьмите треугольник АВС и наложите его на другой треугольник АВС», как мой мозг тут же отказался воспринимать подобные сложности. Зачем нужны все эти странные манипуляции? Что нам это даст? Словом, я категорически отказался накладывать все эти треугольники друг на друга». Позднее, в одном из эссе Валери так напишет о своем неприятии геометрии: «Я даже не могу представить себе, что такое равенство фигур, как это понимается в геометрии».

Вот почему Валери сразу же исключил геометрию из сферы своих интересов, сосредоточив основное внимание на изучении астрономии. Он штудировал труды Лобачевского, Максвелла и Реймана с завидным усердием, которого никогда не демонстрировал, если речь шла о сугубо литературных произведениях.

Однажды вечером он снял с моей книжной полки два тома с романом Диккенса «Мартин Чезлвит», а уже на следующее утро вернул их, сказав, что за ночь успел прочитать весь роман.

— Как? — не поверил я. — Ты прочитал оба тома?

— Я прочитал вполне достаточно, чтобы понять, в чем суть дела! — ответил он. — Общая сюжетная канва весьма занимательна. Я прочитал завязку, потом ознакомился с развязкой. А все остальное — это лишь наполнение сюжета деталями. Любой литературный подмастерье, набивший руку, может сделать эту работу почти так же хорошо. Ты же знаешь, меня мало занимают подробности».

Он и в самом деле очень быстро усваивал все самое ценное, что содержится в той или иной книге, и сразу же после этого утрачивал к ней всякий интерес, переключаясь на что-то новое. Смакование мельчайших деталей, удовольствие от того или иного пассажа — это не для Валери. Пожалуй, его девизом могли бы стать слова: «Искусство не стоит на месте» (*Ars non stagnat*). При этом любое произведение искусства он оценивал прежде всего с точки зрения его неповторимости. «Зачем повторять то, — размышлял он, — что уже однажды было сделано, и сделано на уровне совершенства?»

И вот, набив руку на упражнениях типа «Юной Парки», Валери двинулся вперед, создавая один за другим свои новые шедевры — совершенные по форме и духу великие поэмы. Он постоянно шел вперед и все время был впереди. И при этом считал для себя постыдным скрывать от товарищей по перу свои находки, он не прятал от них даже исправлений или черновых набросков, позволяя всем без устали потом повторять его стихи и книги или создавать подражания им, в которых никто из них так и не продвинулся ни на шаг вперед.

По правде говоря, он всегда относился к литературе с некоторым презрением, особенно к романам. Наверное, это было следствием его натуры: Валери мало интересовали люди, во всяком случае, как отдельные личности. И он всегда избегал (боюсь использовать не совсем точное слово) того, что мы называем «сочувствием», хотя это вовсе не значит, что Валери не был способен на любовь к людям. Вовсе нет! Просто Поль Валери не допускал, чтобы мысли и чувства других людей, подобно инфекции, проникали бы в его интеллектуальные владения и заражали бы его собственные мысли и чувства. Не это ли имел в виду Ларошфуко, когда писал: «Я мало подвержен чувству жалости, а хотелось, чтобы его у меня вообще не было»?

А в итоге, можно по пальцам пересчитать литературные произведения, вызывавшие восхищение у Валери. С годами его критическое отношение к изящной словесности лишь усилилось, а его оценки становились все более и более резкими и нетерпимыми. К примеру, я был поражен тем, что от его восхищения Стендалем, которое он питал к нему в юности, с возрастом не осталось и следа. Он лишь с улыбкой заявлял мне: «Мне не интересны его чувства и мне не нужны его переживания. Пусть он научит меня своему мастерству». А на склоне лет он вообще сделал парадоксальное заявление, что ему лично ближе стиль

Казановы или Ретифа де Ла Бретонна. Наверное, по этой же причине он мало читал: он не испытывал ни малейшей потребности подпитываться чужими мыслями для того, чтобы размышлять самому.

Однако уверен, его восхищение Малларме осталось незыблемым. Он всегда видел в нем предтечу и наставника, хотя, как мне кажется, сам довольно быстро обогнал своего учителя. А еще Валери был одним из самых верных и преданных друзей. Он вполне мог бы повторить вслед за Монтескье: «Я влюблен в дружбу».

Дружба, но без излишних сентиментальных излияний или бурного проявления чувств. И тем не менее все его близкие друзья имели множество возможностей убедиться в его верности и глубине сердечной привязанности к ним. И это при его-то сдержанности. Думаю, мне бы здорово досталось от Поля, узнай он, как я расписываю его умение дружить. А между тем он, с его репутацией записного циника, был способен на глубочайшую нежность, простую человеческую доброту и сердечное участие по отношению к тем, к кому был привязан. Сейчас, когда Валери уже больше нет с нами, я вправе поделиться с читающей публикой вот таким эпизодом из его биографии. Вскоре после смерти Малларме он пришел ко мне и сказал: «Знаешь, ведутся разговоры о том, что следует соорудить Малларме памятник. Дело нужное. Наверное, скоро и в газетах будут опубликованы счета, на которые можно будет пересылать свои пожертвования на памятник. Но ведь Малларме оставил после себя жену и дочь. И они по-прежнему живут в квартире, где все мы так часто бывали. А за нее, между прочим, надо платить. Но как? Судя по всему, это никого не волнует. Мне одному не под силу потянуть такие расходы, вот я и пришел к тебе за поддержкой и помощью. Только прошу, не надо никому рассказывать об этом, ладно?»

Всю свою жизнь Валери был стеснен в средствах и всю жизнь боялся остаться без денег. Возможно, частично и этим можно объяснить его неуемное желание оказывать всевозможные услуги всем, кто бы ни просил его об этом. Бесконечная череда каких-то поручений, просьб, ходатайств и прочих дел, которыми он постоянно занимался. Немудрено, что в его творческом наследии осталось так много предисловий и обращений. «Люди, кажется, не хотят понять и не верят мне, — писал он позже, — что большая часть из того, что мною написано, *написано в ответ на чью-то просьбу* или в силу сложившихся обстоятельств. Если бы не внешняя необходимость и не постоянные просьбы, то ничего бы этого вообще не существовало».

Огромное количество обязательств, которые он добровольно взваливал на себя, утомляли и истощали его организм. Порой ему просто хотелось стряхнуть с себя всех этих паразитов и прилипал и дать себе хотя бы короткую передышку. «В конце концов, все эти милые и в высшей степени обходительные люди меня просто доконают, — признался он мне как-то раз. — Знаешь, какую эпитафию следует высечь на моей могиле? «Здесь покоится прах Поля Валери, которого замучили до смерти его просители».

Но факт остается фактом: многие лучшие страницы его произведений появились на свет именно таким образом. Вот почему ни в коем случае нельзя отбрасывать в сторону ни единой строки из того, что было им написано при жизни. Погружаясь в кладези накопленных интеллектуальных богатств, он со щедростью разбрасывал их в разные

стороны, словно сияющие на солнце брызги фонтана. Впрочем, оценить все великолепие того, что выходило из-под его пера, могли не многие. Валери писал для избранных. Его книги никогда не становились бестселлерами. Глубокий смысл, заключенный в них, могла по достоинству оценить лишь элитарная публика. Да, наверное, и не нужно было стремиться к тому, чтобы его идеями овладевали, так сказать, массы. Ибо тогда с Валери могло бы случиться то, что произошло с Ницше. Вместо того чтобы воодушевиться и воспрять духом, читатели, не понявшие глубинной сути его рассуждений, могли бы попросту сбиться с пути и заблудиться в поисках истины.

Очень скоро Валери стал известен, и не только во Франции. Сесиль Родс, услышав лестные отзывы о Валери, пригласил его, тогда еще совсем молодого человека, в Лондон, поручив ему выполнение нескольких очень важных секретных миссий. Поль, связанный обязательствами по сохранению тайны, да к тому же и не склонный распространяться о себе, предпочитал обходить молчанием эту страницу своей биографии. И лишь весьма ограниченный круг близких ему людей был посвящен в историю его приключений, сопряженных с выполнением задания. Вот такой эпизод во внешне небогатой событиями жизни Поля Валери. По возвращении из Лондона, где секретные поручения Родса задержали его на несколько недель, он рассказал мне довольно любопытную историю (правда, я уже плохо помню все подробности) о том, в каких необычных условиях его содержали все это время. Но при этом он ни словом не обмолвился о самой работе: клятва хранить молчание соблюдалась им свято. Из всего, что я помню, сохранились вот такие детали. По приезде в Англию его встретил человек, имени которого Поль так никогда и не узнал. Этот человек привез его в Лондон и поселил на какой-то квартире, которая была полностью изолирована от окружающего мира. Все то время, что он работал в Англии, ему не разрешалось выходить на улицу и контактировать с кем бы то ни было. К нему был приставлен слуга, глухонемой или притворявшийся таковым. Этот человек молча приносил ему еду и так же молча удалялся, даже не делая попытки раскрыть рот.

Такое времяпрепровождение очень смахивало на тюремное заключение, хотя и в очень комфортных условиях. И оно продлилось до тех пор, пока Валери не закончил порученную ему работу. А потом его снова отвезли в порт, и все тот же незнакомец посадил Валери на судно и отправил домой, где вся эта невероятная история по прошествии времени вообще стала казаться сном.

Некоторые журналисты впоследствии утверждали, что в 1900 году Валери поступил на службу в информационное агентство Гавас и трудился там достаточно долго. Не совсем так! На самом деле он поступил на службу к месье Лебе, основателю и владельцу этого известного агентства, в качестве его личного секретаря и помощника. Ответственная должность, особенно если учесть деликатность и конфиденциальность многих выполняемых им поручений. Однако на этом поприще Валери мог в полной мере продемонстрировать свою дальновидность и проницательность, а также умение улаживать самые сложные политические, дипломатические и финансовые вопросы. А если присовокупить к этому еще и его твердость и однозначность в оценках, его неподкупность, такт, обходительные манеры, остроту восприятия, то более идеальной кандидатуры на такую должность и не придумаешь.

Он был по-своему очень привязан к старику и всегда говорил о нем с особым почтением. Месье Лебе страдал тяжким недугом, нечто вроде рассеянного склероза, что мешало ему свободно передвигаться и контролировать свои движения. Когда его кто-то навещал и он не мог протянуть для приветствия трясущуюся руку, то говорил гостю: «Пожалуйста, прижмите мою руку своей!» Обычно он сидел в огромном кресле и слушал, как Валери читает ему вслух свежие газеты или проповеди Бурдалу, которые месье Лебе предпочитал проповедям Жака Боссюэ. Но Валери признавался мне по секрету, что зачастую пропускал целые страницы из их наставлений. Так он проработал несколько лет. Бесспорно, ежедневное общение с этим умным и даже мудрым стариком наложило свой отпечаток на Валери. Он многому у него научился и многое узнал, выполняя разного рода деликатные поручения, что, к слову, потребовало от него мобилизации чисто практических качеств его ума. Вместо размышления над абстрактными математическими формулами надо было заниматься решением реальных, зачастую сиюминутных дел. Короче говоря, работа вынудила Валери повернуться лицом к современному миру (к той же газете «Монд», например). И вот что поразительно! Его оценки и суждения оказались настолько дальновидными, я бы даже сказал, пророческими, что они вызывают восхищение и сегодня, спустя много лет после описываемых событий. Пожалуй, никто из его современников так трезво и взвешенно не оценивал ситуацию в тогдашней Европе и во Франции, как это сделал в свое время Поль Валери.

Так, его слова, сказанные в адрес французов, которые он написал в 1927 году, не утратили своей актуальности и в наши дни.

«Франция, несмотря на то, что являет собой клубок нервов и контрастов, самым неожиданным образом именно в них, этих контрастах и противоречиях, черпает и обретает свои силы. Секрет поразительной жизнестойкости нашей страны кроется, скорее всего, именно в этих многочисленных отличиях и несходствах, порой очень значительных, которые таятся внутри самой нации. Французы, несмотря на внешнюю легкомысленность, обладают поистине уникальной стойкостью и выносливостью. К тому же, внешняя куртуазность и любезность нравов во Франции самым тесным образом переплетаются с весьма критическим отношением французов ко всему происходящему. Можно сказать, что в любом французе дремлет критик. Возможно, Франция — единственная страна в мире, где насмешка может моментально уничтожить и тебя, и твою репутацию. В историческом плане можно привести массу примеров, когда правительства низвергались и уходили в небытие именно благодаря насмешке. Ну, а что касается удачной остроты, то в глазах широкой публики меткой реплики по адресу кого бы то ни было достаточно для того, чтобы безвозвратно и навсегда погубить репутацию любого, даже самого высокопоставленного лица. *С другой стороны, в характере французов наблюдается все же некоторая расхлябанность, которая, впрочем, мгновенно сменяется, особенно если того требуют обстоятельства, приверженностью самой строгой дисциплине. Случается, что вся нация объединяется именно в тот момент, когда все вокруг только и ждут от нее разброда и шатаний*».

Однако вернемся к творчеству Валери. Следует сказать, что прежде чем погрузиться в долгое молчание, он все же опубликовал две работы.

Причем почти одновременно, одну за другой. Это — эссе «Введение в систему Леонардо да Винчи» (1894) и изумительный философский трактат «Вечер с господином Тэстом» (1895). Это совершеннейшее по форме и содержанию произведение, не имеющее аналогов ни в мировой литературе, ни даже в языке других народов, вызывает не просто уважение, но уже благоговейное почтение к самому Валери.

«Введение в систему Леонардо да Винчи» понадобилось ему для того, чтобы раскрыть нам свой метод. Образ Леонардо стал для Валери неким подобием полумистического алиби, удостоверяющего его систему ценностей и его эстетические взгляды. Отношение к людям, к материальным предметам окружающего мира, к идеям, наконец, отношение к самой жизни — во всем этом он остался верен себе до своего конца. Незадолго до смерти Поль сказал мне об этом так (цитирую его слова): «Принципиальные темы, над которыми я размышлял всю свою жизнь, остались прежними. И они — НЕПОКОЛЕБИМЫ». Именно так он и произнес последнее слово — с пиететом, выделяя каждую гласную.

. . . .

Однако не будем заблуждаться. Месье Тэст — это все же не сам Поль Валери. Этот образ — всего лишь проекция, это — Валери, но уже без мальчишеского азарта, поэтического юмора, обворожительного изящества, словом, всего того, что мы так любили в нем. Скорее всего, сам Поль всю суету вокруг себя и своего имени воспринимал как обычное праздное любопытство. Он не был тщеславен, а потому, если вся эта возня и шумиха не досаждала ему, он наблюдал за происходящим с тем взрослым умилением, с которым мы обычно взираем на пустяшные детские игры. Помню, в юности он с лихостью заправского кукловода управлял Петрушкой и Коломбиной, разыгрывая перед своими близкими настоящие кукольные представления. Что ж, позднее он точно так же ловко манипулировал светскими разговорами, выстраивая изящные мизансцены из комедии нравов, разыгрываемой в парижских гостиных. Для него все происходящее действительно было всего лишь игрой, но он упивался ею, как самый настоящий ребенок: мало слушал, много говорил сам, ослеплял присутствующих водопадом своего остроумия и совершенно по-детски наслаждался успехом; но еще больше тем, как просто он ему достается. Даже среди самых близких друзей он никогда не позволял себе, чтобы серьезность рассуждений заслоняла мягкость его характера или влияла на его обходительное отношение к нам.

В этом смысле особенно показательно его «Письмо госпожи Эмили Тэст». Конечно, беллетристика, вымысел чистейшей воды, но с другой стороны, неподражаемое по своему изяществу и деликатности произведение, где математик наконец-то предстал перед нами с обнаженной душой, не побоявшись обнародовать свои самые глубинные чувства и переживания. Вот какие слова он вкладывает в уста мадам Тэст по адресу собственного мужа, ее ужасного, несносного мужа: «Думаю, в его идеях слишком много логики». А буквально через несколько абзацев уже утверждается нечто прямо противоположное. Да и кому, как не Валери, было понимать всю смертельную опасность, которую несут с собой иные чересчур строгие и неумолимые в своей правоте авторы? «Я терпеть не могу всяческой недосказанности и неопределенности. Это просто какая-то зараза, постоянный источник особого раздражения, могущий погубить все живое. Потому что жизнь была бы невозможна,

если бы мы отказались принимать во внимание такое обстоятельство, как «*почти достаточно*».

Что ж, в широком смысле слова, вся литература произрастает из того, что *почти достаточно*. И именно там, рядом с *почти достаточно*, мы и барахтаемся всю нашу жизнь. В присутствии Поля я особенно ясно понимал глубинный смысл его слов. Что время от времени не мешало мне приходить в замешательство от сентенций друга, и тогда даже его всегда любезный тон не спасал ситуацию, и мы начинали спор.

Впрочем, он всегда был подчеркнуто уважителен со всеми. Наверное, поэтому, а также в силу его собственного безразличия к вопросам религии, он вполне терпимо относился к религиозному складу ума, но только если речь шла о ком-то другом. Потому что сам Валери категорически отказывался воспринимать веру в какой бы то ни было форме. Особенно негативно он относился к протестантизму, полагая, что протестанты попросту обокрали католицизм, лишили христианство присущего ему изначально очарования, строгой иерархии политической структуры церкви, наконец, практического опыта, накопленного церковью за многие столетия своего существования. Словом, в этом вопросе он оказался по одну сторону баррикад с иезуитами против Паскаля. Но при этом он терпеть не мог религиозной риторики, и его всегда возмущала двусмысленность и завуалированность религиозных проповедей. Он говорил, что поповские слова напоминают ему бумажные ассигнации, не обеспеченные ни единой унцией золота. И эта его мысль вдруг напомнила мне один довольно забавный эпизод из нашей дружбы.

Однажды простуда уложила меня на несколько дней в постель. Поль навестил меня, долго сидел возле кровати, и мы вели пространные беседы. О чем? Если я не ошибаюсь, о христианских добродетелях. Я попытался защитить их и в пылу полемики обронил такое слово, как *самопожертвование*. Поль тут же вскочил с места, отшвырнул стул в сторону и с криком бросился к дверям.

— Скорее! — закричал он. — Несите сюда лед! У него лихорадка! Больной бредит. Он сейчас самопожертвуется!

Вот при таких забавных обстоятельствах был запущен во французский язык новый глагол и новое слово: ‘Il Abnegue’.

Итак, уважительное отношение к людям, но при этом полное отсутствие респекта. Хотя, если подумать хорошенько, то вполне понятно, что уважение — это лишь первый шаг на пути к почитанию, а там уже и рукой подать до благоговения. Но Валери уже успел разобраться в том, сколь вредно благоговейное отношение к чему бы то ни было и как оно мешает нам. «Белый человек обладает качеством, которое позволило ему проторить свой путь на этой земле. Это — отсутствие уважения», — написал однажды Анри Мишо. И Валери, чей цепкий ум тоже всегда стремился проторить свой собственный путь, воспринял эти слова как руководство к действию.

Он категорически терпеть не мог любого проявления лености души и ума. Однажды он со смехом сказал мне (или даже написал?): «Просто поразительно, сколько людей погибает в дорожных авариях только потому, что хотят любой ценой сохранить свой зонтик!» Освободиться от всех препятствий, от всего, что мешает двигаться вперед, — вот какой была его главная цель. И невозможно себе представить более свободный и более независимый в своих суждениях ум, чем ум Поля Валери.

. . . .

Не хотелось бы, чтобы те, кто станет читать мои заметки, обвинили меня в предвзятости или чрезмерном сгущении красок, что часто ставят в укор Достоевскому, Гете или Монтеню. Я совсем не стремлюсь приукрасить образ Валери. Да и трудно представить себе двух более разных людей, чем мы с ним. Даже склад моего ума совершенно противоположен уму Валери. Я, как говаривал когда-то Гете, «совершенно естественным образом склонен к благоговейному почитанию», в то время как ум Валери — это полное неверие в бога и отсутствие всякого благочестия, полное отрицание всех устоявшихся верований, абсолютный скепсис (впрочем, его скептицизм основан на постоянных сомнениях и поисках). Валери подвергал сомнению все устоявшиеся и признанные истины, независимо от того, кто их высказывает. Ему не требовалось чье-то постороннее одобрение, ибо в своих суждениях он старался быть максимально свободным от всяких человеческих слабостей, будь то проявление мелкого тщеславия или праздного любопытства, ненужный авантюризм, неоправданное промедление или пустое растрачивание времени на всякую сентиментальную дребедень. Он говорил решительное «Нет!» всему, что так или иначе отвлекало его от неустанных поисков. Я же, несмотря на то, что во многом был схож с ним и разделял его взгляды, тем не менее часто сомневался, и главным образом в самом себе. Казалось, он даже не замечал, какую власть имеет на другими. Я, связанный с ним узами дружбы, какое-то время сопротивлялся, пытался противостоять этому влиянию, но сопротивление мое было жалким и немощным и очень быстро оказалось смятым. Впрочем, на протяжении всей нашей дружбы я никогда не ставил под сомнение его правоту. Я знал, что он всегда был прав. Иногда его насмешки задевали меня, ранили мое самолюбие, но даже в такие минуты я понимал, что он заслужил свое право вести себя подобным образом, завоевав его в тяжелой и изнурительной борьбе. А потому он разносил все и вся на своем пути, не щадя никого.

В молодые годы я еще не умел иронично пресекать его колкости, но со временем научился. Помню, незадолго до войны мы встретились с ним на одном заседании в радиокомитете. Он сидел рядом со мной за большим столом, крытым зеленым сукном, и когда кто-то из выступавших упомянул Гомера в связи с какой-то радиопередачей, Поль наклонился ко мне и тихо прошептал:

— Ты читал что-нибудь более скучное, чем «Илиада»?

— Да! — с ходу ответил я. — «Песнь о Роланде».

Пожалуй, надо бы было сказать «Юная Парка», но я не рискнул обидеть его так сильно.

С возрастом я стал держаться более уверенно. И если в юности разговоры с Валери повергали меня почти в прострацию и я уходил от него потрясенным до глубины души, то с годами я научился более спокойно относиться к нашим философским спорам. Не то чтобы я воспринимал слова Поля менее серьезно, скорее даже наоборот, но! Я сам стал другим. «Он может уничтожить тебя одним словом, — писала мадам Тэст о своем муже. — У меня такое чувство, что я похожа на треснутый горшок, который мастер безжалостно выбросил на свалку». Пожалуй, в юности я мог бы повторить этот монолог слово в слово, но уже применительно к себе. И далее она говорит: «Он суров, как ангел». Или: «Уже самим фактом собственного существования он ставит под

сомнение то, что рядом с ним могут существовать и другие люди».

Мое восхищение Полем подвергалось тяжким испытаниям и выстояло, несмотря на то, что он наносил ощутимые удары по нашей дружбе. Во-первых, в его глазах все, чем я жил, было мелким и незначительным. Его никогда не интересовало то, что я пишу или что собираюсь написать. Я бы сильно удивился, узнай, что он прочитал хотя бы одну строчку из написанного мною. Если я скажу, что так происходило потому, что он мучился каким-то комплексом неполноценности, то тогда, вольно или невольно, возвеличу самого себя. Просто, видно, такова была его натура, что совсем не мешало ему нежно любить меня и относиться ко мне с таким теплом и участием, что все обиды забывались как-то сами собой.

К примеру, ничто не могло польстить мне больше и ничто так не трогало, как его безусловное доверие к моему литературному вкусу, когда он заходил ко мне, чтобы обсудить какие-то подробности, касающиеся стихов, над которыми трудился. Серьезность, с какой он относился к моим оценкам и суждениям, красноречивее всяких слов говорила о том, как он дорожит нашей дружбой. Да, доверие без грана сомнения было ему чуждо. Да, дружескую откровенность он воспринимал как шокирующее проявление самого обычного эксгибиционизма. Да, ему не нравилось то, что я писал и что считал своим долгом писать. Но зато он высоко ценил мое знание того, как именно следует писать, и с меня этого было вполне достаточно. Разумеется, здесь я веду речь не о молодом Валери, а о том, кем он стал впоследствии. Вернее, кем он сам себя сделал.

Помню, как удивило меня, когда в один прекрасный день он похвалил какую-то мою статью, которой, если честно, я не придал никакого значения. Статья называлась «Разговор с немцем» и появилась вскоре после Второй мировой войны.

— Но это же самый обычный репортаж, не более того! — удивился я.

— Какая разница! — возмутился Поль. — Главное — что это совершенно по форме.

Насколько я помню, это единственный раз, когда я удостоился от Поля похвалы. Разве что, быть может, этот портрет, который я сейчас пытаюсь воссоздать по памяти, тоже бы пришелся ему по душе.

. . . .

Сколь бы восхитительными ни были поэтические творения Поля Валери, лично я все же отдаю предпочтение его прозе. Уверен, многие страницы, вышедшие из-под его пера, останутся среди самых совершенных памятников мировой литературы. К этой своей оценке присовокуплю еще такое замечание: немного я знаю французских писателей, а пожалуй, и не знаю вообще никого (в Германии — это Гете), которые в равной степени преуспели бы и в поэзии, и в прозе. Что же касается меня, то я снова повторю: именно проза Валери оказала на меня самое сильное воздействие, и именно с ней я связываю свои надежды на будущее творческого наследия Валери. Причем меня мало волнует тот факт, что у Валери появилось большое количество эпигонов и многие писатели буквально идут по его следам, заимствуя его стиль и поэтический язык, и таким образом набивают себе руку, имитируя творческую манеру Поля Валери даже в мелочах. Такой крен в сторону лицензированного подражательства можно даже приветствовать.

Но есть еще один аспект, касающийся влияния творческого наследия Валери, он более завуалированный, не так заметен, его роль проявляется в совершенно иной плоскости, и тем не менее он тоже красноречиво свидетельствует о все более возрастающем влиянии Валери на современную культуру. Этот страстный вольнодумец и богохульник, прежде всего, является для всех нас светочем свободолюбия. Никто, даже сам Вольтер, не сделал для нашего духовного раскрепощения больше, чем это сделал Поль Валери. Это он отучил нас от слепой веры и религиозных предрассудков, не оставив камня на камне от наших культов и богов. И вот сегодня, когда Франция еще не залечила свои кровоточащие раны, нанесенные ей войной, и уже почти готова снова броситься в объятия религии, ища в ней свое спасение и утешение (как это не раз бывало в прошлом, например, в конце эпохи Людовика XIV, когда в стране воцарилась апатия, вызванная бесконечными военными поражениями, когда снова стал набирать мощь религиозный фанатизм, не встречающий отпора со стороны дряхлеющего короля, что вынудило замолчать даже Расина), так вот, на фоне всех этих внешних событий творческое наследие Валери приобретает особую важность. Его мужественный голос, его твердость, его умение противостоять всяческому мракобесию и бороться до конца так выгодно отличают его от большинства людей, всегда готовых склониться и смириться. «Нет!» — снова и снова повторяет этот упрямец, в который раз демонстрируя несгибаемость характера и раскрепощенность своего ума.

. . . .

«Скажи, как получается, — обронил он однажды в разговоре со мной, — что люди так быстро самоуспокаиваются? И почему они все привыкли довольствоваться столь ничтожно малым?»

Перевод с английского Зинаиды Красиной.





ГЮНТЕР КУНЕРТ

Ковчег по телефону

Мир поэзии Гюнтера Кунерта — это в первую очередь свободный мир, пространство, пронизанное остротой живого, пытливого ума и силой духа. Это мысли человека, много думающего, сомневающегося, ищущего, не боящегося выражать свое мнение, человека по-настоящему свободного.

Автор многое испытал за свою жизнь. Он родился в 1929 году в Берлине. Сын матери-еврейки, Гюнтер был отчислен из начальной школы сразу, как только вступили в силу национал-социалистические расовые законы. После Второй мировой войны в течение пяти семестров изучал графику в Восточном Берлине. В 1948-м вступил в Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ), познакомился с Бертольдом Брехтом и Йоганнесом Робертом Бехером. В 1976 году одним из первых подписал петицию против лишения гражданства Вольфа Бирмана[1] и вскоре был лишен членства в СЕПГ. С 1979 года живет в ФРГ.

Ярый противник национал-социализма, Гюнтер Кунерт был сторонником социалистического режима, считая его гуманным и справедливым. Однако жизнь в ГДР заставила писателя разочароваться в этой утопии. Живя в ФРГ, он замечает недостатки и несовершенства капитализма, видит проблемы, возникшие после объединения Германии. Все это отражается в его стихотворениях. Одна из тем его творчества — критика доверчивого отношения к прогрессу и хищнической эксплуатации окружающей среды.

Гюнтер Кунерт по праву считается одним из самых разносторонних современных художников слова. Он пишет не только стихи, но и прозу, эссе, автобиографические заметки, афоризмы, сатиры, сказки, научную фантастику, радиопьесы, сценарии, драмы. По его убеждению, литературе принадлежит центральное место в сфере культуры: только она может развивать у человека способность к мышлению, которое находится «под угрозой варваризации, ослабления и манипулирования», а также формированию фантазии. Задача автора, считает мастер, состоит в том, чтобы быть «аутентичным голосом в хаосе речей современности». Не должно, напоминает он, забывать и о том, что «литература во всех странах является индикатором степени имеющейся свободы или несвободы».

Писатель часто говорит, что пишет для себя и потерял надежду на то, что сможет что-то изменить своими текстами. Однако огромное количество его читателей свидетельствует о том, что его слова находят отклик в душах людей и что-то в этом мире меняется к лучшему.

---

[1] Вольф Бирман — немецкий бард, поэт, в 1970-х годах был одним из самых известных диссидентов в ГДР. *Здесь и далее примечания переводчика.*

Ученик чародея

Вода из крана
в каждом доме. Ванны оптом.
Пылесосы когда-то были метлами.
Автомобили — прежние телеги. Самолеты —
мечты вчерашнего дня.
И так без конца: абракадабра.
Ты совершил святотатство и теперь должен
летать вокруг Земли и оглашать улицы
грохотом. Ты должен фильтровать пыль
и ежедневно приступать к омовению ног,
потому что тебе ничего лучшего
не приходит в голову.
Кто слишком много старается,
тот получает обратный результат,
считал Гете.

Фокусник

Он позвал меня на сцену
и вытащил у меня из головы
все книги. Затем он использовал
мое лицо как маску. А мои руки
для приветствий, рукопожатий и воровства.
Он снял с меня
кожу и вывернул внутренности
наружу, органический гобелен.
В заключение он поместил меня
в свой цилиндр, и мы
покинули представление
под гром аплодисментов.

Читая Овидия

Под каждым камнем
покоится тайна. Охраняемая
мокрицами, потомками
наших предков.

Удачная метаморфоза, —
о ней умолчал Овидий. Со временем
боги тоже уменьшились.
Некоторые показываются сегодня
величиной в пядь. Потерянно
они гуляют по экранам
на запад и восток, но все еще
выводят из равновесия
сложную систему мира.

Презирают тебя и меня,
хранители тайн,
их не знающие. Серые и
безропотные под каменной тишиной.

Последствия красоты

Наши афродиты задумчиво сидят
в недоступных покоях. Вероятно,
высеченные из камня. Или
вылепленные из глины.
Близкие нашим желаниям
благодаря фотографиям
безудержных археологов
архаические существа, почти безликие,
когда они сидят напротив меня.
В трамвае или где-то еще. Одна нога
на другой, которая, однако,
принадлежит не мне.
В Эфесе я встретил
плод мужских мечтаний:
множество грудей и молчащий рот.

Но потом вмешался этот Винкельман[1]
и анестезировал нас
своей скучной эстетикой.

Морской берег

Обвалы в форме лестницы.
Смешанные камни
непроходимы. Черные скалы.
Летаргическое море.
Сюда больше не придет
бутылочная почта. Ни миссионер с Богом
в водонепроницаемом рюкзаке,
ни первооткрыватель,
который хочет изучить мою наготу.
Ни кит, ни Иона не проплывет мимо.
Ни армада на горизонте.

Поэтому я шлю тебе,
мой дорогой некто,
из созревшей для открытки вечности
на прощание долгие приветы.

[1] Иоганн Иоахим Винкельман (1717—1768) — немецкий ученый, историк, теоретик искусства.

Наше метеорологическое состояние

Буря и дождь. Гроза и град.
Бомбардировка. Природа
посылает вперед легкую артиллерию,
прежде чем она набросится на нас
беспощадно, подобно нам самим.
В то время как мы
срочно будет вызывать по телефону
ковчег.

В саду

Под кустами
я ползаю взад и вперед. Неистребима
сорная трава. Кроты
выносят осколки прошлого
на свет. Покрытый темно-синей глазурью
кусок кафеля:
мчащийся всадник
в седле задом наперед,
лицо обращено назад.
Запад разбрасывает
свои символы щедро
повсюду.
Даже среди слепых.

Подобно Богу

В детстве
я увидел Вселенную.
Она была чрезвычайно
мала и двигалась
в луче света,
который гардина впускала в комнату.
Бесчисленные миры поднимались,
кружились и опускались. И я
вдохнул свое дыхание
в это кажущееся изобилие,
как Бог
поступил бы на моем месте.

Вступление и перевод с немецкого
Елены Семеновой.

«Всегда же со мною твой образ...»*

Переписка Максима Лужанина и Евгении Пфляумбаум

7.10.1938. Москва.

Садись, поговори со мной. Отдохни от своих мыслей. Цветут липы. Липень. Месяцу немного скучновато смотреть на землю, на эту простую зеленую скамью Гоголевского бульвара. Он стар и чрезмерно заражен скепсисом, гораздо больше, чем эти старые деревья и Гоголь, который для ребят, устраивающих веселые игры у подножия, не больше чем удобная игрушка.

Мне трудно говорить именно потому, что слова глохнут от страшной боли твоей, против которой, вернее, против ширины ее, нет как будто возражений, нет достаточно ярких и прямых опровержений возможности ее существования.

Июль начинается таким, как помнит его детство: солнечным, густым, пахучим, ярким. Теперь наливается рожь, и девушки гадают на колосьях о любимых. Очень хорошо пробежаться босыми ногами по росному саду, посидеть вечером с пряным запахом опьяняющих копен сена. Где-то уже повернулись к солнцу краснеющими бочками вишни, и у изб пахнет мятой и огуречной зеленью. В это время деревни спят — сон спокоен, тих, радостен: день был полон усталостью и трудом. Жизнь дышит спокойно, ровно. Если теперь пройти к лугам за старыми вербами — выдаст себя негромким журчанием река. В темных заводях тихо. Плещутся тяжелые сомы — завтра будет ведро. Все это можно почувствовать и на Гоголевском бульваре. Мысли, несколько несвойственные москвичу, в меру одинокому, в меру довольному и в меру работающему. Работа — это хорошо. Будь она несколько веселее, скажем, если бы случались разъезды — было бы совсем недурно. Это — сегодня. А завтра? Завтра определяется чувством, сознанием необходимости существования, оправдываемого тем, что работа твоя «песчинки малой» сливается в гармоничное целое с усилиями строящегося и возводящего мир коллектива.

Да здравствует завтра! Жизнь страны такова, что завтра лучше и шире, чем сегодня. Это и есть в каждом дне роста, перехода в новое.

Слова твои. Отрывки мыслей. И желания. Очень ярко и очень больно. Я многого не понимаю. Это не нужно тебе. Но я знаю, что ты выздоравливаешь. Я редко тебя вижу, редко говорю с тобой. Даже через провода. Почему? Бегу, боюсь боли для себя? Нет. Пока будет твоя боль, мне будет больно, даже если ты не покажешь ее. Хорошо знаю боль и потому чувствую минуты, когда тебе тяжело. Видно, даже тогда, когда тебе просто нужно чье-нибудь присутствие, безотносительно, как ты говоришь, — даже тогда я самый нежелательный собеседник. Это явствует из нашего «кухонного» разговора. Поэтому лучше говорить через бумагу: она отражает то, что есть сегодня, не напоминая ни обширного тяжелого, ни крупинок хорошего.

Да, ты выздоравливаешь. В листах, исписанных твоею рукою, я чувствую это. И нужно выздороветь физически. Тогда все, что кажется сейчас недостижимым,

* Окончание. Начало в № 6, 2011 г.

незаконным, «ограниченным координатами», как говоришь, встанет перед тобой единственно настоящим, и человек, который будет около тебя, как ты хочешь, будет дорогим.

Я говорил тебе о своем состоянии. Оно пришло не просто, я добился прежде всего здоровья, упорным лечением, наблюдением, я сбросил все мучавшие недуги, и тогда душу, оказалось, легче привести в порядок. Еще несколько месяцев на ремонт легких, и я буду совсем здоров.

Говоря откровенно, без помощи людской я не обошелся. Но я не искал ее. Просто есть люди, хорошо понимающие и правильно реагирующие на меня, хотя бы вниманием. Ты этого, конечно, не лишена. И цветы — признак этого внимания — это не похороны. Я рад, что их у тебя много. У меня они не живут, но когда они свежи — можно разговаривать, как с живыми. Это очень яркая частица жизни.

Чаще думай на бумаге. Если сможешь — отдавай мне. Тебе будет легче. Только не молчи. Молчание черно и безрадостно. Всякое слово ведет к жизни: хорошее — прямо, тяжелое — через отрешение. (...)

Доверие. Искренность. Напрасно и в разговоре, и в листах ты думаешь, что я это могу дать всякой женщине. Правильно, я отношусь к этой категории людей несколько внимательнее и лучше, чем другие мои собратья по полу, хотя и не высказываю это в словах, не показываю в поступках. Но пожелать то, что я сказал тебе, — каждой — не смогу. Я хочу тебе здоровья и радости более настойчиво, чем себе. Они тебе нужнее, ты глубже, шире, полнее воспринимаешь все, и потому тебе больнее.

В моем понимании тебя, в отношении к тебе было много острых углов и граней, резких переходов к самым неоднородным чувствам. Я их выплакал последней слезой в тот день, когда вместе уходили из разрушенной комнаты, чтобы никогда вместе не вернуться в нее. Ведь прожито вместе было так много, что даже самые тяжелые слова, которые говорились, казались маленькими, не могущими оставить следа. А когда слова уже стали реальным фактом, дороги ясно разветвились — упала та последняя слеза. И отношение к тебе стало совсем ясным, до боли четким: где бы Она ни была, как бы Она ко мне ни отнеслась — все равно, ничто не может поколебать хорошего, только хорошего желаю Ей, как и она всю жизнь шла ко мне с хорошим.

Это то, на что я тебе не ответил. Как видишь, никому другому этого сказать нельзя.

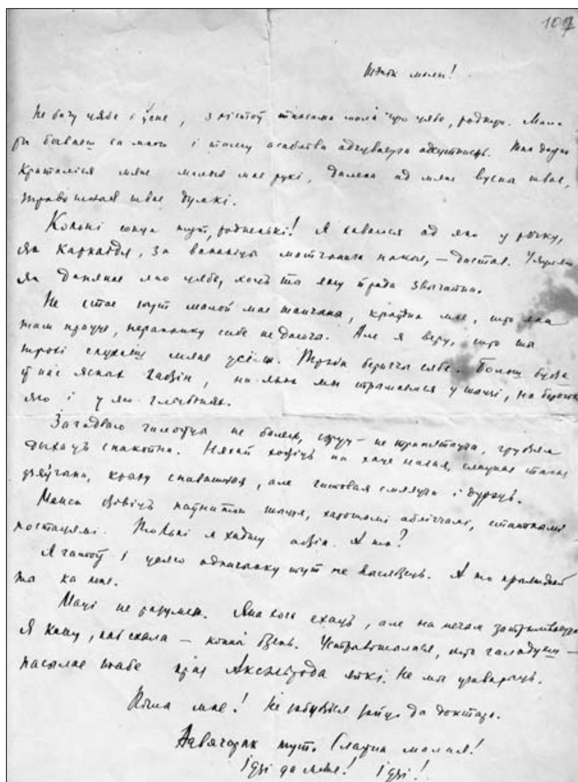
Опять прошла ночь. И бульварная скамья сменилась креслом в моем случайном антиквариате.

Наступающий день лучше вчерашнего. Пусть он даст тебе силу и поможет уйти из одиночества.

Москва еще спит. Человек с этим замечательным словом не может быть одиноким. Это так! Проснись и посмотри за окошко:

Как много солнца! Как хороша жизнь!

(Подпись)



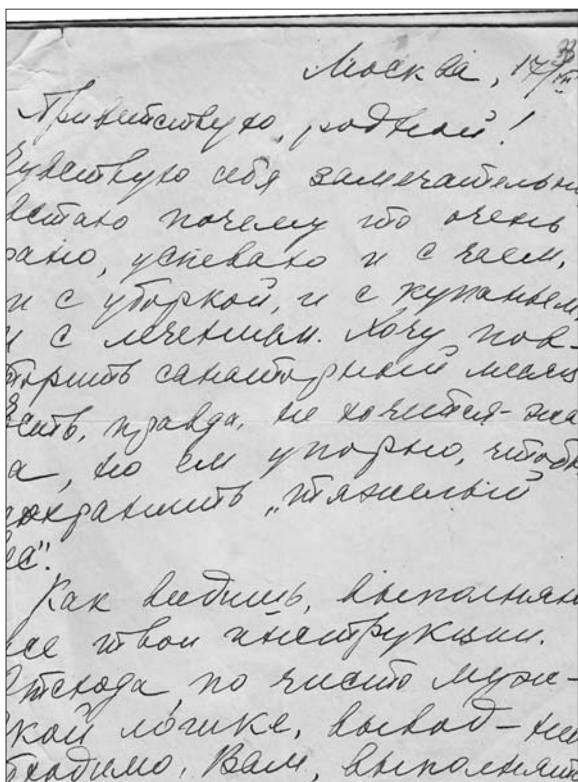
Письмо Максима Лужанина.

Вагон. 9 ч. 30 м.

Боишься, что «может плохо получиться». Пусть получится так, как должно получиться. Я этого «не боюсь».

Если я смотрела только на тебя из окна вот этого вагона, в котором мне больно уже в тысячный раз, ты думаешь, ты смеешь думать, что в том взгляде было желание — больше — боязливая надежда найти оправдание? (Это так — ты не ответил тем взглядом, который нужен был мне.)

Нет, мне только страстно хотелось снять с твоих, еще неизменно близких мне глаз эту пелену боли. Я слишком хорошо знаю ее цвет и глубину, я не снимала ее в течение трех первых лет «нашего». Я захлебывалась в этой боли. Это страшно даже в воспоминании. Хочешь, я скажу тебе — я любила тебя так широко, что не хватало дыхания, и каждая твоя даже незначащая улыбка, обращенная не ко мне, каждый твой взгляд или мысль в сторону прошлого ломали у меня сердце, желания, жизнь. И все же я знала, что это так ярко, что близко к настоящему счастью, вернее — я называла это счастьем.


Москва, 17/III
Приветствую, родной!
увствую себя замечательн
стаю почему то очень
рано, успеваю и с чаем,
и с уборкой, и с купанием,
и с лечением. Хочу пов-
торить санаторный месяц
есть, правда, не хочется- на
а, но ем упорно, чтобы
сохранить „тяжелый
вес".
Как видишь, выполняю
все твои инструкции.
Отсюда по чисто муж-
ской логике, вывод- не
обходимо, Вам, выполнять

Письмо Евгении Пфляумбаум.

Я знала и тогда, как знаю и теперь, — такое неповторимо.

Я ни в чем не обвиняю тебя. Возможно, мы сломали эту большую ценность совместными усилиями. Но и теперь я не хочу для тебя боли, мне тревожно за тебя всегда.

Ты скажешь, ты подумаешь — зачем же я причиняю эту боль, зачем «мана»?

Мне для самой себя нечего скрывать. Я говорила тебе неоднократно, как мало мне того, как скупо мне дано от яркого, от нужного мне, от необходимого для того, чтобы хоть в какой-нибудь степени оправдать передвижения изо дня в день.

Ты очень изменился, Аль мой. Ты внес в мою жизнь новую «мелочную» боль, которую нельзя оправдать стихийностью тех первых лет, которая, наоборот, опровергает, ломает, низводит к обычному, заурядному это неповторимое. Я не всегда — или даже не слишком часто, реагировала, по-женски непоследовательно, неумно, на него, потом стала спокойнее, тише, прывыкла, думала сделать все это приемлемым для себя. Не вышло. (…) Надламывала жизнь встречных, не буквально — встречных. Ты много молчал. О чем думал ты — я не знала. Ожесточенность росла. Я внутренне осмысливала десятки раз, взвешенно, проанализированно знала, что я права, что ты не дорожишь мной, нашим, что я для тебя только не совсем удачная, беспокойная жена, не внесшая ни уюта, ни ребячьего смеха в твои дни. Ты не слышал боли в моих словах с этим содержанием. Я уходила все дальше от тебя, никуда, ни к кому, в себя, в свое одиночество без слез. Я ожесточилась.

Одно из чувств, внушенных мною в это время, оказалось неожиданно глубоким, дружеским. Я не верила в это, не верю и теперь, вернее, потому что не нужно оно мне, как чувство. Но когда я увидела тут ту же пелену боли, с которой жила я

когда-то даже во сне, — я не могла отказать человеку в простом дружеском слове, по-честному оговорив бесперспективность мыслей обо мне как о женщине.

Я не буду говорить о дикости последних дней. Я скажу о «мане». Что думаешь ты, Алесь? Цель ее? Сохранить мужа? Ты согласишься, что такая мысль абсурдна. Обмануть самое себя во внутреннем. Нет. Я проверила себя.

Только избавить тебя от необоснованной боли, от ненужной, никому ненужной тревоги.

Напиши мне, может быть, все это опять не так. Я не хочу твоей боли даже в качестве компенсации.

Женя.

1938. Минск, утро.

Завидую твоему созерцательному состоянию. Приветствую тебя с ним, если оно подлинное. Не совсем хочу для себя такого. Не думаю также, что это твое состояние — результат переоценки ценностей. В который раз они переоцениваются?

«Разбившееся» — то же фиксирование твоей биографии; от лица своей вношу поправки — не достигши нужной высоты (не по плечу, очевидно).

Для себя фиксирую новую остроту ожидания твоего слова.

Женя.

Минск. (Без даты. — ***Т. К.***)

Тревожно. Не знаю, чем вызвана тревога. Живу по-прежнему как во сне. Но во сне не живу ничем. Ты молчишь. Что несуществующее ищешь ты?

И чем больше нарушено твое спокойствие, тем дороже оно.

Кто-то должен потерять ожесточение в этой борьбе. Женщина? Не знаю еще.

Сегодня есть солнце — случайное, неустойчивое. Нужно удержать его до отъезда.

Не туда я приехала.

Женя.

(Без даты. Рукой писателя уже позже помечено 38—39. — ***Т. К.***)

Очень ждал вестей от тебя, хотел написать что-то очень нужное, хорошее, правдивое и о себе, и о тебе, а сейчас потерялся. Может быть, напряженное твое письмо, может быть, сам я сейчас нехорош. С утра у меня было 37,3, но работать пошел. Не могу лежать. Горло болит, и еще какая-то дрянь!

Обстановка твоя меня устраивает, но состояние пугает. Напиши, от чего тебя лечат, сколько ты весишь?

Радуйся солнцу, Жень! Пройди по росе за ним, за утром, в лес, во мрак, в радость пробуждения. Сделай это и за меня.

Шлю тебе книгу.

Напишу снова, это письмо результат очень тяжелой головы. Может, тебе подослать съестного?

Жму твою лапу.

(Подпись)

1.06.1939.

Сразу два письма, и мне хорошо с ними. (...) 29-го мои недуги закончились, и я решил вечер и день отдыхать совсем. Спал в большой комнате с окошком на озеро и тополями, назойливыми, как любящие собачонки. Они стучались днем, стучались вечером, стучались ночью. И я не мог отказать себе в удовольствии, гладил эту свирепую зелень и разговаривал с ними почти как с живыми.

Днем рвал в лесу рябину, ландыши и дикую яблоню. Было очень весело, просто и хорошо, так как цветки на клумбе, как деревья в лесу, и я подумал, что,

очевидно, в самом деле, молодость сердца понятие не возрастное. Кто не умеет работать, тот не понимает отдыха. Не понимал этого и я раньше, а теперь знаю, что мои смешные реакции на пение птиц, на небо, на одуванчик — это законное и нужное. В общем, понемногу впадаю в детство.

Отдохнул, а теперь опять сижу вечерами. (...)

Кажется, ты крепнешь, Жень! Рад, крепко жму тебе руку. Отдыхай за себя и за меня тоже отдохни. А я, кажется, смогу уступить тебе свой месяц. Мне он, видимо, пригодится.

Желаю здоровья!

(Подпись)

26.06. (Год не помечен. — ***Т. К.***).

Дождь становится нудным. Он совсем не похож на тот, который работал, как дровосек у Тихонова. Тот был хороший, молодой дождь, а этот — брюзга, человечишка в футляре, ворчащий на молодость, зелень, на солнце.

Теперь с улыбкой смотрится вслед молодости. Очевидно, потому, что прожита большая половина жизни.

Немного подобрал работу. Жалею вечеров, в которые можно читать или просто дышать воздухом.

Стараюсь отдыхать, и когда выводит из терпения дождь — иду в театр. Кажется, это становится манией. И не пьесы, а игра. Пробую «исполнять». Занятно, но минута перед поднятием занавеса, лак и клей за кулисами, сладковатый запах грима в уборных — все это как трубы для живого коня. Дело доходит до того, что хожу один, даже не в мужской компании.

Это мое безалаберное житие. С 13-го будут свободные утра — в редакции ремонт, и мы «распускаемся» работать по домам. Другой работой загружаться не буду — купаться, ездить в Новый Иерусалим и все.

Хочу думать, что ухудшение твое было случайным и сейчас ты чувствуешь себя лучше.

Вижу тебя здоровой. У нас еще много впереди.

Будь здорова!

Привет твоим соснам, реке, ландышам.

Привет тебе.

15.02.1940. Горький.

Очевидно, летом это очень хорошо.

Четвертый этаж. За широкой дверью — балкон. А внизу Волга. Сегодня — был густой туман — снег исчез, и на пустом Заволжье угадалась стальная полоска воды. Почему-то почувствовал себя в городе совсем на месте. Уверяю тебя, что «литературность» его ни при чем. Значительно позже я вспомнил о Короленко, Шевченко, Горьком. Уже войдя в город, как в давно знакомый дом, где по-своему расставлены шкафы, столы и стулья.

Тебе бы понравились и город, и комната. Из-под зеленой занавески смотрит какая-то лукавая, тоже зеленая звезда. Это сейчас. Три часа тому назад заходило солнце, и в этом окошке оно и выходило. Вопреки всем законам.

С удовольствием слушаю какую-то музыку из Москвы. Смягчается расстояние. Эти слова произнесены случайно. В моей «наоборотной» жизни время и расстояние — факторы усугубляющие. И так как я ступил на опасную дорожку, угрожающую «мелкой философией на глубоких местах», то давай пойдем хотя бы в кино или просто посидим на бережку. Смотря на росу, на ступени, на ветки черных лип, сразу вспоминаю «Грозу». И жду цветного платка на тревожных плечах и перепуганных глаз.

Жаль, что много читалось. Печально приходить к вещам, явлениям, местам с грузом знаний и образов. А не будь их, можешь оказаться гаринским «Гением», самостоятельно додумавшимся до дифференциального счисления.

Куда как нескладна судьба! Что ты думаешь сейчас? После холодного дня горят щеки и болит голова. И, очевидно, — по крайней мере, полдесятка ненужных посетителей.

Уходи от них! Тут у меня тепло, свет мягок. Под ладонью утихнет голова, уймется сердце. Я покараулю твой сон. Спи!

21.08.1941.

Как живешь, почему молчишь? Я уже довольно давно написал тебе, ждал Алексея, но ни письма, ни братца вашего не видать. Живу хорошо, здоровье отличное, погода хороша. Что слышно у тебя? Если Алексей еще не двинулся из Москвы и поедет в нашу часть, пусть захватит для меня кроме табаку мозолин и пиретрум.

Передай привет маме и Владимиру Рафаиловичу. Жму руку Алексею.

5.09.1941.

Спасибо за весточку. На первое письмо ответил двумя открытками. Чувствую себя хорошо, здоров. Давай так и будем продолжать: работать и быть здоровыми. А когда прикончим войну, можно позволить себе грипп или насморк. Я уже писал тебе, что ни денег, ни посылки мне не надо. Разве поедет Алексей, пусть захватит папиросной бумаги и табаку. Пиши о себе.

Привет Алексею и старикам.

2.10.1941.

Привет, Женя!

Прости, что ограничиваюсь открыткой, освобожусь — буду писать длиннющие письма. (...)

(Подпись)

5.10.1941. Москва.

Уже беспокоит молчание и твое, и Алексея.

Ты собирался написать, когда выслать тебе сапоги и свитер. Я все приготовила — есть и бумага, и папиросы. Для ускорения, если останешься на месте, — дай телеграмму — я постараюсь привезти.

В Москве все хорошо — спокойно живется и много работается. Завтра получу часть твоих денег — сколько, не знаю. Напиши, что с ними делать.

Как всегда, здорова.

Как ты? Нужно бы слышать, видеть. Пиши, что еще необходимо прислать. В Москве все есть.

А позвонить ты не можешь? Мой новый номер (...).

Будь здоров, родной. Женя.

8.11.1941.

Второй день идет снег — теперь уж, как видно, надолго — и в костях какая-то ноющая усталость. Заболею? Нет, не сдамся, хотя ходить очень трудно. Сейчас отказался от ужина, кино, концерта, пью горячую воду и пробую высказаться, поговорить с тобой. Разговор этот уже предполагается третий день, но 6-го я был только с дороги, 7-го — мылся, чистился и прочее, а 8-го попробуем говорить, Жень. Как коротка человеческая память! Вот никак не могу вспомнить, что делал я в эти дни год тому назад. Правда, они походили друг на друга, эти дни, и никак на те, которые протекают сейчас. Вот этих, теперешних, дней я никогда уж не забуду, и если когда-нибудь удастся собраться в каком-либо милом помещении, вроде твоей кухни, вспомним, поговорим. За две недели от нашего очень короткого разговора утекло очень много воды, крови и пота. Я прошел по целому ряду русских городов (друг дружки древнее): Покров, Владимир, Суздаль. А теперь Иваново — наш Манчестер. Я не бывал здесь прежде — вообще город симпа-

тичный, театр грандиозен, неплохой трамвай, сносные дома, хотя и не вполне понятной архитектуры. Как вообще и как долго буду здесь, определить трудно, во всяком случае, письмами обменяться успеем.

Да, хотелось бы в Москву, хотя бы ненадолго. В эту самую твою кухню с полным ансамблем лиц, появлявшихся по воскресеньям. Хотелось бы сесть рядом с тобой, долго по-хорошему говорить. Чем-то очень хорошим дохнуло от коротенькой нашей встречи у ворот. С этим дыханием я ушел и унес его сюда, да так вот и живу с ним. Не знаю, как расценивать вот это смятение, да это, пожалуй, не нужно. Хотя все хорошее обычно дорого, но еще лучше, если оно не имеет цены. Ты качаешь головой и говоришь, что я, по обыкновению, все чрезмерно усложняю, путаю и затуманиваю, что ж, еще раз принимаю сей упрек.

Расскажи мне, Жень, о себе. Я давно не слышал тебя. Обидно, что из твоих приездов на мою долю пришлось только пять минут. Пять коротеньких подлых минут.

Пиши мне чаще, больше. Как только вздумаешь.

Жду.

Жму, целую тебе лапу.

(Подпись)

Иваново, почтовый ящик 121, литер 2/8.

1941. (Без даты. — ***Т. К.***)

Недавно писал тебе, но выпала минутка — почему бы не поговорить со старым товарищем.

Как живешь? (...)

Самочувствие несколько улучшилось. Очевидно, у меня было сильное переутомление, несколько дней неполной нагрузки и усиленное питание приводят в норму. Правда, похудел я на 12 кг, но врачи говорят, что это от нормального образа жизни.

Морозы начались рановато. Переношу их мужественно, хотя и чувствую, особенно руки. Неважно, мы мороз выдержим, а вот немец должен подохнуть.

Перелистывал Тарле и нашел, что Наполеон называл немцев подлой нацией, не имеющей права на существование. Хотя это и пересол, но я согласен.

Что делаешь, Жень? Работенка, небось, редко встречается. Миша Пилецкий — начальник цеха на заводе, может быть, он что-нибудь сделает для тебя. Это приятель и неплохой парень (...). Здесь большой спрос на счетных работников — к сожалению, не твое амплуа.

Живу не очень громко, но неплохо.

Передай всем привет.

Жму тебе лапу.

(Подпись)

1941. (Без даты. — ***Т. К.)***

Сегодня театр, вернее, концерт. Самое лучшее — здание, большое, светлое, вроде зала Чайковского. Пожалуй, соврал, хороши были несколько отрывков из Чайковского и Штрауса. От музыки несколько опьянел и даже терпеливо переносил конферансье. Где ты бываешь вечерами? Как театр? Музыка?

В дороге не заметил, что мы с тобой опять постарели на год. Хотел отметить это телеграммой, да не представилось возможности. Может быть, удастся отметить при встрече. (...)

Как идет время! Пять месяцев войны, три месяца я в армии, месяц уже тебя не видел. Когда увижу? Хотелось бы встретиться в Москве. Сколько любви и нежности у меня к этому городу. Самое лучшее — Москва. Если упоминается это золотое Имя — сразу становится тепло и светло.

Так что давай встретимся в Москве. (...)

Ну, желаю добра.

(Подпись)



Максим Лужанин. 1942 г.

9.12.1941.

Ты как-то написала: «Перед глазами проходят жизни — твоя и моя». Это запомнилось мне. И когда я обратился к прошлому, то оказалось, что в жизни (и соответственно в сердце и памяти) — пустой и мутный провал. Ряд пустых бессодержательных лет, заполненных работой до одури, периодами опьянения и какими-то лицами, совершенно не удержавшимися в памяти. Поверхностная, пустая жизнь, желание в чем-то забыть себя, в чем-то сломать, отойти на какие-то запасные пункты.

На природе иногда всплывал освященный островок прошлого, и на нем — ты. И вот в Подольске в эти короткие пять минут, пока мы говорили, далекий этот островок дрогнул и приблизился ко мне вплотную. Показалось, что провала нет. И я был буквально счастлив, прочтя у тебя подобные чувства. Это очевидно то же, о чем сказала мне однажды: «Кажется, мы только приехали в Москву, и ничего не было». Тогда я до этого не дорос. Сожалею.

Жму тебе руку, приветствую самым лучшим, бесконечно родная.

(Подпись)

Уже взялся за конверт, когда принесли твое письмо от 1.12. Ожидание несколько разрядилось. Какая радость этот маленький клочок бумаги в огромном конверте! И ждал его вот уже десять дней. Может быть, твои письма пропадают. Как это ни печально, все же пиши.

Шлю привет всем, и маме, и всему семейству Алексея (...).

13.12.1941.

(...) Сегодня хорошие вести с фронтов. Немец, оказывается, умеет неплохо бегать, еще через некоторое время он наберет темпы бега назад еще более резвые. (...)

20.12.1941.

Давно не писал тебе, да и ты давненько. (...) До Нового года осталась одна декада — начинают увеличиваться дни, хотя по утрам, когда я начинаю день, еще темно. Хожу на лыжах, пренебрегая неудобствами мороза. Надо бы работать еще крепче, чтобы посильнее и побыстрее раздавить гадину, уже начинающую опускать голову и откатываться. Самочувствие вполне приличное, а уши в следующем состоянии: одно — нормальное, а другое немного хромает, но его еще подремонтируют, и я буду слышать совсем хорошо. (...)

В письме ты писала о желании приехать. Предостерегаю еще раз — воздержись. Дорога очень трудна, денег у тебя нет, приюта по приезде также. Кроме всего прочего, времени у меня так мало, что мы можем не увидеться или увидеться на час-два. Иногда я бываю свободен в выходные, но это не правило. Учти все это и сиди на месте. (...)

С Новым годом! Письмо придет как раз к этой дате. Будем ждать. Надеяться и по мере сил делать все, чтобы наш Новый год прошел в родных свободных, ярко освещенных городах!

Жму твою руку.

(Подпись)

1942. (Без даты. — ***Т. К.***)

Ровно 12. Здравствуй, Жень, здравствуй! Как бы я хотел сейчас увидеть тебя, родная. Пройти по морозцу, а потом по-хорошему посидеть в тепле с людьми, с винишком. Это такое ясное желание, такое непреодолимое, что я почти явно различаю тебя и совсем близко вижу, хорошую, родную.

Старик (а я опять постарел на год — уже разворачивается мой 33-й год — заметь) вернулся домой и хотел было, почитав Леонова, уснуть, а потом устыдился и пошел с молодежью на еще один вечер. Пока молодежь прихорашивается, я, обнаружив в комнате чернила, решил послать тебе пару слов. Пусть они дойдут до тебя сейчас. Пусть скажут обо всем хорошем, что у меня к тебе, прямо в глаза, без лишних и обходных слов.

Приветствую твою бодрость. (...)

А немцы-то бегут! Видней, какие они непобедимые.

Ну, привет!

1942. (Без даты. — ***Т. К.***)

Родной мой Аль!

А я все ждала телеграммы, чтобы приехать увидеть тебя.

Только сейчас вот позвонили мне от тебя. Я даже толком не знаю кто. Он сообщил мне, что вы движетесь вперед. Может быть, через Москву.

Сразу как-то захолодало вокруг.

Ты ему дал почему-то неправильный телефон, и два дня он не мог дозвониться мне.

Алесь, мой дорогой хлопчик, как нам нужно увидеться.

Я попросила его передать тебе теплые вещи — он считает, что это слишком рано. Ну, хотя бы свитер.

Прости меня за хаос этих строчек. Я как-то растерялась, потому что привыкла к мысли о том, что скоро увижу тебя.

Алесь, я хочу обнять тебя крепко-крепко и никому не отдать — ни нездоровью, ни горю, ни мраку, ни одиночеству, ни чужому человеку.

Женя.

29.01.1942.

Зима меняет одежку. Сегодня вместо сияющей яркости января грязноватое февральское утро. Поддувает ветерок, поддеваю свитерок; луна на ущербе, значит, нужно ждать метелицу. День так и не расстоялся — остался сереньким, нерешительным, выжидающим. Он топтался на одной ноге у дверей магазинов, летел за тяжелыми вороньими крыльями, падал срывающимися с деревьев хлопьями снега. И дымок из труб шел ленивый, совсем не такой, как сутки тому назад. Тогда бодрая струйка поднималась прямо кверху и таяла в голубизне. А вчера вечером ходил на лыжах — впечатление феерии: голубоватый месяц, крупные звезды и зеленый снег. Возвращаться не хотелось. Скольжение захватывало, скорость требовала: еще и еще вперед...

Очень хорошо!

Как живешь, Жень? Мерзнешь? Самая тяжелая половина зимы прошла. Правда, впереди еще ветры и метели, но этого ты не заметишь.

Скоро, очевидно, буду двигаться отсюда. Время. Мои приятели уже много раз побывали в боях, а я все еще не нюхал пороху. Через месяц-два двинусь. Может, тогда удастся заехать в Москву. Вот уж поговорим и вдоволь походим по нашим хорошим улицам: по Арбату, по бульварам, по Тверской...

Жень, хороший мой! Как нужно повидать тебя.

Целую лапу.

(Подпись)

15.02.1942.

Я так много думаю о нашей встрече, что, когда она, наконец, состоится, наверное, не смогу вымолвить и слова. Так вот, Женик. Что мне сделать, чтобы тебе стало хоть немного теплей? Такая злая удалась зима, что вот сейчас не хочет еще сдаваться. А я через пургу, которую начал февраль, вижу проталины с первыми подснежниками. Тороплю весну. Хочу весны яркой, солнечной и радостной, весны освобождения всей нашей страны, весны нашей с тобой встречи. Я уже писал тебе, что в конце марта буду уезжать из Иванова. Думаю, что маршрут мой пройдет через Москву и, само собой разумеется, через Смоленский бульвар или любой пункт, откуда подашь голос. А голос подаешь очень редко. Почему так редко пишешь мне? Ты не смотри на меня. День мой забит так плотно, что вырвать время на открытку и то трудновато, письмо же можно написать только в выходной. Зябнут руки тебе, родная? Дай их мне! Я перецелую их, согрею дыханием, спрячу на груди.

Здоров. И совсем не обморожен. Ты это сочиняешь. Кончик носа уже отошел, отходил его гусиным салом. Увидишь Алексея и стариков — приветствуй.

Пиши.

(Подпись)

24.02.1942.

Кто-то из поэтов сказал, что «чем продолжительней молчание, тем удивительнее речь». Видно, тебе эти строчки пришлись по сердцу, и ты молчишь, молчишь. А я все жду. Жду сегодня, завтра, утром, вечером. Жду слов, надеюсь увидеть, чтобы хоть немножко понять, снова рассмотреть тебя, хорошую, родную.

Покажись мне, Жень, этим февральским вечером, пройди здесь, около меня. Не хочешь? В один из этих дней на улице женская походка напомнила тебя. И захотелось почему-то увидеть тебя в нашей простой русской шинельке. Тебе когда-то нравилась мужская одежонка — мои пиджаки и галстуки, может быть, подошла бы и шинель. Радует приближение весны. На одном из углов от костра, которым отогревали команду, снег протаял до камней, обнажив желтую солому, какую-то труху и мусор. Почему-то это обрадовало, вспомнились строчки: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда».

Растут ли у тебя стихи? За это время у меня появилось сотни две строчек. Правда, прочесть и переписать их я не успеваю, но все же не могу отказаться от того, чтобы отгонять их от себя.

Вот мое житьишко. Здоров. И только ничего не знаю, ничего не слышу от тебя. Почему? Одно время они приходили часто, парами, и мне радостно было смотреть, вдумываться, перечитывать. Впрочем, довольно. Стабилизировалась ли твоя работа?

Очевидно, издательства начинают понемногу оживать. Интересно, как поживает мое. Позвони (...) Алексею Григорьевичу Галдину, передай ему привет, может, у него найдется работа. Парень он добрый. Если по этому номеру не найдешь, звони домой (...). Постарайся найти его, у него всегда бывает работа. Жаль, что не вспомнил об этом раньше.

Будь здорова, Жень! Хороших дней тебе.

(Подпись)

28.02.1942.

Суббота. В этот день, как всегда, разговор с тобой. К сожалению, разговор наподобие телефонного, когда кричишь в трубку и ничего не слышишь в ответ. Думаю, что молчанье твое просто какая-нибудь задержка, случайность, и во всяком случае, не злой умысел с твоей стороны. Однако это слабое утешение нисколько не снижает напряжения, с каким я жду твоих слов. Жду, Жень! Жду, пока пусть придут слова, а потом кто-нибудь из нас постучится в дверь к другому, чтобы, как говоришь ты, никуда больше не уходить.

Читал стихи Мопассана. Первый раз в жизни. Они похожи на рассказы, только ярче, потому что еще короче. Из них узнал, что поцелуи могут стареть,

и это неожиданно не понравилось. Стареть вообще не хочется, поэтому гоню прочь все признаки этой непрошеной гостьи — усталость, лень. Волос седых не видно — волосы стригу коротко.

И опять зову тебя — где ты, отзовись!

Пока не будет в руках листочка с твоими словами — толковое письмо не получится.

Привет.

(Подпись)

1.03.1942.

Жень! Золотой мой Жень! После долгих дней ожидания твои строчки снова лежат передо мной. Теперь можно смотреть на них и говорить с тобою ровнее, спокойнее. Правда, само письмишко не очень спокойное и состояние у тебя весьма незавидное, но пока я по-мальчишечьи, совсем эгоистично, рад этим строчкам, простому присутствию их. Все происходит оттого, что мне сильно нужно повидать тебя. Такого чувства не было давно, хоть и всегда, даже при обычной встрече, ждал тебя напряженно, волнуясь и нервничая. Теперь все это возведено в некоторую степень, а ты должна знать, что я стал значительно ровнее, спокойнее — нервы отдохнули, и я кажусь себе гораздо более сильным. А поэтому не обращай внимания на несколько растрепанные письма: жду твоих слов, жду встречи, жду живого слова от тебя. Вот попаду в Москву, возьму тебя за лапу и потащу прямо на Арбат, пройдем эту улицу, а потом сядем и будем говорить, говорить.

Ты здорова, Жень? Отвечай мне прямо, нужно говорить обо всем прямо. Хорошо, что начинаешь работать. Несколько месяцев вынужденного безделья порядком выбили тебя и из здоровья, и самочувствия. Может быть, теперь это начнет понемногу налаживаться.

Теперь к истории о табаке. Сие поганое зелье ко мне и не попало по вине толстого подлеца Мишки, который все скурил. И я был здорово разочарован, когда получил только свитер и перчатки. Что Мишка свинья, это известно, но что свинья до такой степени, чтобы несколько раз брать табак и все обращать на себя, этого я не ожидал. Поэтому обмакни веник в грязное ведро и выгони за дверь этого толстого дьявола. Очевидно, он опять являлся вымогать табак, т. к. 20.02. собирался заехать в Иваново один наш общий знакомый, который должен побывать у меня. Так вот поступи с этим слоном как тебе приказано. Я уже писал, благодарил за перчатки и джемпер и жаловался на Мишку, но тогда я не знал, что передавала табак неоднократно. Это, конечно, безобразие, и мне очень обидно, что ты прикладывала усилия, чтобы доставать это несчастное курево. Между прочим, в первых числах февраля к тебе должен был зайти мой сотоварищ. Он сказал, что дома тебя не застал, по телефону дозвониться не мог. Может быть, и этот увез табак для меня? Напиши.

Впрочем, довольно об этом. Ты должна быть спокойнее. Я говорю с тобой очень прямо, и ты слушай эти слова. Не ищи встреч, ездить в Ленинскую академию не надо. Ничего это не даст: я тебе все могу рассказать, если захочешь, если скажешь. Писать, правда, не хочется, лучше так говорить.

Будь здорова, Жень. Пиши, пиши мне.

Жму, целую лапу.

(Подпись)

4.03.1942.

Как раз в тот момент, когда нужно было новое слово от тебя, оно пришло. Здравствуй, Жень, здравствуй, хоть уже довольно поздний вечер и ты, наверное, собираешься спать. (...)

Я рад твоим словам, рад встрече с тобой, отпирай дверь, и мы будем говорить. Впервые за эти годы я так легко и просто говорю с тобой. Не потому, что

ушла боль, напряженность, нет. Может быть, для преодоления их еще и потребуются усилия. Но мое, весь внутренний строй сердца, обращается сейчас к тебе с более чистым и высоким звучанием, чем когда-либо. Вот осенью мы с тобой стали старше на год. Это печально, — лишние седые волосы, лишние морщинки. Но одновременно это очень хорошо: глаз видит дальше, голос звучит увереннее, рука становится тверже. Это ведь то время, которое было знакомо лишь по книгам и которое называется зрелость. Новая фаза жизни. Наиболее эффективная, ясная и прямая. Она свободна от мальчишеской романтики и не стала приторной от искаженных восприятий, навязываемых старостью.

Давай руку, родная! Попробуем лучше прожить, больше сделать в это единственное время. Работали мы с тобой всегда много и хорошо. Надеюсь работать лучше. А когда ты устанешь, станет тебе тоскливо в большой, холодной квартире, ты тихонько позови меня. Я услышу и тотчас приду к тебе. Если не сам, то пришлю слово, книгу, воспоминание.

Одним словом, от меня просто не отделаешься. И не пытайся. Так тебе и суждено всю жизнь... Не отказывайся, запрещаю, пусть тебе и не улыбается эта перспектива.

Больше мне рассказывай о себе. Тебе надоел, наверное, поток моих слов, требующих ответного слова. Не отказывай мне в нем, ты прислала мне много тепла зимой. Не забывай, что теперь еще март. А он, подлый, и метет, и морозит. Значит, писать мне надо много и часто. Слышишь?

(...)

Будь же здорова, спокойна и бодра.

Позволь мне обнять тебя, пожать твою руку.

(Подпись)

16.03.1942.

Вот какой он, март! Форменный обманщик. Поманил, подразнился теплом, а теперь угощает метелицами, огромными заносами, да и морозцем с совсем не мартовским характером. Вот сегодня, поутру, он начал основательно щипаться и хулиганить и только к двенадцати часам сдвинулся, заплакал, отходя на знакомый нам Север. А первая декада была по-хорошему теплой.

Видишь, как много я болтаю чепухи. Все это происходит потому, что ты мне не пишешь, не знаешь, как нужны твои слова и как тоскливо без них. Мне даже не стыдно выпрашивать эти слова в каждом письме. Как это написано у Пастернака: «Где я тебя вымаливал у каждого плетня». Так, что ли? Одним словом, буду болтать. Только, Жень, мой хороший, это не просто болтовня. Я, кажется, начинаю постигать, что такое нежность, полная, настоящая нежность, которую «ни с чем не спутаешь». А я путал, принимая за нежность всякие привходящие обстоятельства. Я напишу тебе, какое это чувство. Прежде всего, это чувство старшего к младшему, чувство, улыбающееся капризу, чувство, умеющее понять жестокую детскую несправедливость, эгоизм и прочие аксессуары. Чувство это всегда несет радость тому, на кого направлено. Все равно, какую радость — резиновую собачку или ветку мимозы, или выдумку, сказку, или просто ласковое слово, принесенное лучом на солнечную сторону улицы. Так мне и представляется нежность — сплошной передачей тепла, передачей радости. И сама передача эта — радость для передающего.

Путано и малопонятно? Так? Ну, все равно: ты знаешь мое косноязычие и, наверное, поймешь. Поймешь, по крайней мере, почему я так много и легко говорю с тобой. И почему с таким нетерпением жду твоих слов, маленькой радости, родной твоей улыбки. (...)

Целую твою лапу.

(Подпись)

29.03.1942.

Вот уже несколько дней как пришли твои письмо и телеграмма, а я, ожидавший их с таким нетерпением, не могу собрать ни мыслей, ни слов для тебя...

А ведь с твоими словами последние серенькие дни марта стали ярче, веселее, и сегодня уже очень хорошее солнце. Почему же я молчу, Жень мой хороший? Буду рассказывать по порядку. Скоро будет три декады, как хвораю. Нарывы в горле тебе знакомы хорошо, смею заверить, что нарывы в ушах ничуть не лучше. От боли случалось и петь, и выть. Сегодня уже, кажется, все прошло, если нигде в уголке не притаился проклятущий фурункул, то снова потечет беспечальная жизнь. Вот это первая моя досада. Вторая досада — с отъездом. В марте, как видишь, уехать не удалось, удастся ли в апреле, не знаю. Обидно, что ждала меня ты, что ждал встречи сам, а она еще не материализовалась в сроки, в дни, в часы. Впрочем, ты напомнила, что мы с тобой были всегда оптимистами. Поэтому будем все же ждать близкой и хорошей встречи. Я писал тебе много, а огорчать своими недугами не хотелось. Но слова, вести от тебя ожидались, как и ожидаются с большим нетерпением. Солнечно, хорошо сегодня! Ты свободна? Пойдем на улицу.

Жму твою лапу.

(Подпись)

2.04.1042.

Выяснилось, что мои злоключения с ушами еще не закончились: сегодня отправляют на операцию в клинику. Говорят, что операция эта пустяковая, но необходимая. Таким образом, если я несколько дней не буду писать, не придавай этому значения. Привет. Пиши.

(Подпись)

5.05.1942.

Здравствуй! Целый месяц без вестей от тебя. Длинным, бесконечным кажется он. Сошел снег, падал снова, совсем по-весеннему светило солнце, а слова твои все не приходят ко мне. Сижу пока в клинике, операция прошла, теперь стадия выздоровления, рубцевания. Чувствую себя прилично, много читаю. Если библиотечных книг не хватает, помогает врач. Выпускаю стенгазету, делал доклады. Правда, устаю, но от усталости помогает постель. Где ты, Женя? Ты не ушла далеко? Если бы знала, как нужны твои родные косые строчки. Как живется? Как домочадцы — мама, Рафаилович. Где Алексей? Пиши, пиши!

(Подпись)

11.05.1942.

Золотой лучистой канителью
Вышивает солнце синий шелк.
У весны глаза поголубели,
Потому что май к ней подошел.

И от этих глаз повеселевших
Всполошился весь пернатый люд:
Голосишки ставят птицы певчие,
А не певчие — поют.

Вот и я — скворец и пересмешник,
Потерявший песенку свою.
Улыбаюсь веточке черешни
И с утра до вечера пою.

Будто жизнь листается сначала...
Поднимайся, песня, в серый дом,
Чтоб она, проснувшись, увидала
Черного скворчишку за окном.

Сегодня и день не синий, и настроение иное. Но стихи пускай идут к тебе. В них какой-то отзвук дня, в который было светло и жилось ожиданием полу-

чить какое-нибудь слово от тебя. Второй месяц уже ничего не знаю о тебе. Мои дела: самочувствие улучшается, и будь тепло, гулял бы по двору. Очевидно, дней через пять-шесть можно будет сбрасывать повязку и отправляться восвояси. Куда поеду, пока не знаю. Жизнь идет ровно, однообразно. Еда, сон, домино, книга. Изредка, по утрам, всплывают строчки плохих стихов, вроде прилагаемых.

Когда же придут твои слова?

(Подпись)

12.05.1942.

Под рукой нет конверта, но я спешу отозваться на твои первомайские строчки. Я писал тебе довольно много о себе, о состоянии здоровья. Теперь послеоперационный период, выздоровление тянется, потому что операция была на кости. Слышу прилично, и вроде худого не говорят. Очень медленно тянутся письма, но уже легче дышать, — твои слова опять со мною и если не будет новых, их можно перечитать. (...)

Этот год прошел на воздухе, и я снова пережил чередование времен года, услышал, о чем поет ветер, увидел, как растет трава. Когда мы увидимся? Загадывать боюсь, но надежды не теряю. (...)

Приветствую.

(Подпись)

22.05.1942.

Я не в обиде на судьбу за то, что письма твои приходят в беспорядке — сначала от 13 мая, а потом от 9 мая. Лишь бы приходили. Ты пишешь о безрадостном небе. Неужели у тебя все темно, сыро. У меня хорошее солнце все эти дни, а вчера был первый гром и дождь с крупными каплями, после которых листья стразу становятся большими.

Вот мне хочется, чтобы этот яркий свет и радостное тепло нашли тебя в твоем большом доме. Печально, что письма ползают медленно и то, что хочешь сказать, приходит к тебе через месяц. С твоими словами одиночества нет вообще, мы с тобой не имеем права на одиночество. Ты поймешь это, если слышишь, как, преодолевая пространство, я смеюсь и грущу с тобой, охраняю твой сон и тревожу его, чтобы услышать твой родной голос.

Май на исходе. Время идет все же медленнее, чем прежде.

Я не скрываю от тебя своего состояния. Писал об этом, на всякий случай повторю еще. В клинику я лег с диагнозом мастоигит, в дальнейшем оказалось, что это мезотемпонит (что значат эти термины по-русски, не знаю, но характеризуют воспалительные процессы в ухе). Для удаления нагноения мне продолбили дыру в черепе, и мое пребывание в клинике зависит от зарастания ее. Мне кажется, что этот срок исчисляется днями. После выхода позвоню или телеграфирую. Результат лечения — предотвращена возможность менингита, левое ухо потеряно — на 80% против нормального.

Живется ничего. Можно гулять, есть книги, шахматы, а главное — кончился табачный кризис — махорку получаю каждую неделю, а много ли человеку нужно?

Мне сейчас нужно одним глазом, хоть бы в щелочку, взглянуть на тебя.

В руках у меня книжка — «Малый мир». Это ошибки. Мир огромен, сейчас идет борьба за очистку его от фашистского хлама. На Харьковском направлении идем вперед. Хорошо! Теперь мы сильнее, крепче, организованнее. Значит, недалеко время окончательного разгрома врага и освобождения наших земель.

Все это ты знаешь и чувствуешь не хуже меня — ты была в столице в трудные дни.

Привет тебе, привет нашей хорошей Москве!

Будь здорова.

Лапу жму твою.

(Подпись)

31.05.1942.

Ларчик открывается неожиданно просто: письма мои не доходят к тебе потому, что ящик, в который я их опускаю, очищается неаккуратно. Обнаружил это случайно сегодня вечером: шел и увидел, что ребята таскают из переполненного ящика письма. К досаде моей оказалось, что человек, которому я поручал дать тебе ответную телеграмму, поручения не выполнил и сказал об этом через три дня. Вот этим и объясняется мое молчание. Я уже здоров, жду выписки из клиники. (...)

Приветствую тебя.

(Подпись)

2.06.1942.

Перешел в июнь. День ото дня — от Лескова к Шекспиру, от Шекспира к Гоголю. Перевод Шекспира — старенький, но все же дает огромное наслаждение. Впрочем, тебе оно известно лучше — из подлинника, которым ты пару лет назад зачитывалась. Под окном уже расцвел боярышник, на столике — тюльпаны и сирень. Лето вступает в свои права, хотя жары пока не чувствуется.

Сегодня смотрел профессор. Сказал, что дела идут неплохо, и разрешил снять повязку. Это значит, что через пару дней наблюдения я выйду из клиники. Ухо мое очень радо освобождению от трехмесячного груза бинтов и ваты и подышать свежим воздухом. Я даже не узнал себя в зеркале, настолько привычной стала белая полоса марли на лбу.

Тоскуется без тебя. Когда же это, наконец, случится, пробьет час, прилетит минута, та самая, в которую можно будет взять тебя за руку и посмотреть в глаза.

Ты должна знать, почувствовать это. Я ведь все время хожу за тобой следом, думаю, говорю. Все это станет ясно, когда соберутся под твою крышу все мои залежавшиеся письма. И эти большие зеленые листья, и огромное количество сияющих солнц в ослепительно синем дне, и буйное цветение трав и деревьев должно быть разделено с тобой. Одному мне этого и слишком мало, и слишком много.

Слышишь меня, родная?

Услышь!

(Подпись)

22.06.1942.

Начинаю работать. Вчера был в лесу — обилие трав и ягодника. Белые лепестки брусничника напомнили о твоем больном, беспокойном сердце. Как оно, пьешь ли этот брусничный отвар? Мне очень хочется видеть тебя здоровой, такой и приснилась сегодня. Чувствую себя хорошо, настроение приличное. Знакомлюсь с начальством, с товарищами, как всегда в начале работы. Через пару дней дам тебе точный адрес и постараюсь выслать деньжат.

Маленькая моя, хорошая девочка! Будь здорова. Спокойного сна тебе. Яркого солнца и синего неба!

(Подпись)

2.07.1942.

Не выполняю обещания — писать каждый день не удается. Работать нужно много и серьезно. Обжился, знакомлюсь с товарищами, с которыми вместе будем бить немцев. Народ энергичный, настоящие люди с выдержкой, знанием, умением. Я с ними становлюсь моложе, ловчее, напористее. Но о себе сейчас не хочется говорить: часа два тому назад узнал о смерти Купалы. Все еще не верю, не понимаю, не хочу знать. Только слышу острую, неумолкающую боль, как всегда при его болезнях или огорчениях. Я крепко любил старика, любовью, которая не замечает видных и обидных для других мелочей. Как трудно ему было умирать. Не увидев

нашей победы, не увидев земли, для которой он жил и работал. И эти дни все почему-то думал о нем, хотел увидеть, а теперь вот только издали приходится поклониться праху. Не забудь, когда сможешь, положить на могилу ему синие цветы. Год тому назад он говорил мне о синих цветах, цветах, которые росли в белорусских лесах, подожженных войною. Трудно думать, что Купала — это имя, горка книг и памятник, что никогда больше не услышишь его детскую речь, не увидишь льняные волосы и ясные глаза. Прости, мне тяжело, плачет душа...

Вокруг цветущая рожь под ветерком, яркий луч, невдалеке — березняк. Все что он любил...

Пиши мне, родная! Пиши много о себе, о здоровье. Как я желаю тебе здоровья, силы!

Обнимаю родную.

(Подпись)

П/о Мстера-вокзал, до востребования.

10.07.1942.

Пользуюсь оказией, чтобы сказать тебе пару слов. Товарищ едет в Москву, зайдет к тебе, если не сможет, пошлет почтой. Живу прилично и, как видишь, пишу. Посылаю тебе две главы поэмы и пару стихов. Прочти и стихи дай печатать журналу «Беларусь», Гурскому или Крысько[1]. Телефоны знаешь. Поэма пусть лежит, отсылаю, т. к. боюсь потерять. Многое беспокоит, и прежде всего, здоровье — твое и старика. Предполагаю, что у меня скоро появится постоянный адрес, и тогда жду большое письмо. Как дела с издательством и Союзом писателей? Получила ли там что-либо? Если с деньгами задержка, реализуй мое пальто, а потом я все налажу.

Славное лето удалось, много всяческого добра: яблок, вишен, ягод. Вообще урожай должен быть на славу.

Каждый день — радостные вести, вот уже скоро Белоруссия будет свободной. Легко жить, чувствуя, как к миллионам обездоленных людей возвращается жизнь, права, свобода. Много у нас побед, но эта и по объему, и по темпам представляется мне ни с чем не сравнимой. Будь здорова, много (...). В радостные часы вечерних московских салютов припомни на минутку меня.

Как всегда, желаю тебе самого лучшего. Привет Владимиру Рафаиловичу.

Привет.

16.07.1942.

Здравствуй, здравствуй, родная моя! Жму твою маленькую руку, крепко обнимаю тебя. Письма откладываются изо дня в день: все жду возможности поговорить с тобой, и вот, когда твой голос был совсем рядом, разговор сняли. Что там произошло на линии, неизвестно, но я все время слышал тебя, твой разговор с телефонисткой. Почти каждый день пытаюсь найти тебя по телефону, и все безуспешно. (...)

Я здорово загорел, живется неплохо, хотя забот у меня пропасть. Особенно круто приходится, когда сталкиваюсь с разными хозяйственными вопросами: я ведь всю жизнь не умел ни кормиться, ни одеваться. Однако привыкаю, учусь. На днях наладил кухню, нашел хорошего повара, все получается хорошо, и жалоб не слышно. А кухня пугала больше всего, но вот видишь, наладил и ее. Иногда времени не остается и для сна, тогда моюсь, бреюсь и начинаю день. Это не жалоба, хотел бы работать еще больше, и буду работать, если потребуется, только бы поскорее расколотить немца.

Как хотелось бы еще раз повидать тебя. Не знаю, будет ли возможность ехать через Москву, ведь мы почти не виделись.

---

[1] Крысько Тимофей Васильевич (литературный псевдоним — Василь Витка. — ***Т. К.***).

Никак не могу примириться со смертью старика[1]. Горько и тяжело мне думать о нем... Видела ли ты его в последние дни, была ли на кремации?

Что слышно у тебя? Напиши побольше. Сейчас побегу опять ловить твой голос. А может, и состоится разговор.

Еще раз обнимаю тебя.

(Подпись)

4.08.1942.

Сегодня год, как я ушел из Москвы. Сколько пройденных дорог, сколько пройду их до возвращения со словом — победа. А иначе и возвращаться не стоит. (...)

У меня теперь под началом столовая, правда, небольшая, но вполне приличная. Я писал уже об этом. Деньги будешь получать регулярно каждого 15 числа. Спрашиваешь о табаке. Мне ничего не нужно. (...)

Добра желаю тебе.

(Подпись)

1.09.1942.

Сегодня утром, в степи, нашел обрывок конверта с таким родным знакомым штемпелем «Москва». И тогда все яснее почувствовалось, моя родная, какой радостью сейчас было бы письмо от тебя.

Скоро получу его? И почувствовалось, как всегда, одно, нерушимое: как по маленькому обрывку бумаги можно представить огромный прекрасный город, так и по участку, поляне, бугорку, который тебе дано взять или защитить, нужно представлять Родину. И если ты представил это, если увидел ее, нашу великую, простую, необъятную родину, ты будешь победителем.

Все это увиделось, почувствовалось в короткий десяток минут среди огромного серого пространства. Я знаю, ты была со мной. Пиши.

Пиши и пиши.

(Подпись)

30.11.1942.

(...)

Вчера радостная весть об освобождении Ростова. Узнал поздно и совсем не захотел спать. Очень хорошо. Будем ждать продолжения побед. Сила этих подлых тварей — пыль, она рассыплется и будет незаметна и неощутима. А пока надо драться. И покрепче. (...)

Будь здорова, Жень! Какую-то до сих пор хорошую теплоту мне надо передать тебе.

(Подпись)

13.01.1943.

Я имею право говорить прямо в эти последние дни моего последнего года, потому что не имею уже никаких прав, как и все стоящее по ту сторону.

Не дал мне бог любви к тебе простой, тихой и прозрачной, какая нужна сейчас, «чтобы отдохнуть», а разорвал, безжалостный, душу и всыпал в нее уголья, но не спокойные и ласковые, как в маленькой печурке твоей, а с синим огнем, дымные и чадные, — наградил меня любовью темной, злой, не прощающей, с болью, мукой, ревностью. Не дал он мне хорошей той любви, как не дал ночам моим сна, последним дням покоя.

Ночь. Старый, испытанный способ — письмо. Раньше — не хватало дыхания для нужного слова, сейчас — нельзя сказать его тогда, когда это необходимо, когда оно особенно ясно и горячо. Поэтому пишу сегодня, — слова начали вскипать только в эту новогоднюю ночь, совместность которой предсказала ночь

[1] Имеется в виду Янка Купала. — ***Т. К.***

1941 г., что встретим мы бутылочкой вина только вдвоем. Забыла? Предсказала, а покоя не принесла. Что от него, от блуждания из угла в угол, когда валится книга из рук, в клочки изрывается бумага и все обращенное к тебе отскакивает, как от брони. А внутри — огонь, тревожный, ни на миг не угасающий, превращающий в пепел волю к жизни, любовь к ней. Как и несколько лет назад, он ничего не оставляет, кроме себя да вот таких же напряженных, окровавленных писем. Пустыня. За все те годы — ни одного решительного, живого движения. Не могли появиться даже строки — во время пожара о нем не пишут, а спасаются от огня. Несгоревшая малость поглощалась работой, тупой, бессмысленной, но необходимой для забытья или просто для пропитания.

Впервые за десять лет, как большая черная птица глухарь, запел я на своей сосне, может быть, неуместно и ненужно, но, запрокинув голову, вливая в свою нехитрую песенку все свое существо, не слыша крадущихся шагов, несущих синий ствол ружья, пока не рассыпался громом и искрами выстрел — и полетела птица, теряя перья, вниз. Пришла тревога. Ты — понимающая все. Понимающая меня без слова, по движению, по шагу, не можешь стать родной до конца. Почему же? (...) Это так нужно и до крови обидно. Несколько месяцев смотрел я по ночам со своего дивана, тоскуя, не узнавая, удивляясь, неужели эта далекая женщина — ты, к которой, я шел через огромные пространства земли и времени, которая, казалось, также шла ко мне. Начало декабря стало теплее, а ведь было так холодно, что думалось по-твоему «погреться у чужого огня», и источник тепла временами был безразличен. Но броситься при первом огорчении в (...) по-мальчишечьи не смог, и, как достаточно повзрослевший человек, нашел тепло в работе, объяснив все нездоровьем, не оставлявшим ничего для людей, хотя бы стоящих рядом. Вот тогда и смутили меня все эти пресловутые звонки. (...) Больная, совсем обессиленная, часами лежавшая неподвижно, с закрытыми не спящими глазами, как быстро уходила ты к телефону, надолго (для меня — на годы!). Смеялась, не договаривала понятных фраз, со знакомой нежностью произносила слова, возвращалась оживленной, чтобы внезапно поблекнуть при моем приближении. А я все же подходил — было очень холодно: промерз я за год жестокой судьбы, крови и горя. Почему же не слышал я смеха, не видел улыбки, почему они поглощаются пространством, почему их нет только для меня? Горько. А тебе непонятно: всё отпадет, зачем обижать людей? Непонятно и мне: может быть, по-солдатски, чрезмерно просто и грубо, обрубил я всё за собой, не оставив никакого закута, где мог бы быть без тебя, куда мог унести что-либо от тебя. И снова старый вопрос — если люди чужие, зачем считаться с ними? Ведь если мать отдает последний хлеб ребенку, более голодному, чем ее собственный, то она никогда не откроет дверь, чтобы случайный ветер унес последнее тепло, в котором жизнь и радость дома. Вот и аналогия, которую отвергаешь. Когда-то сказала «встреч больше не будет»; они продолжались: «человек очень одинок» — поэтому переступила через сказанное мне. Сразу же после постели, после месяца войны за тебя с ангиной, заторопилась осветить одиночество, а я в облупленной комнате остался один с керосинкой, которая спасала тебя горячей водой, с тазом, на котором виднелись еще следы крови. Я говорил с этими вещами, также легко оставленными, как и я, ждал тепла — оно уходило в пространство.

И вот продолжаются звонки, продолжаются какие-то люди, которые никак не хотят отпадать за четыре месяца нашего вместе; тебя на них уходит больше, чем на меня. Ты не можешь отказаться от них даже не из-за жадности. Ты любопытствуешь, не отвергая почти ничего, потому что не заполняется день мною, потому что встречалось все не то, желание настоящего углубилось, и ты присматриваешься, не блеснет ли оно во встреченном лице. А дешево или дорого это, безразлично, — это больно, как больно потеплевшее начало декабря, потеплевшее только потому, что дрова на исходе больше берегут. Я принял это, все время чувствуя временность, хоть заметив ее у другого, предвидя его будущее, заполнил бы эти дни теплом, чтоб достало его на все предстоящее короткое и

тяжелое существование. Человеку легко было бы уходить из дома и из жизни. Но при всем огромном сходстве мы сильно разнимся друг от друга. С нового местожительства все же я тянусь в дом, который не смог стать моим, пренебрегая неполнотой. Так стремятся уйти куда-либо мои несчастные товарищи, такие же обреченные люди, глушащие себя сверхциничным отношением ко всему и вся, но втайне ждущие хорошего и второпях заменяющие его первым встречным суррогатом. В этом — самое страшное. Нет в них радости: первая встреча, вторая, последующие. Не от недостатка тепла, не от тянущегося за тобой — это родило неполноту, а она опять принесла неправду. Ты знаешь, в чем она, можешь даже знать, когда она стала для меня ощутимой, честнее говоря, явной. Обнажить ее, перешагнуть через раз сказанное ты не сможешь, — ты успела поверить во всё, что говоришь мне, как ребенку, во что я как ребенок, хотел бы верить. Ты даже успела углубить ее, совсем неумно, и если даже сама не поверишь, все равно не перешагнешь: внешнее твое упрямое слово не посчитается с моим внутренним. Поэтому — письмо бесцельно. Как и все предыдущие, восполнит оно коллекцию валяющихся у тебя. Но я так не могу. Я не ищу какого-то абсолютного спокойствия, созерцания. Я могу отдать его, бросить (...), дневники за простую заботу о тебе, идущую от полного сердца. Но полноты нет, и за время, прожитое в твоей комнате, не пришла настоящая, согретая внутренним теплом забота, чтобы стали обычные житейские хлопоты жизнью и светом. Только в твой день, как двадцатилетний, впервые встретивший тебя мальчик, ездил я по огромному городу, собирая все, что могло бы доставить тебе радость. Назавтра ты не увидела меня, не вспомнила, что и у меня есть день, которого никто не помнит всю жизнь. Ты сказала тогда: «От тебя все зависит», я ответил шутя: «Запомни эти слова».

К сожалению, все зависит не от меня.

Что остается? Оглушить себя, как мои товарищи, или взять полное одиночество, потянувшись к старому жизнелюбцу Хайяму? Даже как животное, но уже ходившее с кладью под гору, не могу принять я первого.

Если встает рядом со мною по жизни человек, я должен любить его полно. Если навязывает судьба на час первого встречного, я ничего не увижу, не захочу потрудиться увидеть, меня ничто не удивит, не тронет, не обеспокоит — я не буду любить его.

Почему же, мой — не жена, не любовница — большой друг, не видишь ничего этого? Зачем лжешь, не умея лгать, ненужно и бесцельно, наряду с минутами потрясающей искренности, унижая себя и меня? Ведь я не вымогаю, ведь сегодня, прождав несколько часов, я ничего не спросил, чтоб не заставить тебя солгать, и больше тебя боялся несостоявшихся при мне звонков, чтоб не объясняла их, ища слов, чтоб не терять тебя и себя. Мне жаль, когда говоришь неправду: это так трудно и обидно! Зачем же? Вот на какой грани мы. А с нее — прямая дорога в знакомый, уже опять начинающийся ад боли, либо — к обычному мужу, к обычной жене с их дрязгами, оскорблениями, рукоприкладством и миром на грязной простыне до нового утра.

Что же нам взять с тобою?

Редкая, хорошая, самая близкая! Нам не нужно больше видеться, встречаться — мы не найдем себя. Может быть, я иду в большую боль, в совершенное одиночество немногих своих часов, но и оставаться в этом не хватает дыхания.

Вот уже и утро. Пусть принесет оно тебе радость. Дай бог тебе настоящей обволакивающей нежности, которой не хватало всю жизнь и которая уже не придет ко мне — ведь и жизни самой осталось не больше аршина.

(Подпись)

18.07.1944. Минск.

Приветствую из Минска. Приехал сюда пару дней тому назад, еще не успел осмотреться, а уже нужно собираться дальше. Говорить тебе об огромной радости свидания с городом трудно, кажется, что все еще пока во сне. Вчера был парад огромной партизанской армии, возбуждавший много мыслей и чувств.

Нет, никогда не может быть рабыней страна, воспитавшая этот стальной негнущийся народ. Потому с такой быстротой и покатились отсюда немцы. Город они повредили основательно, но все же жить можно. Видел Марию Константиновну[1], она сказала, что Наташа и девочка здесь, увидеть их пока не имел возможности. Оставил твой адрес и полевую почту Павла.

Тут уже и Петруси[2], Илья[3] и другие писатели. Меня очень беспокоит, что они ничего не знают о выплате тебе денег. Если задержат еще раз, прошу реализовать вещи.

Очевидно, сумею через месяц-полтора побывать в Москве.

Прости. Пишу торопясь.

Привет.

(Подпись)

29.07.1944. Минск.

Из предыдущих писем ты уже кое-что знаешь обо мне. Остальное, очевидно, рассказали Петрусь и Мария Константиновна. Сейчас я зав. отделом культуры в «Звяздзе», комната в Доме печати с гравюрами руин на стенах. Пока нет транспорта, и это несколько обременяет. Когда немного утрясутся дела, приеду, все расскажу по порядку.

Обосновался было на житие, да во время бомбежки сгорел дом и в нем сумка с четырьмя главами «Лявонихи», черновиками и началом новой поэмы. Я выскочил, когда крыша уже горела. Теперь все ютимся на Сторожевке: Лыньков, Глебка, Крапива, Танк, Пестрак. С квартирами трудно, вообще жизнь налажена слабо. Питаемся преимущественно малиной и молодой картошкой с водочно-молочным соусом.

Плохо одно — ничего не знаю о тебе. Первое — здоровье и настроение. Пожалуй, это и вторОе, и третье, и последнее. Беспокоят еще и материальные дела — заплатило ли, наконец, тебе издательство. Глебка говорил об этом с сожалением. Если до сих пор нет, то опять, не знаю в который раз, повторяю — реализуй мою одежку. Черт с ней, добудем сейчас все.

Писать хочется, дел много, но пока, как говорится, я в растрепанных чувствах. Насилу собираю мысли для статей. А писать надо много, хорошо, каждый день — очень уж много посеяли плевел немцы и их прихлебатели.

Напиши мне, голубчик, побольше. Я давно тебя не видел. Если не сумеешь передать, то — на главную почту до востребования (ул. Кирова). Можно и на редакцию — Пушкинская, 55.

Жму твою руку.

Желаю, как всегда, самого лучшего.

(Подпись)

Рафаиловичу, Алексею и прочим домочадцам искренний привет. (...)

(Подпись)

9.08.1944. Минск.

(...) Пусть и у тебя это утро начнется с такого же зеленого тополя и ослепительно голубого неба за окном. Начинаю немного приходить в себя после напряженных месяцев весны этого года. Если бы поменьше ходьбы, то и совсем было бы хорошо. Утром после завтрака путешествую в Дом печати, там до 15.30 и на обед чаще всего машиной, но в общей сложности километров 10—15 набирается. Живем вдвоем с Лыньковым. Танк уехал на родину. Делаем иногда экскурсии на рынок за молоком, оно здесь 15 рублей литр. Было много черники и малины, теперь начинаются яблоки и вишни. На рынке пахнет свежим сеном и очень хорошо, прямо изумительно, звучит язык. Забыл похвалиться, что при нашем особня-

---

[1] Мария Константиновна Хайновская, зав. библиотекой Союза писателей БССР. — ***Т. К.***

[2] Петрусь Глебка, Петрусь Бровка. — ***Т. К.***

[3] Илья Гурский. — ***Т. К.***

ке есть большой огород, в котором растут картофель, кукуруза, фасоль и прочие блага. Из декоративных — горошек и настурция.

Встаю рано, но пока еще писать не могу. Пробовал восстанавливать сгоревшее — не получается, все, кажется, было лучше, полнокровнее. (...)

Жду от тебя вестей. Напиши о себе больше, одним словом, обо всем.

Можешь звонить Глебке или Гурскому, они знают, едет ли кто-нибудь в Минск. Письма берут все. Если это письмишко застанет М. К. в Москве, то передай с ней серый костюм, ботинки и одну костюмную рубашку с воротничками (можно белую с белыми). Там же должны где-нибудь быть носки и галстук, лучше фиолетовый белорусский. Свою военную одежку я изорвал, а коричневый костюм теперь не хочется.

Приветствую тебя.

(Подпись)

Привет Рафаиловичу.

(Без даты. — ***Т. К.***)

Пишу тебе, как всегда без удержу много. Нельзя сказать, чтобы день был сильно заполнен, но если случаются три дела, а стало быть, и три места, где нужно побывать, — день заполняется целиком. Транспорт пока отсутствует, отвечает все время собственная пара. А гулять приходится в Дом печати, в столовку, на Сторожевку — к жилью. Живем также у Танка — Лыньков и я, благо есть диваны. В доме жил какой-то инженер, и мебель почти уцелела. Днями разрешится вопрос с квартирами. Квартира очень нужна: пишу, как всегда, совсем один, а моя «Лявониха» уже соскучилась. Больше месяца, за исключением мелочей, не пишу. В беспорядке записываю строчки, а систематизировать — как бог даст. И столько звенящего, как никогда. Жизнь почему-то кажется короткой, не могущей уместить даже содержание одного дня. А знаешь, голубчик, один день в Минске — это содержание целой жизни, сверток шекспировских тем и мыслей. Жаль, руки коротки — скудок талантишко. Ты прочла уже в «Правде» о зверствах в Люблине. Все происходившее в Минске во много крат тяжелее и ужаснее. Нам, очевидцам, выпала большая доля — рассказать об этом. Только бы справиться.

Очень хотелось бы сейчас увидеть тебя, и именно здесь. Мы бы прошли тихонько по нашему милому городу и вспомнили нашу юность. От Республиканской до Техникума (цел!), от Розы Люксембург до Ленинской. Я уже печатал стихи о Минске, которые ты знаешь. Не так давно расцеловался на рынке с техникумовцем, который случайно прочел мои строки в газете. И молодость наша была рядом с нами. Постараемся сделать наше сегодня если не таким же полным, то гораздо более мужественным и плодоносящим.

Ты меня беспокоишь. Будь, родная, спокойнее. Поправится старик[1], постараемся сойтись под одной крышей на нашем старом жилье.

Будь здорова! Желаю здоровья старику.

Обнимаю.

(Подпись)

27.08.1944. Минск.

Здравствуй, Жень!

Потерял твои следы и опять ничего не знаю. А на сердце у меня что-то неспокойно: как же ты себя чувствуешь, как ходишь, что думаешь? Никак не вытанцовывается с поездкой. Шел в газету на время, в помощь, а сейчас надо здорово тянуть лямку. А людей нет совсем, а делать каждый день номер большого формата — сама знаешь — обременительно.

В Минске очень хорошая ясная осень. Глаз уже примирился с развалинами, острота первых восприятий прошла, и сейчас время «ума холодных размышлений». Пытаюсь размышлять.

---

[1] Имеется в виду Владимир Рафаилович Соколовский, отчим Евгении Пфляумбаум. — ***Т. К.***

В первых — дай бог — числах все же думаю окончательно решить вопрос с квартирой и выехать в Москву. Может быть, и удастся.

А пока ты пиши мне, не ожидая оказий. Письма, кажется, ходят лучше.

Приветствую, желаю здоровья, обнимаю.

(Подпись)

5.09.1944. Минск.

Вчера поутру залпом прочел все твои письма и растерялся — столько хорошей радости принесли они. Во всей этой спешке и сумятице последних лет и особенно последних месяцев я отвык от теплого слова, от родного и нужного участия. И разучился говорить так сам, может, и не разучился, а просто принимал тягу к человеку за тягу к бумаге и с ней разговаривал, жил. Оказывается, этого ничем заменить нельзя. Я даже склонен оправдывать этого беспросветного лентяя — Петруся за то, что он копил письма и передал их сразу. Словом, я всколыхнулся после бессонной ночи и легко сделал полосу в газету, написал статью, закончил стих. И впечатление — богатого солнца где-нибудь у призрачной и холодной кринички — не покидает меня.

Только ты ни о чем не тревожься, смотри себя, батьку, и все будет хорошо. Хочешь в Минск? Хорошо. Хоть и тяжело. В первые дни будешь ходить и плакать, как я, стараясь стряхнуть хаос и ужас происходившего здесь. А потом еще крепче возненавидишь миллионы раз проклятую банду грабителей и убийц, которым приходит конец. И будешь работать много, хорошо.

Обо всем, что касается переезда, приезда, — поговорим при встрече. В Москву я очень хочу и сильно собираюсь. Но пока в редакции трудно, людей мало, и я не вправе бросить большое, развертывающееся дело.

Пишу очень мало. Газета съедает время. И ходить приходится порядком. Но все же пишу. Приеду — похвалюсь. А теперь похвалюсь комнатенкой. На улице Берсона, окнами на костел. Маленькая, светлая, прозрачная от солнца и воздуха. Туда мы переехали с Лыньковым. Всего на двоих — четыре комнаты. В двух устроили кабинеты (сие звучит гордо, ибо у меня стоит только кухонный стол, кровать и один стул, да сегодня Марийка повесила занавеску, она же притащила подушку — моя вместе с одеялом сгорела), а в двух поставили по шкафу и полочке, наверное, появятся и книги. В доме — вода (редко) и свет, а в Минске это очень много.

В воскресенье писал там стихи. Лыньков до вечера уезжал, а я открыл все окна и двери и ходил, смывая усталость обилием света и воздуха. И писалось легко, как в молодости, без сомнений и тяжелой борьбы с собой за весомые строки. Думал о тебе, знаю, что и тебе было бы здесь легко.

Квартирный альянс меня, конечно, не устраивает. Но как этап — это очень хорошо. Скоро будет больше жилья, я постараюсь достать что-нибудь, пусть небольшое, но совсем самостоятельное. И в таком месте, где меня не будут отвлекать посетители. Надо садиться за работу по-настоящему. Как Кузьма. И от него получил вчера хорошую радостную весточку. Передай ему привет, скажи, что мы о нем не забываем и хотим только найти угол поудобнее и поспокойнее.

За костюм спасибо. Моя одежка уже потеряла всякий вид, и он подоспел в это время. Когда колени не поддавались штопке.

Бытие — сносное. Надо только, очевидно, организовать обед самому, т. к. столовые далеко и пока не дотягиваются до московских.

Карточки в Союзе надо получать по примеру Лели и Лены.

Может быть, я скорее пожму тебе руку, чем ты получишь это письмо. Но говорить нам нужно часто и долго. Вот и поговорили. Сегодня дежурю. Пора, начинается страда.

Приветствую.

(Подпись)

* 17.09.1944. Минск.

Завтра в Москву летит Кондрат, я же вынужден дождаться его здесь, потому что нельзя оставить журнал. Значит, буду, это уже окончательно, 1—2 октября. Прости мне это, родной. Я знаю, что надо как можно скорей ехать, но пока обстоятельства вынуждают остаться.

День начинается тревогой — как у тебя, что с отцом, не через верх ли опять переполнилась чаша терпения с этими глупыми и подлыми соседями. Между прочим, у Кондрата на Козихинском собственная комната. Он не знает, что сделала с ней жена, но собирался отказаться от нее.

Поразмысли, может, пока, на время, тебе стоит переехать туда, есть смысл поменяться, чтобы быть спокойной. Поговори с ним. Лучше прожить неделю или месяц спокойно, чем день в напряжении. Я считаю это лучшим вариантом.

Работы у меня пока не меньше, встаю писать в 6, ложусь около 12-и. День заполнен. Ничего хорошего не пишется. Один из поводов, почему медлю с отъездом, — квартира. Комнаты, которая есть, — мало. Возможно, на днях будет две. Хочется закрепить и быть где-то в более тихом месте, чтобы работать без преград. Да и надо рассчитывать не на временную жизнь, а на длинный период. Значит — квартира прежде всего. А с ней делается все труднее.

Прости, что пишу путано. Весь день готовил материал в номер.

Мне просто хочется крепко пожать твою малую лапу и хоть одним звуком напомнить о себе.

Приветствую родную мою.

(Подпись)

* 30.10.1944.

Вчера вернулся из Вильно: я, Максим и Михась. Там был съезд писателей Литвы. Ездили на своей машине и посмотрели вдоволь чудесных местностей и сам город. Еще раз пожалел, что тебя там не было и этот родной по-настоящему город остается до сих пор неизвестным. Михась ходил буквально разинув рот — он был здесь впервые. А у меня даже появились строки, вот тебе две последние:

І каб я не дружыў з самай лепшай
На свеце жанчынай,
Я б застаўся ў Літве
Ці вярнуўся б Будрысавым сынам.

Принимали нас хорошо и приветливо. Правительство специально для нас организовало прием для белорусов у Председателя Президиума Верховного Совета Юстаса Игнатьевича Палецкиса, очень милого человека, который больше всего полюбил нашу «Зязюлю» и пел ее с нами до хрипоты. Пили мы там «Дарбо по вена» — название очень вкусной водки, которая значит «еще по одной».

Потом расскажу больше. Купил в Вильно тебе колбасы и ветчины, такой вкусной, что не смей никого угощать — съешь тихонечко все сама. Масло и сахар — минские. При случае пришлю еще продуктов.

В праздник буду, пожалуй, в Минске, а потом в Германию. Пленум 15 декабря, после него к тебе или буду звать тебя в Минск.

Отепляю дом, печь греет хорошо.

Родной мой, старайся больше есть и больше отдыхать.

Относительно твоего пальто: денег я тебе могу выслать, но, может, лучше купить воротник в Германии. Быстрей напиши, что ты думаешь об этом и как лучше сделать.

Приветствую, обнимаю тебя.

(Подпись)

8.11.1944. Минск.

Здравствуй голубчик!

Прошел последний день праздников. Я остался один и, как всегда, тороплюсь поговорить с тобой. Как ты, родненькая, встретила эти дни? Слышала

ли, что я тебе говорил, почувствовала ли мою руку на плече? Праздники у нас прошли широко. Седьмого после демонстрации был у Вл. Францевны[1], а потом Михась справлял свадьбу. Только мне было невесело, и подносил рюмку к губам, мысленно чокнувшись с тобой. (...)

Спасибо тебе за хорошую телеграмму, получила ли две моих — одну к твоему дню, другую — к празднику?

Будь здорова и спокойна.

Немного пишу (...).

Обнимаю.

(Подпись)

Минск. (Без даты. — ***Т. К.***)

Приветствую тебя, Жень!

(...) Дома так тепло, что хочется, чтобы и ты погрелась у моей печушки, которую топлю по утрам. Благополучно разделавшись с денежными долгами, купил машину дров, их распилили и покололи, а теперь сижу если не очень твердо на финансах, то, во всяком случае, в тепле. Печка берет мало дровишек, и их, очевидно, хватит еще на сезон. Теперь начинаю рассчитываться с продуктовыми долгами. Надеюсь в феврале разделаться и с этим.

Исправил плиту, купил электрокастрюлю. Свет у нас есть. Вечерами варим картошку в разнообразных вариантах. Поэтому прошу не забывать о себе и аккуратно варить себе грибы, картошку, словом, все, чем располагаешь.

Писать, к сожалению, не хочется. Несколько вечеров играл в преферанс, в театре пока не был. Дисциплинируюсь на переводе «Горе от ума», работа огромная, но крайне интересная.

Если бы ты поглядела на мое житье, то, думаю, осталась бы довольна. Первые дни, с приездом, был некоторый преизбыток жидкостей. Сейчас все входит в норму. И в самом деле, было бы очень недурно побывать здесь: это принесло бы тебе разрядку, а меня по-настоящему порадовало бы — успел соскучиться за одну декаду. (...)

Обнимаю. Пиши.

(Подпись)

18.01.1945. Москва.

Здравствуй, Аль!

Привезено и писемко, и мандарины. И елка, и дюшес. Опять получились именины. Только в одиночестве. Встречал ли ты еще и... «старый Новый год»? Тут Петрусь с Настей повторили встречу в том же месте.

Пусто в доме, Аль. Прихожу из клиники, и руки не поднимаются сделать что-нибудь для себя. Стало и холоднее, и темнее. Ты сам знаешь все это, родной.

С батькой неприятности. В результате его перевода ему стало значительно хуже. Он стал задыхаться, стонать, и отечность увеличилась. Кроме того, его положили у двери, где страшно холодно. Я стала просить, чтобы его перевели в более теплое место, а мне заявили, что они вообще не намерены его больше держать, потому что сделали все возможное, а больной он беспокойный и постоянно требует пантопона.

Я совсем растерялась. Взять его домой немыслимо, потому что если пару месяцев назад он еще мог один полежать дома до моего прихода, то теперь он в любую минуту может упасть и не сумеет подняться. Идти он абсолютно не может. Значит, нужно нести его на носилках из клиники и домой.

Буду пытаться просить о его переводе в другую клинику, но все это требует какого-то срока, а тут буквально гонят от Бурмина.

Я звонила Петрусю, думала взять у него хоть какое-нибудь ходатайство, но потом подумала, что от Издательства такое ходатайство не даст эффекта. Может

[1] Владислава Францевна, жена Янки Купалы. — ***Т. К.***

быть, пусть Марийка пришлет мне что-нибудь от Литфонда и, кроме того, с первой оказией хоть немного пантопона в ампулах, чтобы облегчить ему хоть эти тяжелые дни.

Только ты не беспокойся, родной мой. Я со всем этим справлюсь прекрасно. Здоров ли ты сейчас? Где основная работа? Спокойно ли тебе, пришла ли потребность писать? Все это мне нужно знать. Мне вполне достаточно. То же и с остальным. Всего больше, чем требуется для нас с батькой. Работай спокойно и будь здоров. Писать мне нужно часто. Ты это знаешь. По дому никаких новостей. За квартиру заплатила.

Обнимаю тебя. Женя.

Видимо, на днях получу премию (рублей тысячу) от ВВС. Генералитет уже утвердил. Так что можно будет и пальто заказать. А ты не одалживайся и не бери авансов. Все это очень сложно потом компенсировать.

Будь здоров, родной.

200 рублей получены.

20.03.1945.

Давно уже получил родное твое письмо, а ожидаемые оказии все не случаются, и я молчу. Очень тоскливо без тебя, даже цветок на столике с первого же дня моего одиночества начал терять лепестки. Но в комнатушке ты осталась, живет твое тепло, забота, тревоги, а вечерами я пробую всерьез говорить с тобой.

Как же ты, голубчик, без тепла? Мне даже обидно за возможность распоряжаться им по желанию, и вечерний огонь в печке не радует меня, как раньше, когда ты была здесь, рядом.

Житие протекает довольно неорганизованно. Часто путешествую в Дом печати, с журналом не клеится, и от этого страшно неприятно, даже увеличивается усталость. Поутру пишу или перевожу. Вообще, чувствую себя хорошо. Несколько дней светит настоящее весеннее солнце, снег стаял наполовину, и Свислочь угрожает с дня на день разлиться. Вот и сейчас солнце, собираюсь на работу, за стеной орут глупые петухи и воробьи начинают весенние игры. Как славно было бы нам вдвоем в это утро!

Как у тебя со здоровьем? Скоро ли прошла головная боль и прошла ли? Напиши мне.

Хлопцам, чертям, скажи ехать немедленно. Это — Петрусю и Антону. Скажи, что Михась серьезно поговаривает о том, чтобы скостить Антошке лимит. Астрейку увидишь, передай, что его мы отпускали не на месяц, а на две недели, и надо серьезно собираться в Минск.

С Тургеневым — не спеши.

Будь здоров, родной, мой хороший Жень!

Алесь.

4.05.1945. Минск.

Здравствуй, моя родная! Грустноватенько у меня прошел праздник. Как раз 29-го утром было худо, заболел бок. Мелких обнаружил неполадки в почках и запретил алкоголь, какой бы то ни было, мясо и пр. Так что 1-го у Константиновны я был печальным созерцателем того, как Петрусь поглощал сухую белорусскую колбасу и всякие печенья и соленья. Надо тебе сказать, что старик Мелких горевал больше меня о вынужденной посадке моей на сухой закон. Он рассказал об этом всем хлопцам и просил следить и не настаивать на возлияниях.

Первого был парад войск. Для Минска трогательно. Стоя на трибуне, хорошо думалось о стране, солдате, о будущем. Второго просидел дома, но не по здоровью — чувствую себя уже прилично, хотя лечение продолжаю и от длительного движения воздерживаюсь. Будь спокойна, это скоро обойдется. Марийка проявила чудеса распорядительности и заботливости — спасибо ей. Как же ты, голубчик? Я так давно не слышал тебя. 27-го послал тебе с командированным Богатыревым письмо и 2000 рублей. Получила ли? Напиши. 30-го дал телеграмму.

Спасибо тебе за хорошую весточку к празднику. Когда ехал Колас, было очень неважно, писать было трудно, да и не хочется говорить неправду.

Пиши мне, не дожидаясь оказий.

Я сейчас совсем один, Михась улетел в Сан-Франциско, и вечерами с ожесточением набрасываюсь на вольную живую душу — поговорить, сыграть в дурака. (...)

Обнимаю.

Приложение 1600 р., масло, 19 яиц и немного сахару.

Марийка приветствует.

3. 05.1945. Москва.

Здравствуй, мой родной Аль! Праздники кончились, и это хорошо, потому что не такими они были, как могли бы быть вместе. Но Москва жила все эти дни особой жизнью. Ты должен скоренько приехать, чтобы посмотреть, какая она стала яркая, прежняя Москва. В комнате у нас сорваны все маскировки. Светло, тепло, а значит и уютно. Вчера у меня был Мавр — он остался в Якоре в одиночестве и изъявил желание навестить меня. Вот вместе мы и слушали приказ Сталина берлинским частям. Было очень радостно, и голос у Левитана стал совсем особенный. В этот момент очень недоставало тебя. Мавр, выпив чарку, стал откровенничать и петь тебе дифирамбы. Он говорит, что не узнал в тебе прежнего мальчика, что ты стал очень интересным и совсем особым человеком. От него это слышать не совсем обычно. А мне всегда радостно, когда кто-нибудь по-хорошему говорит о тебе. Как ты встретил Май? Такое большое желание обнять тебя, Аль. Деньги получила, телеграмму тоже. Спасибо, что помнишь, как нужно мне это.

Видела дочку. Взяла «денежки» и говорит: «пойду покупать». Я полагаю, что все, что ты хочешь передать ей, нужно делать через меня. Так проще для тебя и спокойнее для меня. Спокойнее в том смысле, что когда-нибудь кто-нибудь в разговоре не застанет меня врасплох. Я ведь все еще не совсем владею своим сердцем.

Пиши, родной. Вышла ли книжка? Я тебя очень прошу — сохраняй газеты со всем своим. Обнимаю тебя и опять жду, как обещал.

Женя.

09.05.1945. Минск.

Телеграмма. Поздравляю родную радостью твоей моей всех нас Максим.

9.05.1945.

Здравствуй, мой родненький Аль!

Это первая за все время оказия, и я рада возможности поговорить с тобой, урвав от времени лишних восемь дней.

А эти дни теперь такого наполнения, что, видимо, их не уложить в обычные часы и минуты, и я сегодня утром, подсчитав, сколько их набралось от твоего отъезда, очень удивилась, что не прошло еще и месяца.

Как хорошо, что ты послал телеграмму в этот прекраснейший день на земле. Так она нужна мне была, твоя телеграмма, и она пришла такой, как мне ближе и понятнее всего. И в ней ты, оставшийся собой даже в этих лимитированных кодом словах.

Я тоже дала тебе телеграмму 9 мая. Мне казалось, что вся Москва хлынула на телеграфы — так нужно было каждому сказать о радости самому дорогому и близкому человеку!

Но ты прости меня, Аль, мне очень тревожно за тебя. Я просыпаюсь с тяжестью на сердце — ты болен, и я все последнее время видела тебя во сне больным.

Хлопчик мой малый, — я прошу тебя — береги себя очень. Выполняй все, что тебе говорит Мелких, и старайся лежать, как только почувствуешь хоть маленькую усталость. Я не знаю даже, можно ли тебе курить, хоть и посылаю пять сотен папирос. А вот чернослив — это должно быть тебе в пользу.

И еще я прошу — ничего не скрывай от меня о своем состоянии. Обмануть меня ты не сможешь, а молчать тоже нельзя.


Евгения Пфляумбаум.

Я должна все знать о тебе. Только тогда я могу дышать и жить. Цветами ты меня очень порадовал.

Петруси прилетели позавчера, но еще ни один не позвонил и ничего не рассказал о тебе, хотя они, видимо, не представляют себе, в какой мере это меня волнует. А я не могу найти их ни в одной гостинице. И Мавр не знает, где они кинули якорь.

Новостей у меня никаких. (...) Да, Аль, тебе необходимо поехать в Ессентуки, я писала об этом Марийке. Нужно сразу избавиться от этой болезни. Ведь такая поездка вполне реальна. Приложи, родной, хоть маленькое усилие. Как ты теперь питаешься? Может быть, в Минске можно достать прованское масло — оно растворяет эти камни и удаляет. Так говорят знающие люди.

Я, как всегда, здорова, только по-прежнему замерзаю. Холода в Москве становятся чем-то неизбывным. Вечера заполняю работой (по дому) до 10—11, а потом читаю. Идти, ты знаешь, никуда не хочется. Я все-таки надеюсь, что ты скоро приедешь. Очень нужно крепко обнять тебя.

Будь здоров и весел.

Женя.

* 05.1945. Москва. (Без точной даты. — ***Т. К.***)

Очень беспокоит меня твое нездоровье. Отчего ты отказался поехать на курорт? Можно было сразу избавиться от этой напасти. А может, мы бы поехали вместе? Для меня это было бы настоящей радостью. Пленум закончился. Хлопцы едут домой. Едет даже и Глебка (...).

Я надеюсь, что ты сумеешь теперь приехать, не дожидаясь Лынькова. Да, давно уже мы не были вместе. Твои цветы стоят на столике и не осыпаются. С ними и с твоими, на этот раз скупыми строками, так и живу. Когда начинает давить одиночество — поговорю с тобой письмом или телеграммою, засыпаю спокойно. Я знаю, что помнишь обо мне и всегда со мной. Только осознавая это ежедневно, можно жить. Чувствую себя почему-то не совсем хорошо, хотя внешне лучше стала. Весна очень страшная, холодная, несолнечная. Дожди начинаются внезапно, и у меня промокают ноги. Поэтому и не могу избавиться от кашля. Если у Марийки есть пирамидон — привези, родной, пару порошков.

Весна уже на исходе, хотя ее никто и не видел. Читаю только вечерами. Ходить никуда не хочется. Были у меня Кондрат и Петруси. Хотелось их принять хорошо, но без тебя все получилось не очень. Не было той радости и желания сделать все хорошо, как при тебе. Поэтому порезались руки, редька была невкусная, картошка недоварилась, и Бровка, посмотрев на мои окровавленные пальцы, сказал, что я почти такая же хозяйка, как Лёля. А мне это уже неприятно. А вот Мавру я угодила. Он как-то пришел посмотреть, как я живу, и был, как всегда, голодный. Его я накормила как следует. В тот день, когда были хлопцы, умерла М. Д. (ночью). (Жена Коласа. Приписка сделана Лужаниным. — ***Т. К.***). Тяжело старику. И ребятам было с ним в последние дни тяжело. Особенно Бровке — он очень впечатлительный. Поэтому они были рады уйти хоть на время из дома. А Настя сделала глупость — начала при Коласе по телефону говорить, чтобы хлопцы вернулись домой, ведь он один. Старика это больше всего могло обидеть, ведь они не сказали ему, куда пошли.

Посылаю тебе пару сотен папирос и зажигалку.

Приезжай, Аль, как можно скорей. И прошу тебя еще и еще — держись. Говорят, что и курить при этой болезни нельзя. Хочу видеть тебя здоровым, веселым и крепким. Тогда и я крепну сразу.

Пришли или привези все, что написал, а я не читала.

Будь здоров.

Обнимаю родного. Женя.

*05.1945. (Без точной даты. — ***Т. К.***)

Радостно мне жить с хорошими твоими словами, с родной заботой и вниманием твоим. Только тревожиться не надо, я уже совсем здоров. Летом подумаем о таком отдыхе, чтобы было легко и спокойно обоим. Береги себя. Хлопцы расхвалили твой внешний вид, а сама говоришь, что чувствуешь себя не очень. Вот и обрати на это внимание — мне это прежде всего нужно. Новостей мало. Мало и пишется. Постараюсь собрать все для тебя, хотя и немного это тебя порадует.

Вчера приехали хлопцы и привезли твое письмо и посылку. Сегодня собирается Настя, и я спешу поговорить с тобой.

В эти дни было много хлопот, я остался один и был вынужден заниматься целым рядом не своих дел. Дважды вызывал нас П. К. Пономаренко. Праздновали у него на даче День Победы очень весело и тепло. Принял он нас широко и гостеприимно, угощал настойчиво и хорошей едой, говорил хорошие слова. Второй раз — был серьезный повод и разговор: Марью Дмитриевну мы похоронили 24-го, кажется, старик не почувствовал себя одиноким. Было много цветов, музыка, много людей и искренних слов. Говорил над гробом и я, еле не разрыдался, глянув на старика. Он потом целовал меня и благодарил. Наилучший же оратор был на кладбище. Всю дорогу шел дождь. Когда гроб поставили около могилы, дождь закончился и вдруг запел соловей. Всех нас это очень растрогало. Похоронили мы М. Д. около Кузьмы, на просторном месте, где и просил меня старик. Теперь он чувствует себя хорошо.

Весна холодная и досадная. Просыпаюсь и замечаю за окном толстый слой снега, а зелень на каштанах яркая, и кажется, что на них листья замерзают от холода.

Хожу в пальто. Костюм не шил. Может, на днях соберусь в Москву, если не прикажут проехать в западные области.

Рассказывай мне о себе.

Обнимаю тебя сильно.

(Подпись)

5.06.1945. Москва.

Почему-то очень грустно мне, родной. Одиночество уже, видимо, не преодолевается.

В Москве тепло. Какая-то даже утрированно яркая зелень пробилась на чугунные венки вокруг памятника Гоголю. Почему-то и она ударила меня в сердце.

На днях была на вечере Пастернака. Видимо, только он так весомо сказал об этом городе:

Мечтателю и полуночнику
Москва милей всего на свете:
Я дома, у первоисточника
Того, чем будет жить столетье.

Этот большой и удивительный ребенок пытался прозой объяснить свои стихи. Получалась невообразимая лирическая кутерьма, и он совсем запутывался, смущенный и беспомощный. И в эти минуты были самые задушевные аплодисменты.

Я очень порадовалась статье лондонского профессора в «Британском союзнике» о переводах Пастернака. Он говорит то же самое, что испытывала я, читая «Гамлета» и «Ромео и Джульетту». Это действительно гениальный переводчик, и ничего лучшего у нас до сих пор не было, да и не только у нас.

Не работается. Выслушала часовой выговор от В. А. за то, что в этом месяце не выполнила нормы. А отпуска не дает, и очевидно, не намеревается.

Почему-то выдались такие тревожные дни, когда я ничего о тебе не знаю. (...)

А если мы с тобой съездим на Украину к Наташе? Она пишет умоляющие письма, обещает в неограниченном количестве молоко, мед и утки. А тебе хорошо бы было посидеть на диете. У них, кроме того, свои абрикосы и вишни. Поедем, родной. Сделай это для меня. Я очень истосковалась по тебе. Ты знаешь, как радостно было бы мне поехать вместе.

Обнимаю родного моего.

Женя.

* 12.06.1945. Москва.

Сегодня Колас едет в Минск. Такое у меня впечатление, что он стал чуть спокойней. Даже рассказывал веселые вещи из белорусского фольклора.

Когда же я дождусь тебя, родной мой? Хотелось бы хоть раз поехать встречать тебя на вокзал. Сейчас это можно сделать независимо от времени прихода поезда. Для этого нужно только дать телеграмму.

Хорошо было бы тебе приехать перед 24-м. В Москве в этот день намечается большой парад и демонстрация. Я уже несколько дней не могу спать, потому что под окнами еженощно маршируют офицеры и движется артиллерия. Тебе надо это посмотреть. Однажды ночью я около часа стояла перед окном — движение это было сказочным.

Я здорова, мало работаю и не умею себя заставить как следует работать.

Думаю только об одном — хочу тебя видеть, а во сне вижу только тогда, когда назавтра получаю какую-нибудь весть от тебя. (...)

Женя.

25.06.1945. Москва.

Аркаша не привез письма. Танк даже не позвонил, почта не приносит ничего, кроме «Известий». Очень трудный выдался месяц. Знаю, что ты уехал, но ведь ненадолго. Видимо, одиночество мне больше не под силу — отсюда и бесконечная тревога за тебя. Где ты, как ты, здоров ли, что думаешь, хорошо ли тебе, так ли как нужно? И оттого, что я ничего не знаю, — очень трудно, Аль.

Если тебе не хочется писать — шли телеграммы, позвони, передай на словах — только не молчи. Ведь уже целая цепь оказий прошла мимо — и Зарицкий, и Платнер. Что же случилось, родной мой? Успокой меня как-нибудь — самым скорым способом. Ведь не может быть, чтобы ты хотел для меня тревоги.

Без карточек все-таки трудновато. В июле не будет и обеда, потому что семья редакторов выросла и ежемесячно один остается без литера.

Июль — мой выход из игры. Я надеялась, что мы уедем к Наташе, но как это все осуществить?

С тоски я стала писать стихи. Видимо, для так называемых поэтесс, — это единственная почва, где что-нибудь может произрастать от поэзии.

Будь здоров, родной.

Обнимаю тебя.

Женя.

*24.07.1945.

Хоть и не получил от тебя отпор, но, подумав, решил, что лучше всего ехать к Наташе. Причины задержек: журнал и злостное безденежье. Это тебе подтвердит и Антон. С приездом Лыня квартирные дела не продвинулись вперед, и я укрепляюсь в своем решении ехать в Москву.

По непонятным мне причинам вызов твой до сих пор на подписи, начальство скоро вернется, тогда пошлю сам, не надеясь ни на кого больше. Отдых планируй с половины августа, но, может, к этому времени уволишься там.

У нас совсем холодно и опять дожди. Перебрался в свою прежнюю чистую комнату, где очень не хватает тебя, родная. (...)

Обнимаю тебя.

(Подпись)

1945. (Без даты. — ***Т. К.***)

Прости меня, родная моя, хороший мой Жень! Трудно и грустно мне без тебя, а пока вот ни в Москву, ни на Украину нельзя. Дело-то в том, что я все (...) улетел бы крыльями по воздуху, а с квартирой ничего придумать не могу. Тут такое переплелось, что Бровка бессилен — его самого сгоняют с квартиры — и сколько усилий ни тратим мы, ничего поделать не могу. Я уже написал, что буду вынужден на продолжительное время уехать в Москву, на это никто не согласен, а уехать самовольно — расценят как демонстрацию. Жду с нетерпением Лынькова, если с ним ничего не сделаем — уеду невзирая ни на что.

Сама понимаешь, настроение глупейшее, поэтому и написать тебе связно не могу, не хочу обременять тебя излишними тяготами.

Живется вообще ничего. Только, к сожалению, Минск остается Минском, и иногда бывает душновато от среды. Я всегда вылезал из нее, очень много у меня острых и непонятных углов. А к старости становится все больше. Пойми меня и знай, родная, всегда, что несмотря на молчание, на внешнюю растрепанность, я с тобой, всегда о тебе думаю и стараюсь каждый шаг направлять так, чтобы тебе было легко и спокойно, чтобы мы вместе могли полнее воспринимать все то, что еще оставила жизнь.

Устал. Не могу организовать отдых и нормальный день. Мечтаю о Москве, очевидно, возьму путевки — напиши, куда лучше: к морю (боюсь дороги и неустроенности) или поближе к дому, в сосняк.

А все-таки говорить надо. Пожаловался тебе, хоть и стыдновато, но легче.

Посылаю телеграфом 1500 р. и телеграмму. Напиши получение. Почитай мою книжку. Говорят, неплохо, а я морщусь. Скажешь?

Обнимаю, тихонько прижимаю к губам милую лапу.

(Подпись)

1945. (Без даты. — ***Т. К.***)

Здравствуй, Жень!

Ну вот, кажется, и настоящее тепло. Я сильно толстею и посему чувствую себя беспомощной рыбой. Спасибо ветерку, дует в окошко и немножко приносит тополиной свежести. Обзавелся вещами: стенные часы отбивают звончайшим голосом положенные им удары, приемник помогает переживать вечера — слушаю английские песенки и до слез хохочу над завываниями турков, маленький ундервуд пока без употребления — надо овладевать техникой письма. Ты будешь довольна этими вещами.

Я уже решил ехать к Наташе. Только, говорят, на Украине неспокойно, недоловленные бандиты делают налеты. По этому поводу получше расспроси Алексея. Завтра проверю высылку тебе вызова, он должен быть выслан обязательно. Если с Украиной не выйдет, поедем к Несвижу на озеро. Все равно ведь. Сейчас занят журналом. Нашу «Гадину»[1] реорганизовывали в «Вожык», и теперь много возни.

О здоровье не беспокойся. Все, кажется, прошло бесследно, во всяком случае, тревожных признаков нет. (...)

Михась после дороги отдыхает, шлет тебе привет.

Писать трудно, а посему и пишется мало. Очень много времени уходит на окололитературные, правда, нужные, но не идущие в основной баланс дела.

Прошу тебя быть спокойной. Мне кажется, что сейчас дело идет окончательно на лад по всем направлениям.

---

[1] Листок «Раздавим фашистскую гадину!».

(...)
Думаю о встрече, жду ее.
Будь здорова и спокойна еще раз.
Обнимаю.

(Подпись)

* 10.10.1945. Минск.

Хороший мой Жень!

По городу ходит дождь, в доме холодно и неуютно. Только когда глаз найдет какую-нибудь мелочь, оставшуюся от тебя, тогда посветлеет, и кажется, что сейчас ты придешь из другой комнаты и принесешь ласковое словечко.

В городе много новостей. Первая и наиболее интересная, заставляющая дней пять трястись всех сплетниц мужского и женского рода, — Михасёва женитьба. Отколол он эту штуку совсем неожиданно: в воскресенье вечером поговорил со мной о семейной жизни, а в понедельник с утра познакомил с женой. Это та самая женщина, что приходила с Глебкой играть в дурака. Игра, как видишь, закончилась печально для седого: курить ему не дают, рюмку ограничили и рассчитали секретаршу. Наверное, теперь моя очередь на расчет: надо выбираться из комнаты. Это, конечно, пока шутка, но чем черт не шутит. Женщина — старательная, но, судя по острым и довольно наглым ее глазам, они не обещают Михасю счастливого будущего. Хотя мне думается почему-то, что все будет хорошо.

Отпраздновали юбилей Александровской. Хорошо и очень торжественно. Один вечер она пела «Кармен», а на второй было торжество. (...)

Журнал подготовил 4-й номер. К сожалению, заболел Кондрат, и это добавило хлопот. Возможно, эта болезнь не затянется. Нынче видел жену, и она говорит, что все обойдется. (...)

Как у меня дела? Лимит получил и без особенных потерь отоварил. Хуже с домом — ни слуху ни духу. Михась подал список на квартиры — моя фамилия первая. То есть, что в одном из первых домов квартира будет.

(...) Настроение и стремление к работе есть. Подниму с кровати Кондрата и буду готовиться к приезду к тебе. Готовиться, правда, особенно нечего — сесть в поезд да ехать. Прельщает и другая перспектива: на носу поездка в Германию, но мне стыдно дважды не сдержать данные тебе слова. Постараюсь еще позвонить тебе, малыш, чтобы услышать твой голос. Позавчера ходил утром на телеграф, но разговор не удался. (...) Как у тебя дела с увольнением? Есть ли результат от последней бумаги? Об этом я хочу спросить тебя. Может быть, что-то надо сделать дополнительно. Спокойной ночи, родной. Время и мне. (...)

Давай лапы свои.

Алесь.

* (Без даты, рукой Лужанина помечено: 1945 год. — ***Т. К.***)

Телеграмма из Вильнюса пришла позже письма, привезенного Богатыревым, и я полагала, что ты в Германии. Спасибо, родной мой, за подарки, постараюсь, как приказал, съесть все сама. Сейчас со мной дочь Я. Мавра Наташа. Мне немного легче, когда рядом кто-то есть. Она славная скромная девушка и во многом ведет себя именно так, как в таких случаях вела бы я сама.

Когда ты приедешь, она пойдет к Шуре — сестре.

Я рада, что ты съездил в Литву. Может, и мне когда-нибудь доведется попасть в этот город, что так понравился тебе. Его любил и Купала. Часто говорил он мне, что это лучший город в мире и мне надо специально поехать посмотреть его.

Еще хотелось бы мне, Аль, побывать на пленуме. К тому времени я, по-видимому, не освобожусь, но по какой-нибудь особой телеграмме могла бы выехать. Увольнение мое упростилось бы, если бы ты приехал в Москву и договорился с Гришелевичем насчет моей работы, а так, ты понимаешь, я могу попасть в тяжелое положение, поэтому я вынуждена держаться не так категорично, как это

нужно для окончательного расчета. Вот видишь, Аль, как это все сложно и без твоей помощи не развяжется.

Надеюсь, что ты все же приедешь в Москву после пленума, не обращая внимания ни на какие преграды. Тебе необходимо хорошо отдохнуть. А сейчас в доме тепло и светло, а значит, и уютно. А потому еще более не хватает в ней тебя.

Скоро праздник. И я уже боюсь своего настроения. Пусть бы он скорее прошел. Если у тебя будет возможность, позвони мне, Аль. Услышу твой голос, и у меня будет праздник.

Воротник мне доведется покупать в Москве, потому что он нужен мне уже 15 ноября. Ты не успеешь привезти его из Германии. (...)

Не обращай внимания на настроение письма. Я, вообще, веселая. Буду ждать тебя из путешествия и телеграмм. Обязательно телеграмм. И привезешь мне что-нибудь красивое, чтобы от тебя на всю жизнь.

Прошу тебя, береги себя. Не надо часто сидеть за картами. Ты утомляешься и потом не спишь. Обедаешь ли хоть ты ежедневно?

Как с Марийкою, носит ли она тебе хлеб?

Как с почками?

Все это мне надо знать, а ты пишешь мало.

Будь здоров, Аль.

Женя.

(...)

(Без даты. — ***Т. К.***)

Аль, мой родной!

Москва уже белая, и по утрам мороз. А я плохая хозяйка — не замазала еще окна. Не было времени. Целую неделю убирала дом, ожидая хозяина. Даже красила, натирала пол. Хотелось, чтобы приехал ты в чистый светлый дом и по-настоящему отдохнул. И так он, глупый, стоит и чистый, и пустой. Но ты не думай, родной, что я обижена. Тебе необходимо поехать с хлопцами, и я рада, что ты поедешь. Только прошу тебя, береги, смотри себя хотя бы немного — обедай ежедневно и помни, что ты у меня больной мальчик.

А та твоя статья — стоит ли на нее реагировать? По-моему — нет.

Хочу обнять тебя сильно, чтобы спокойно и радостно тебе было жить. Чтобы здоровым ты был и веселым по утрам, поднимаясь с солнцем, и немного вспоминал обо мне.

Думаю, что после Германии у тебя будет возможность приехать в Москву. Новый год мы должны встречать вместе.

После этой дикой поездки на картошку я долго болела. Сейчас уже почти хорошо. Обошлось. С Оборониздатом все еще неизвестность. Без Попова Краснов отказался увольнять меня. Правда, в некоторой мере это компенсируется литерным обедом. Сейчас столовая на Воровского переведена на время ремонта в «Москву». Здесь мне и близко, и приятно — очень уютно, и вкусно кормят. Но прикрепиться было очень тяжело, ведь я опоздала. Немного помог Мозольков. Он, кроме всего, сказал мне, что тебе стоило бы приехать и дать книжку в «Советский писатель». Это совсем реальная возможность.

Пошить пальто в Москве — это, едва ли не большая проблема, чем в Минске. Много хлопот. Наконец получила ордер в Литфонде, купила ватин, нитки, парусину и отдала все это в ателье.

Воротник можно сдать позже, он нужен во время примерки, а она будет только 15 ноября.

Вот сейчас вспомнила, что пленум ваш планируется на конец ноября, и опять ты не сумеешь приехать. Как это все выстраивается всегда нехорошо для меня. (...)

Как хорошо было бы здесь нам вместе. Ну, хорошо, родной. Я буду терпеливо тебя ждать и все делать для того, чтобы тебе было лучше и спокойнее.

Я ты купи там то, что я не нашла в Минске. Хорошо?

И еще прошу тебя, когда будет возможность, звони мне чаще отовсюду, где будешь.

Минск. (Без даты. — ***Т. К.***)

Напиши, сообщи хоть с какой-нибудь маленькой определенностью, когда приедешь. Никогда так страшно мне не тосковалось, как теперь. И если бы знать, верить тебе, что действительно здоров.

Совсем я не умею без тебя жить. И спать разучилась совсем. Каждую ночь от тебя приходят поезда, и я слышу их очень близко, а ты не едешь.

И так всю жизнь я жду тебя с дорог. Аль, поспеши, мой хлопчик.

Обнимаю тебя, родного.

Будь здоров и весел. Женя.

Квартира еще не совсем готова, но на нее уже много претендентов. Хозяин пока не меняет своего решения, но особой радости этот дом не представляет. Там очень сыро, а вода, свет и канализация предвидятся только в далеком будущем.

Весна в Минске неровная, напряженная и холодная.

Все иначе с тобой.

Читаю много и немного вспоминаю английский.

Сообщи скоренько о себе.

27.03.1946. Москва.

Наконец-то вчера от тебя весточка. Я уже передумала все самое страшное, и вот только после твоих родных слов поняла, что в мире весна, за нашими окнами настоящее весеннее солнце. (...)

Получила пропуск в Ленинку и выполняю твое задание. Море стихов — я утонула в них, особенно в «Узвышшы». Есть, не в обиду Вам будет сказано, прекрасные стихи. Читая, я все их вспомнила. Они и тогда мне нравились. Теперь осталось только «Полымя», а уже три полных тетради.

И буду собираться в Минск. По моим расчетам, это будет не раньше 5 апреля, потому что с 1 апреля начнут выдавать отпускные деньги, и я получу рублей пятьсот, а иначе я не смогу выехать. (...)

Сейчас в Москве Лыньков с Глебкой, Купалиха и Пимен. Лыньков с Петрусем везли сюда девять кандидатур на сталинские премии. Девять! — не постигаю, как они обрели столько. В дороге по зрелом размышлении они вычеркнули шестерых. Так что представлены трое — старик, Кондрат и Максим.

Я отдала Лынькову утюги и плитки — пусть сам везет, мне будет легче.

Он мне сказал, что один коттедж готов, но пока для жилья не пригоден — ни света, ни воды. И кроме того, на собрании постановили распределить там по комнате тем, у кого совсем нет жилья. Значит, опять мы ничего не получим. Он говорит, что скоро будут отремонтированы квартиры в городе. А вообще, он считает, что хорошо бы тебе подъехать сейчас в Минск.

Не знаю, как ты на все это смотришь, — этот дом, я чувствую, тебя не очень привлекает, но еще одну зиму жить так, как до сих пор, — очень трудно.

Видишь, как много накопилось всего, что необходимо тебе сказать. И еще очень много осталось несказанным, но это до встречи — боюсь, что письмо будет слишком тяжелым. Нужно видеть тебя, родной, очень нужно. Здоров ли ты действительно, как пишешь? Устал, наверно? Торопись, Аль, домой — пора уже, мой хлопчик. Пиши хоть изредка, а то я не умею быть спокойной без твоего слова.

Береги себя, слышишь.

Я тебя очень слушаю и каждый раз с удивлением убеждаюсь, что ты опять был прав.

Будь здоров, Аль.

Обнимаю тебя.

Женя.

Подготовила к публикации и перевела письма, отмеченные звездочкой, с белорусского Татьяна Куварина.

ГЕОРГИЙ ПОПОВ

Откуда течет «Нёман»[*]

18 июля 1974 г.

Вчера заходит в редакцию Константин Губаревич, драматург. Оказывается, побывал в колхозе «Коминтерн», что на Могилевщине, и написал очерк.

— У вас очерками занимается, кажется, Леонид Леонов. Или Леонович, как он подписывается?

— Нет. Он занимался критикой. А теперь будет заниматься наукой, — говорю.

— Наукой — это хорошо. По сравнению с критикой наука — живое дело... Кстати, он и пьесы пишет. Одну предложил министерству... Читал...

— Ну и как?

— Драматургия — трудный жанр!

И — пошло-поехало. О том, что драматургия — трудный жанр, что мало хороших пьес... Вот сейчас проводится всесоюзный конкурс молодых драматургов. Двухступенчатый. Сначала в республиках отбирают, потом отобранные вещи отсылают в Москву, на всесоюзный. И что же? Поступило много, а отобрали пока что только две! «Вир» и еще... Вот память проклятая... Склероз...

Меня как будто кто в спину толкнул:

— Не «Площадь Победы» случаем?

— Вот-вот, «Площадь Победы»! Замечательная пьеса! Свежая, оригинальная, глубокая, с умным подтекстом... — и все в таком роде.

И — уже после того, как наговорил с три короба всяких похвал:

— А вы откуда эту пьесу знаете?

— Ну, откровенность за откровенность, — говорю. — «Площадь Победы» — это пьеса моей дочери. — И рассказал, кто она такая.

А вчера же вечером — звонок:

— Только что кончилось заседание жюри. Могу поздравить... Пьеса прошла первым номером! Больше того, решено, независимо от результатов всесоюзного конкурса, учредить республиканские премии. Этой пьесе присуждена первая премия — шестьсот рублей. Материалы представляются на утверждение министру. Кстати, сколько ей лет?

— Два — шесть, — говорю, давая понять, что разговор идет втайне от домашних.

— О, она далеко пойдет! — слышится в трубке. — Поздравляю!

Спасибо, говорю, а про себя думаю: «Дай-то бог, чтобы и на всесоюзном эта пьеса прошла успешно!» Аленке так нужен первый успех и первая поддержка! Поддержка не на словах — слов она наслышалась от Макаенка, — на деле. Талант у нее есть, замыслов не занимать... Не хватает уверенности в себе. А уверенность может дать как раз успех. Пусть самый скромный.

19 июля 1974 г.

Встал рано. Поработал. Потом сидел в кресле, за машинкой, и вспоминал сорок первый год. Но не войну, нет, — вспоминал семинар молодых поэтов и прозаиков, который состоялся в январе сорок первого в Новосибирске.

---

[*] Продолжение. Начало в № 12, 2010 г., № 1, 2, 3, 4, 2011 г.

Я жил в одной комнате с шорцем Федором Чиспияковым, — он что-то писал и вдобавок работал над русско-шорским словарем. К нему заходил Павел Кучияк, алтаец, или ойрот, как тогда говорили. Тоже смуглый и тоже немногоречивый. Я знал его по довольно слабой книге, вышедшей в переводе на русский язык.

Мои стихи разбирал Илья Мухачев, еще не старый, но уже тертый калач. Стихи ему нравились. Помню, особенно по душе пришлась ему строчка: «...лежит сугроб, разрезанный ручьем...» Он цитировал ее несколько раз.

Вместе со мной или позже, не помню сейчас, разбирались стихи Наума Голштейна, молодого, самоуверенного, смотревшего на всех как бы сверху вниз. Они были туманны, запутаны — под раннего Пастернака, как сказал кто-то из участников семинара. Запомнились слова Ильи Мухачева об этих стихах:

— Бывает, после дождя идешь по улице. Кругом лужи, лужи... Останавливаешься в страхе: какая безмерная глубина!.. Кажется, ступишь — и провалишься в бездну. Но вот осторожно ступаешь, и ничего! Лужа как лужа, она и до щиколотки не достает. Так и стихи Наума Голштейна. Первый раз прочитаешь: у, какая глубина! А потом вчитаешься, вдумаешься, — никакой глубины, просто... лужа!

Запомнилась и Нина Павленкова из Змеиногорска. Ее стихи хвалили. И сильно хвалили. Если меня обвиняли в объективизме, бунинщине (Илья Мухачев и сравнивал мои стихи со стихами Бунина), то ее принимали безоговорочно.

Ее стихи отличались простотой, субъективностью и удивительной сердечностью.

Ты мне памятен, старый, старый,
В горы брошенный городок.
Над тобою зарниц пожары
Плыли с запада на восток...

Она была кареглазой, стройной, умной... Не знаю, что нас (именно нас двоих) сблизило, но пока продолжался семинар, мы почти не расставались с нею. Вместе сидели, когда разбирались «произведения» наших товарищей, вместе бродили по тихим улочкам Новосибирска, ну и, разумеется, читали друг другу стихи — и свои, и чужие.

Она уезжала первой. Я пошел ее провожать. Внесли ее вещи, вышли в тамбур. Было холодно. За минуту до отхода поезда у меня закружилась голова. Я наклонился к ней и поцеловал ее в губы. И раз, и два, и три... Она вырывалась, но слабо... А потом посмотрела на меня долгим взглядом, как бы говоря: «Зачем?» Поезд тронулся. Стоя на перроне, я махал ей рукой. Она смотрела в оттаявший кружок в окне и тоже махала. Прошла еще минута... Поезд вдаль умчало... И... больше мы никогда не виделись. Никогда!

— Зачем? — и сейчас слышу я глуховатый, как бы идущий откуда-то из глубины ее голос.

Не знаю, как и тогда не знал. Наверное, затем, чтобы сейчас, тридцать три с лишним года спустя, я мог вспомнить и ее глаза, и голос, и те поцелуи в тамбуре вагона. Без таких воспоминаний жизнь наша была бы, я уверен в этом, намного беднее.

21 июля 1974 г.

Прочитав повесть Виктора Козько «Здравствуй и прощай», Макаенок сказал:

— В Белоруссии еще никто и никогда не писал такой прозы!

Штука, конечно, сильная и яркая. Тайга дана крупным планом. О тайге писали многие, но так, как написал Виктор Козько, — впервые. И люди, живущие в тайге, предстают живыми. Пусть некоторые характеры (Малыша, в частности) кажутся книжными, — это не меняет дела.

Проза, проза... Ах, как нам нужна хорошая проза! Мы добились признания читателей. «Неман» знают, его любят и читают. Но критика молчит, как и прежде. Более того, раньше, когда журнал влачил незавидное существование, критика замечала его чаще, чем сейчас. Нам предстоит преодолеть барьер критики. А пре-

одолеть его можно только качеством материалов, и в первую очередь качеством прозы. Больше хорошей прозы! — вот лозунг дня. Этим лозунгом мы и руководствуемся, составляя план первого полугодия будущего года. Начнем год романом Бориса Павленка «И нет дороги назад», потом дадим повесть Владимира Павлова «Нас поле не насеяно», потом снова повесть Виктора Козько — «Повесть о беспризорной любви»... Ничего, и критики заговорят!

25 июля 1974 г.

Беседа в редакции «Немана». Николай Виногоров рассказывал о советско-американских отношениях. Трудных отношениях!

Создается впечатление, что Америка — это мошна, из которой сколько ни черпай, все не убывает. Она всем помогает и всех покупает. С выгодой для себя, разумеется. Вот и теперь... Купила Египет, кормит Израиль, не жалеет миллиардов для Африки... И вдобавок содержит наемную армию. Раньше платила каждому солдату шестьдесят долларов в месяц, теперь платит триста!

Кто-то из наших хлопцев (кажется, Владимир Жиженко) пошутил:

— Раньше каждый американский солдат получал, как итальянский генерал, теперь получает, как советский.

Мы же вечно проигрываем. Денег для друзей не жалеем, но, увы, эти друзья часто оказываются ненадежными. Взять тот же Египет. Уж мы ли не старались: и Асуанская плотина, и металлургический комбинат, и дорогостоящее оружие, и военные советники... А вышло что? Нынешний президент Садат переметнулся к американцам, полагая, должно быть, что там можно получить больше. И оружие теперь закупает у американцев, и международную политику проводит, подлаживаясь под американцев.

Да и только ли Египет! Нашим врагом стал Китай. Все наши усилия нейтрализовать соседей Китая, тем более сделать их своими союзниками, терпят крах. Индия, во всяком случае, готова пойти на сближение с Китаем. Она уже ищет этого сближения. Япония тоже... Не этими ли провалами нашей дипломатии объясняется факт, что мы начинаем заискивать даже перед Польшей. Во всяком случае, Брежнев чуть не расплакался, когда в Варшаве ему вручали военный орден. «Я не думал... не мог думать... что через тридцать лет... поляки будут помнить...» Стыдно! Не через тридцать — они и через тысячу лет должны помнить!

Макаенок после беседы сказал:

— Миллиарды надо вкладывать не в Африку, не в Индию, — в Рязань и Воронеж. В случае войны они наши самые надежные «союзники». А мы? Мы заставляем их за колбасой в очередях стоять!

О, Русь! Тебя, и правда, умом не понять и аршином общим не измерить. Все-то годы тебя стараются надуть, поприжать и потеснить, надавать тебе тумаков и зуботычин. А ты знай себе стоишь и растешь, и еще находишь в себе силы шутить и улыбаться, и похлопывать по плечу братьев-соседей: «Ничего, как-нибудь... Не пропадем!» Тебе изменяют, а ты прощаешь даже измену. Ты всех называешь братьями и сестрами, со всеми готова поделиться последней рубашкой. Тебе же в ответ (ой, как часто) показывают фиги и кулаки. И выходит, в конечном счете, что надеяться тебе не на кого, кроме как на себя. Что делать?.. Как быть?.. Дай ответ!

5 сентября 1974 г.

Юлька пошла в школу. Учится пока неважно — письмо не получается. И сама Юлька, и бабушка измучились — и хоть бы что!

27 сентября 1974 г.

Осень. Туманы — ни зги не видать. И настроение какое-то туманное, неопределенное. Может, оттого, что неожиданно заболел — воспалением легких. Кололи. Потом перестали. Но все равно недельку еще придется посидеть дома.

Когда я был в Ирпене, воспалением переболел Макаенок. А сейчас, стоило ему уехать в Югославию (на фестиваль театрального искусства), как я свалился. Словно в порядке очередности.

А дома... дома тоже невесело. Ассистентская работа на киностудии Аленке не нравится. Да это и правда не то, не то... Ждет результатов конкурса. Как-то, перед отъездом в Югославию, Макаенок спросил:

— Тебе Луценко ничего не передавал?

— Нет, — отвечаю.

— Как же... Аленкина пьеса получила первую премию. Здесь, в Минске.

— Очень рад, — говорю. — Но ты, Андрей, подсказал бы тому же Луценко, как главрежу, взять и поставить эту пьесу. Поддержать молодого талантливого человека — что может быть благороднее и благодарнее!

Макаенок сказал, что и об этом шел разговор, но Луценко колеблется.

Я передал все Аленке. Здесь, в Минске, пьеса получила высшую оценку. А как там, в Москве? Вот вопрос!

4 октября 1974 г.

Умер Василий Шукшин. Яркий талант, разносторонний и — удивительно русский. Даже в самой его разносторонности — актер, режиссер, писатель — было что-то широкое, щедрое, русское. Больно и горько. Вот уж о ком поистине можно сказать — невосполнимая утрата...

Мне, к сожалению, не довелось встретиться с ним. Лишь в Коктебеле (так уж выходило) мы все время устраивались на пляже рядом с его женой, актрисой Лидией Федосеевой. Она отдыхала с дочерьми, симпатичными белобрысыми девчонками, кажется, больше похожими на мать, чем на отца.

9 октября 1974 г.

Где-то опять подхватил что-то вроде воспаления легких. Две недели валялся дома. Вчера пошел закрыть бюллетень, и в лечкомиссии встречаю Михаила Савицкого, автора «Партизанской мадонны». Худой — кожа да кости, — страшно смотреть. Человек какой год страдает язвой желудка, и врачи ничего не могут поделать.

— И вы сюда похаживаете?

— Нужда заставит, — отвечаю.

— Ох, эта нужда... — И как будто виновато улыбнулся.

В редакции дела идут помаленьку. Едва переступил порог, и сразу с головой в работу. То то, то другое... Авторы идут, корректуру надо просмотреть, оригиналы прочитать — три дня до сдачи в набор первого номера... На минуту заглянул Макаенок. Бодрый, краснощекий — ну здоровяк да и только. Между прочим, буквально на ходу сообщил новость. Олег Санников звонил в Москву, в Министерство культуры, и ему сказали, что пьеса «Площадь Победы» встречена жюри хорошо и, возможно, потянет на премию.

Это радует и... беспокоит. Радость понятна. Получить премию на всесоюзном конкурсе для Аленки что-то значит! А беспокоит... Беспокоит, что появятся деньги, и она, Елена, постепенно собьется с пути истинного. Сейчас курит и выпивает, а что будет потом... Примеров вокруг хоть отбавляй! Ю. М., говорят, совсем спилась. С. Е. трезвой почти и не бывает. Как-то звонила — лыка не вяжет... А ведь обе эти дамы очень талантливы и могли бы кое-что дать нашей поэзии. Так и Аленка... Не пересилит своих желаний — и пиши пропало.

21 ноября 1974 г.

«Неман» переживает трудные времена.

За пределами республики журнал залимитирован — можно ожидать, что тираж упадет. Это скверно. Завоевывать рубежи всегда труднее, чем их терять.

А тут еще и некоторые недоброжелатели мутят воду. Кому-то не нравится, что мы мало (будто бы мало) переводим с белорусского. Нажали на Михася Парахне-

вича, на Анатолия Кудравца, а те подготовили дело... И вот в конце ноября или в начале декабря нас должны пригласить к самому товарищу Марцелеву.

Макаенок уехал в Алжир. Оттуда вернется в Москву, а потом — почти без передышки — в Прагу, на какой-то фестиваль театрального искусства. Ему не до журнала. Да и вообще, он все чаще поговаривает об уходе. Насколько искренне это желание (уйти), трудно сказать, но суть не в этом. Нам далеко небезразлично, кто станет во главе журнала.

Но мы не унываем и делаем свое дело. Читается в Главлите первый номер, макетируется второй, готовится к сдаче в набор третий... Первые номера получаются достаточно разнообразными и содержательными, а читатели, думаю, останутся довольными.

Аленка томится ожиданием. Переделала «Площадь Победы» — она стала хуже, слабее. Теперь опять взялась за переделку, уже возвращаясь, вернее — приближаясь к предыдущему варианту. Посмотрим, что из этого получится.

27 ноября 1974 г.

Вчера выступали в библиотеке Академии наук БССР. Все было бы хорошо, если бы не телевидение... Когда знаешь, что тебя «записывают», становится не по себе. Пропадает раскованность, улетучиваются слова, и ты начинаешь городить черт-те что.

Перед началом встречи говорили о книгах вообще, о редких книгах... Я вспомнил, что библиотеку Академии наук (эту самую) когда-то спасла наша 246-я стрелковая дивизия. Было это весной сорок пятого. Мы форсировали Одер и выбили немцев из Ратибора, что в Верхней Силезии. Попутно взяли и близлежащие деревеньки. И вот в одной из них — в деревне Шенхайн — и обнаружили книги с библиотечными штампами академии. Большая часть была свалена (не сложена, а именно свалена) в каменном доме на краю деревни, похожем на барский особняк, меньшая — в другом доме, посередине деревни. Помнится, стояли мы в Шенхайне не долго, день или два, и тронулись дальше. Дивизии предстояло взять Опаву (Троппау) и продвинуться вглубь Чехословакии. Но о библиотеке все же позаботились. Говорили, что начальник политотдела полковник Голубев сначала поставил охрану, а потом распорядился погрузить книги на машины и отправить в Белоруссию.

3 декабря 1974 г.

Человек живет в пространстве и во времени. Но если пространство мы начинаем ощущать с первых шагов — изба, двор, деревня, дорога, лес, школа, город и т. д., то физическое ощущение времени приходит не сразу. Чаще всего оно наступает, когда жизнь поворачивает к закату.

Это чувство скорее грустное, чем трагическое. Ты видишь, как все изменилось вокруг тебя, и в мире вообще, за один твой век... в сущности, за очень короткий век, осознаешь и тоже <u>почти</u> <u>видишь</u> (каким-то <u>внутренним</u> зрением, которое глубже <u>внешнего</u>), что жить остается немного... все меньше и меньше — с каждой весной, с каждым месяцем, с каждым днем, — и, внушая себе: «Не спеши, замедли бег!» — все пристальнее и <u>мудрее</u> вглядываешься в себя и других. Слух, зрение, осязание — все чувства обостряются, — и порой тебе кажется, что ты слышишь, как идет Жизнь и гудит Вселенная.

Особенно это чувство обостряется по утрам. Нынешние архитекторы молодцы, что делают окна почти во всю стену. Встанешь раным-рано, когда все в доме спят, — тишина, безмолвие... Лишь цепочка мертвых, электрических огней вдоль нижней кромки оконной рамы напоминает о том, что ты в мире не одинок... Идет время — и на твоих глазах меняется цвет неба, по крайней мере, над одной четвертой частью планеты. Сначала в окне сплошная чернь, потом чернь как бы разбавляется синью, потом к сини прибавляется молоко — еще слабое, едва заметное, — потом молока становится больше, чернь исчезает, а синь голубеет,

и наконец из-за нижней кромки оконной рамы выплывает в розовых одеждах новый день. Для одних — первый, для других — последний.

Твое сердце еще бьется, подлаживаясь к ритму Времени, стараясь выдержать безумное соревнование с этим ритмом... Тебе радостно и грустно... Грустно — потому что ты знаешь: победа в конечном счете будет не за тобой...

9 декабря 1974 г.

Ты — мне, я — тебе... Живучий принцип!

Ивану Шамякину надо пробить в роман-газете «Снежные зимы» — мы даем повесть Марты Фоминой, близкой приятельницы Ильинкова, зав. редакцией роман-газеты.

Андрею Макаенку надо чаще разъезжать по заграницам, — мы печатаем «Смерть манекенщицы» в переводе Ирины Огородниковой, жены какого-то влиятельного лица из иностранной комиссии Союза писателей СССР.

Тому же Андрею Макаенку надо «умаслить» редактора газеты «Советская культура» Романова (авось пригодится), — и вот звонок — срочно, в четвертый номер, дать его — Романова — воспоминания о Якубе Коласе...

И фактам такого рода несть числа!

10 декабря 1974 г.

Пересказал эти факты Наташке и Аленке. Они пожали плечами:

— Ну и что из того? Если надо, почему не напечатать?

А в этот же день и Макаенок завел разговор о Романове.

— Ты понимаешь, как он, Романов, может все истолковать? Вот, мол, я редактор газеты, которая является органом Центрального Комитета КПСС, а они тянут... Нарочно тянут... Чтобы показать, что им на все начхать!

— Ну, знаешь ли, так можно черт-те до чего додуматься! — возразил я.

— И додумываются! — засмеялся Макаенок.

Выходит, ты — мне, я — тебе не такой уж плохой принцип. Во всяком случае, ничего предосудительного в нем нет, никакого криминала. И так, скорее всего, думает подавляющее большинство.

11 декабря 1974 г.

Встреча со студентами Института народного хозяйства. Были Макаенок, Виктор Козько, Спринчан, Геннадий Бубнов. Журнал больше хвалили, чем критиковали. Но похвалы, как и критика, чувствовалось, были заранее подготовлены. Казенщина, а вернее было бы сказать — китайщина!

Потом мы с Макаенком отправились в комитет по издательским делам. Решался вопрос насчет тиража. Надо давать заказ в типографию. Республиканское управление по распространению печати назвало примерную цифру (окончательных итогов еще нет) — 130 тысяч экземпляров. У издательства с бумагой туго. Директор Терещенко оставил плановую цифру — 110 тысяч. Но ни управление, ни нас, работников редакции, эта цифра не удовлетворяет. «Воевали» с Терещенко, сошлись на 125 тысячах.

Потом спустились на первый этаж, зашли к Дельцу и тут все утрясли более или менее твердо. Те же 125 тысяч остались, уточнили только, где взять бумагу. Договорились два номера (пятый и одиннадцатый) выпустить на офсетной бумаге.

Терещенко кипятился:

— Вы не зарывайтесь! Поднимете тираж, а потом он вдруг упадет? Плакать будете!

На это Макаенок ответил шуткой:

— Зачем так мрачно думать о будущем? Какой же это мужчина, если, ложась в постель с женщиной, он будет думать, как бы эта женщина после не родила ему тройню?!

У Борушки, заместителя Дельца, был другой конец: он выжимал слезу. Дескать, пятнадцать дополнительных тысяч тиража — это же вон сколько книг белорусских писателей... На это Макаенок ответил:

— Каких книг? Плохих? Так их совсем не надо выпускать! — И немного погодя добавил: — В смысле популяризации белорусской литературы и вообще белорусской культуры «Неман» делает больше, чем все эти книги, вместе взятые.

И даже Борушко наконец сдался.

13 декабря 1974 г.

Разговорились о конкурсе. Что касается Москвы, то Макаенок настроен скептически. Провинция еще наивна и продолжает поступать по справедливости. В столице же творится черт знает что. Премии если не распределяются, то выколачиваются наверняка.

— Я ведь посылал на конкурс свой «Трибунал»... Пьеса как пьеса, пусть не шедевр, однако же идет! И что же? На мой «Трибунал» никто не обратил внимания! Премии получили пьесы, которые или не пошли нигде, или пошли в одном-двух театрах. Мой же конверт с девизом даже не вскрыли. После, когда я попал в министерство, меня упрекнули: что же ты, дескать, не сказал, что послал свою пьесу на конкурс? Меня это взбесило. Как же я мог сказать, конкурс-то, говорю, закрытый! Не хватает еще просить.

— Кто же получил?— спрашиваю.

— Они, кто же еще? — И после небольшой паузы: — Так что Аленка пусть особенно не надеется. Ей надо пробивать здесь, в русском театре. А после этого и дальше двигаться будет легче. Я знаю, что ее пьесы лучше многих и многих других, идущих в Москве. Но сквозь китайскую стену Алешиных и Зориных ей не пробиться.

19 декабря 1974 г.

Журнал требует всего тебя, без остатка. Иначе, наверное, нельзя.

Половина девятого. Звонок.

— Я слушаю...

Оказывается, из типографии, прямо из цеха. В рассказах Федора Конева не проставлены абзацы, а текст отпечатан на машинке плохо, и линотипистки не знают, как набирать.

Только сел за машинку — снова звонок. На этот раз — Михаил Шиманский, собкор «Известий». Заказанный редакцией репортаж о наводнении в Брестской области он не может представить сейчас, как условились, — просит еще деньков десять.

— Хорошо. Пусть еще десять. Но на этот раз чтобы точно, как в аптеке.

— Что вы, Георгий Леонтьевич!..

О времени, когда находишься в редакции, и говорить нечего. Идут, идут... Шлют письма... И за всем надо проследить, со всем ознакомиться — хотя бы бегло, — чтобы быть в курсе дела. Иначе случаются досадные оплошности. Жиженко написал бывшим щорсовцам грубое письмо — давай объяснительную в ЦК... Из Кустанайской области обратились за помощью оформить подписку еще 224 товарищам сверх лимита, — Белошеев отделался бюрократической отпиской... Пришлось срочно поправлять, то есть созваниваться с республиканским управлением, заказывать телефонный разговор с Кустанаем... Точнее — не с самим Кустанаем, а с каким-то райцентром области, название которого и выговорить трудно...

24 декабря 1974 г.

Вчера по телевидению передали в записи нашу встречу с читателями в библиотеке Академии наук. Обкорнали — не узнать! Но ребята — молодцы!— смотрятся хорошо.

25 декабря 1974 г.

Мой Эдик Свистун прошел без сучка и задоринки. У редактора Галины Нужковой было всего два или три замечания чисто стилистического характера. Я кое-что восстановил, кое-что добавил. Впрочем, совсем немного. Таким образом, рукопись еще до Нового года пойдет в техредактуру.

Признаться, я шел с намерением поговорить насчет оформления — не люблю аляповатых картинок на обложках... Но встретил Арлена Кашкуревича (здесь же, в издательстве), и он развеял все мои опасения и сомнения.

— Я узнал, что ваша книга в плане, и попросил ее на оформление...

Мне ничего не оставалось, как пожать ему руку. Эдик Кашкуревичу нравится, значит, за книгу можно быть спокойным.

Днем читал раннюю повесть Эрнеста Хемингуэя «Вешние воды», которую мы даем в четвертом номере. Злая штука. Озорная и злая... Рядовой читатель повесть не примет — не поймет, что к чему, — а тем, кто знает Хемингуэя и его окружение, она несомненно интересна.

А вечером... вечером вдруг заявляется молодой человек и спрашивает Елену Попову. Я прошу его раздеться и пройти в комнату, подождать. Тем временем встала и привела себя в порядок и сама Елена Попова. Вышла.

— Я рад первым поздравить вас с премией... Нам только что позвонили из Москвы, из ЦК ВЛКСМ...

Молодой человек (зовут его Валерием) оказался работником ЦК комсомола Белоруссии. Говорил он довольно путано и как-то невнятно. По его словам, Аленке хотели дать <u>первую</u> премию, но не дали по той причине, что у нее в пьесе нет <u>молодых</u>, и решили ограничиться третьей. Он же имеет поручение завтра, то есть сегодня, передать по телефону в ЦК ВЛКСМ кое-какие сведения об авторе. Когда родилась, где родилась, что окончила, какие творческие планы и т. д.

Узнав, что у Валерия дочка, которую тоже зовут Аленкой, — подарила той Аленке книжку «Галочка едет в Африку». Когда речь зашла о планах, новоиспеченная лауреатка сказала, что хотела бы съездить на БАМ.

— Пожалуйста, мы вам охотно дадим командировку, — заверил Валерий.

Ну, вот и все. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. «Площадь Победы», выходит, прошла. И здесь, и там. А «Под созвездием Гончих Псов» осталась незамеченной и неотмеченной. Но пусть! Мы все — особенно я и мать — и без того рады за Аленку. Пусть премия не решает всех проблем, — все равно рады.

26 декабря 1974 г.

Вчера заявился Александр Миронов и просидел у меня в кабинете часа полтора. Рассказывал и плакал. Самыми натуральными слезами плакал.

Конечно, отчасти сказывается возраст — ему уже, слава богу, шестьдесят четыре! Но и сама по себе история странная, нелепая и возмутительная.

Человек обладает секретом лечения эпилепсии, болезни, которая считалась и считается неизлечимой. На его счету — сотни, если не тысячи, людей, которых он избавил от этого недуга. А медики с дипломами все равно не признают и смеются! Вопреки очевидным фактам не признают.

За полтора часа Александр Миронов назвал, наверное, десятка три, а то и все четыре известных, уважаемых имен, — люди обращались к нему, и он помогал им. Я хотел записать, но это было как-то неудобно. А потом многие имена забылись. Помню только Григория Чухрая, Игоря Моисеева, Алексея Маресьева... Детей этих товарищей Александр Миронов избавил от эпилепсии.

Слух о писателе-докторе распространился и за границей. Недавно приезжает некто из Польши и просит помочь ребенку. Александр Миронов отказался, так как ребенку нет еще двух с половиной лет, а в таком возрасте давать свои порошки он опасается. Потом звонили из Югославии. По словам Миронова, молва распространилась через первую жену писателя Владимира Беляева, польку, которая

сейчас живет в Варшаве. Ее дочку он тоже в свое время вылечил, хотя случай был трудный.

Разговор зашел о самих порошках. Миронов сказал, что делает их из косточек черепа поросят определенного возраста (кстати, сами косточки удивительно похожи на черепную коробку и легко вылущиваются) и хрящевидной массы, которую берет из позвоночника, — опять же из определенных позвонков... Все, на первый взгляд, очень просто!

— Однажды я бросил. Припишут, думаю, шарлатанство и засадят на семь лет. Но люди идут и идут, плачут, просят помочь... Тогда я изготовил порошки, отнес министру здравоохранения Савченко и сказал: «Проверьте, сделайте анализ и скажите, могут ли эти порошки принести вред здоровью человека!» И вдобавок положил министру на стол список, в котором были указаны имена и адреса ста человек, которых я избавил этими порошками от эпилепсии. Недели через три или через месяц министр приглашает меня и дает заключение химической лаборатории: в порошках глюкоза и костная масса... Вот и все! Значит, никакого вреда они принести не могут! Что же касается списка, то с людьми говорили, все верно... И — дальше этого не пошло! Даже министр бессилен что-либо сделать!

— Что министр!

— Вот именно — что министр! Он, кстати, ездил в Академию медицинских наук... А воротился — и только развел руками. Но самое смешное то, что теперь ко мне приходят уже по рекомендации Савченко, этого самого министра. Так было, например, с главным урологом республики. И не только с ним.

Я завел речь о механизме действия. Оказывается, Миронов и об этом думал. По его наблюдениям, в девяноста случаях из ста эпилепсия возникает в результате какого-то сильного потрясения, испуга. Так как клетки головного мозга (серого вещества) очень нежные, то подобные потрясения иногда приводят к разрушению отдельных участков. Разрушается немного, может быть, несколько сот или тысяч клеток — всего-то их миллиарды!— но потом начинается как бы цепная реакция. Новые разрушения вызывают новые приступы эпилепсии. Какой выход? Надо локализовать процесс, заключить участок в прочную капсулу. Наверное, эту задачу и выполняют порошки.

Объяснение поверхностное и наивное, но — как знать! — возможно, в нем кроется зерно истины. В лаборатории обнаружили глюкозу и костную массу... Однако, может быть, в порошках есть и еще нечто! В конце концов, более глубоко (на молекулярном уровне) эти порошки никто не изучал, не исследовал...

31 декабря 1974 г.

Заказ с Нового года превысил 135 000 экз. Печатаем меньше — 125 000 экз. Бумага, бумага... Но и при этом тираже журнал даст 230 000 рублей чистой прибыли.

3 января 1975 г.

Макаенок стал лауреатом республиканской премии. 31 декабря наши хлопцы написали крупно и приклеили к двери его кабинета плакат: «С лауреата причитается!» И, не дождавшись, когда он явится, разошлись. Все спешили получить зарплату. Перед Новым годом.

Макаенок пришел, глянул, улыбнулся: «А что? Поставить?» Я сказал, что сейчас уже некому ставить — все разошлись. «Ну, потом!» Однако «потом», то есть 2 января, плакат сняли, начались будни, лауреата никто не поздравлял, считая, что поздно — время прошло,— и вообще у всех было такое чувство, будто ничего не было — ни премии, ни шутки... Осталась работа. Третья корректура второго номера, первая — третьего, неделя осталась до сдачи в набор четвертого... Колесо истории продолжает вертеться!

5 февраля 1975 г.

Аленка в Москве. Ей все же дали премию. В «Комсомолке» напечатана большая статья, в которой пьеса «Площадь Победы» получила почти восторженную оценку. Во всяком случае, по общему мнению, таких похвал давненько не удостаивались далее наши маститые драматурги.

Но бог ты мой, это ничего не изменило. Пьесу никто у нее покупать не хочет и ставить тоже. Розов, Салынский, Захаров (режиссер) чуть ли не лобызали автора, однако помочь никто ничем не может. Надо пробиваться собственными локтями. А локти у нее слабые.

Сейчас она в Москве. Судя по телефонным разговорам, настроение у нее самое неопределенное. Отдала три пьесы Захарову («Просительницу», «Площадь Победы» и «Созвездие Гончих Псов») и ждет, что тот скажет. Хочет встретиться еще раз с Салынским — авось удастся пристроить «Площадь» в журнал «Театр»... Розов сказал, что намерения у Салынского вполне серьезные.

После статьи в «Комсомолке» позвонил директор Киевского драматического театра имени Леси Украинки. Некто Михаил Иосифович... Попросил пьесу — для ознакомления... Я перепечатал и отправил один экземпляр. Посмотрим, во что этот интерес выльется. Надежд никаких не питаю, а все же... Чем черт не шутит!

А здесь полное молчание. Луценко — сытый и самодовольный — готовит собственную инсценировку «Василия Теркина»... Вот почему он и водил за нос Аленку, почти издевался над нею. Три раза заставлял переделывать пьесу, дважды назначал худсовет и в конце концов, не собрав, показал ей фигу.

8 февраля 1975 г.

Вчера Андрей Макаенок познакомил меня с другим Андреем — Андреем Вознесенским.

Мы сидели в кабинете, разговор продолжался минут сорок-пятьдесят и касался то того, то другого: книг, Театра на Таганке, прозы Мандельштама и т. д.

Вознесенский приехал в полиграфкомбинат им. Якуба Коласа, где печатается его новая книга. Нам показал только что вышедшую книгу — зеленую — сигнальный, как он уверяет, экземпляр.

Он в дубленке, всегда немного полураспахнутой, в джинсах и импортных ботинках на толстой подошве. Лицо холеное, с губ не сходит легкая, еле уловимая улыбка, несколько снисходительная, как мне показалось.

Что-то в нем есть от актера, играющего роль модного поэта, что-то искусственное, заемное. Глядя на него, вспоминаешь не Пушкина и Некрасова (с этими поза никак не согласуется), а декадентов — Иванова и Кузмина, например, и иже с ними.

Или ранних футуристов, когда те носили желтые кофты.

Евг. Евтушенко — демократ. Андрей Вознесенский — барин. Евтушенко, кажется, весь состоит из нервов. Вознесенский, наоборот, лишен нервов начисто — в нем преобладает мозг, ум и весь он от ума, его никак не назовешь печальником горя народного. Он живет в себе и для себя и просто-напросто не способен страдать за кого-то даже сострадать кому-то... И неприятие чего-то в жизни идет у него от моды, от желания поддерживать известную репутацию свою в известных кругах. А в сущности-то ему все равно, потому что главное в этом мире для него — это он сам, Андрей Вознесенский, остальные же и остальное его интересуют лишь как фон для его портрета и не больше.

11 февраля 1975 г.

Опять трудные времена. Савеличев лечится. Макаенок носа не кажет. Белошеев сует в журнал всякую чепуху. Пятый номер получается уж таким серым и тусклым, что и сказать нельзя.

Странно, что журнал все еще пользуется спросом. На днях получили письмо из Мирного, из того самого алмазного Мирного... Двадцати двум подписчикам вернули деньги. Люди недовольны, и вот обратились к нам с жалобой. Мы помогли, конечно, жители Мирного будут получать эти двадцать два экземпляра... Но — не разочаруются ли? Не откажутся ли потом возобновить подписку? Вот вопрос!

У Аленки дела тоже в общем-то швах. Никто не берет пьесу для постановки. Вот тебе и премия! Вот тебе и восторги уважаемой и авторитетной газеты! Трудно в наше время быть драматургом! Собственно, драматургия как литература театры не интересует. Им нужен материал для спектаклей. Отсюда — и пробиваются часто не самые талантливые. Тот же Матуковский — человек с большими локтями — пробился на сцену русского театра и рвется, закусив удила, дальше, в журнал «Неман», сам Луценко, не ахти какой грамотей, сочиняет инсценировку «Василия Теркина» (ко Дню Победы), а Аленке (талантливой и грамотной Аленке) показали кукиш с маслом.

И скучно, и грустно... Грустно, что каждый гребет под себя, — это бич нашего времени. Макаенок раньше еще что-то говорил, обещал, а сейчас и обещать перестал. Наверное, не хочет портить отношения с хитрым, умеющим обделывать свои дела Луценко и по-своему влиятельным Матуковским.

4 марта 1975 г.

Совещание писателей и критиков. Понаехала тьма-тьмущая народу. «Генералы» остановились в гостинице «Минск», остальные — в «Юбилейной». И вот — 27 февраля, десять утра. Зал оперного забит до отказа. Десятки людей явились в надежде пройти без билета. Удалось немногим.

В зале попадались и знакомые лица. Каплер со своей — увы! — уже немолодой Друниной. Нилин, Кешоков, Оскоцкий... Ну, и наши, разумеется. Адамович и Брыль — рядом, — как будто одной веревочкой повязаны. Алена Василевич, Владимир Карпов, Алесь Савицкий... В президиуме — ненамного меньше, чем в зале. В первом ряду — сплошные «звезды» — седой Константин Симонов, маленький, черненький, с узко посаженными глазами Александр Чаковский, лысый (или выбритый) Николай Грибачев, какой-то бледный, невзрачный Михаил Алексеев... Говорят, приехали Виктор Астафьев и Валентин Распутин, но ни в зале, ни в президиуме я их не видел.

Доклад Машерова по-своему хорош. Длинен, правда, — час сорок... Но коротко говорить (вернее, читать) мы не умеем. Нам надо обо всем сказать и все охватить. Такова традиция или привычка, что, собственно, почти все равно. Выступление Льва Якименко уже пожиже. Ни одной свежей мысли! Ну, а потом пошли речи, речи... Сорок с лишним речей! Я слышал немногие — надо было кому-то заниматься и «Неманом»... Но и те, которые слышал, не произвели большого впечатления. Василь Быков, Константин Симонов, Давид Кугультинов, Ничипор Пашкевич... Все говорят как будто умные вещи, говорят грамотно и здраво (впрочем, Быков и Пашкевич не говорили, а зачитывали заранее подготовленные тексты), а выйдешь из зала — и ничего не можешь вспомнить. Не речи — мыльные пузыри.

3 марта вечером возили гостей по заводам и институтам. Мне выпало представлять Генриха Гофмана, летчика, Героя Советского Союза, и украинского критика Виктора Беляева, редактора журнала «Украинское литературоведение», на автозаводе. Народу было много, слушали внимательно и уважительно. Словом, встреча прошла хорошо. В заключение дочь партизана Ольга Ипатова читала стихи — по-русски и по-белорусски.

Какое общее впечатление от совещания? Неопределенное очень. Зачем? Для чего? Почему? — эти вопросы остались без ответа. Грохнули деньги, а толку чуть.

— Впечатление такое, будто совещание и созывалось лишь для того, чтобы еще раз похвалить Константина Симонова и Александра Чаковского, — сказал Макаенок.

Не знаю, так это или не так, однако похвал в адрес этих «героев» действительно было больше, чем они заслуживают. Куда больше!

17 марта 1975 г.

У Аленки дела все еще шаткие. С одной стороны, явный успех. Все, кто читал первый вариант, хвалят.

Как-то телеграмма из Москвы, следом — другая: заказан телефонный разговор, ждите. Наутро, и правда, — звонок с киностудии имени Горького. Редактор и режиссер (некто Григорьев) взяли в ЦК ВЛКСМ пьесу «Площадь Победы», она им очень понравилась, и вот они ломают голову над тем, как бы ее экранизировать.

А еще немного спустя — письмо. Из редакции журнала «Театр». Пишет редакторша, которой поручено подготовить «Площадь Победы» к печати. Дескать, прочитала пьесу (оба варианта) и нахожусь под впечатлением... Хвалит, советует взять за основу первый вариант, конкурсный, но кое-что внести в него и из второго, — что, кстати, Аленка уже и сделала. Монолог Простоквашина называет блистательным. Просит вместе с окончательным вариантом прислать хорошую фотографию. По ее мнению, а это уже второе, после А. Салынского, положительное мнение, у редколлегии пьеса возражений не встретит.

И здесь, в Минске, что-то прояснилось, Аленке дают и республиканскую премию в размере шестисот рублей. Таким образом, она дважды лауреат — республиканской и всесоюзной премий... Но пока ни один театр (ни один!) не взялся ставить пьесу. В свое время зашевелились было в Киеве и Ленинграде, но потом умолкли и молчат до сих пор. Видно, пьеса не понравилась. А может, испугались, что она не будет иметь успеха у зрителей. Трудно сказать.

Сегодня Аленка летит в Москву — на всесоюзное совещание молодых писателей. Попала она туда, опять же, благодаря конкурсу. Союз писателей и не думал ее посылать. Да в Союзе ее и не знает никто. Только после того, как пришла телеграмма из ЦК ВЛКСМ, здесь оформили дело, то есть пригласили в Союз и предложили заполнить документы. Но в Москве, наверное, и этого показалось мало. Опасаясь, что в Минске «зажмут» дело, ЦК обратился еще и в Союз писателей СССР. И вот в прошлую пятницу телеграмма: послать...

Аленка собрала почти все экземпляры своих пьес «Площадь Победы» и «Созвездия Гончих Псов» и везет с собой. Первую уже надо отдавать в журнал «Театр», а вторую — всем, кто заинтересуется, — ей важно послушать чужое мнение.

19 марта 1975 г.

Трудный день. В одиннадцать утра — выступление на радиозаводе. Собралось человек тридцать. Все женщины. Кушали и слушали. Литература их, кажется, не интересует.

Потом — работа. И разметка, и чтение рукописей — все подоспело. А в два часа началось заседание шолоховского комитета. Председатель Иван Мележ, доложил план, стали обсуждать. Не решили одного — кто скажет основное слово о Шолохове на юбилейном вечере. По всему, делать это надо Ивану Мележу. Тот отказался, сославшись на то, что чувствует себя неважно, ложится в больницу. Другие (Иван Науменко, Алексей Кулаковский) тоже ни в какую: не тот, мол, уровень...

Иван Мележ назвал «Тихий Дон» библией... Когда-то это сравнение, только применительно к другой русской книге, употребил Шервуд Андерсен. Он так и писал: «Единственные в литературе «Карамазовы» — как Библия!» И — убедительно, ничего не скажешь. Во всяком случае, к «Братьям Карамазовым» это сравнение даже больше подходит, чем к «Тихому Дону».

На заседании произошел обычный и, я бы сказал, типичный инцидент. Коснувшись пятого номера «Немана», я сказал, что готовился этот номер долго,

а получился слабым, скучноватым. Из прозы назвал повесть «Хэллоу, Джон!» Анатолия Иванова. Информация была деловая, краткая. И все же кое-кого она задела. Сидевший рядом со мной Иван Науменко вскочил с места и раздраженно вскрикнул:

— Что вы не печатаете переводов с белорусского? Вы там смотрите, мы вам дадим!

— Кто это мы? — спросил я.

— Институт белорусской литературы Академии наук...

Так и хотелось заметить, что институт, в лице директора, берет на себя не свойственные ему полицейские (не милицейские, а именно полицейские) функции. Я с трудом, но сдержался, сказал только, что дискутировать на эту тему надо не здесь — в другом месте, и не сейчас, а в другое время.

Из союза опять побежал в редакцию подписать гонорарную ведомость. А вечером, вместе с Брониславом Спринчаном, отправился на встречу со студентами торгового техникума. Собралось немного, опять же человек тридцать с небольшим. Но встреча прошла хорошо. Когда мы кончили и стали прощаться, многие говорили, что этот вечер останется у них в памяти как маленький праздник.

22 марта 1975 г.

Ни тепло, ни холодно. Светает рано. Восходы удивительные! Небо у горизонта ярко-красное, потом просто красное, потом красно-желтое, зеленоватое и зеленое, и наконец голубое и синее. И на этом фоне — темные силуэты зданий, как бы пронзенные насквозь лучами света — в квартирах зажигаются первые огни...

Тишина. Только далеко-далеко шумят проходящие поезда. А больше ни звука. Все домашние спят, и кажется, — ты один, совсем один на свете, может быть, во всей Вселенной. Один — и нет никому и ничему до тебя дела. Живешь — хорошо, умрешь — тоже... да, тоже, в общем-то, хорошо. Ведь умереть так же естественно, как и родиться.

А вот тебе (именно тебе) до всего и до всех есть дело. Ты вобрал в себя весь мир, всю Вселенную и чувствуешь себя в ответе за этот мир и эту Вселенную. Это не эгоцентризм, нет! Это скорее та всечеловечность и всемирность, о которой в свое время говорил Достоевский и которая, собственно, делает человека человеком.

25 марта 1975 г.

Почти весь день в 107-м минском среднем ГПТУ. Макаенок, Алексеев, Кулаковский, Савеличев, Козлович, Спринчан, Янищиц... Со стороны профтехобразования — Макаенок, Соколовский, Карпова... Словом, народу хватало. Я уже не говорю о самих учащихся.

Сначала осмотрели выставку технического творчества. Потом переехали в училище и собрались за «круглым столом». Максимов открыл. Потом слово сказал Макаенок и информацию сделал Козлович — о том, что мы печатали... После Козловича выступали кто хотел. Говорили коротко — по пять-семь минут — и в общем по-деловому. Были и конкретные предложения, поднимались проблемы, ставились вопросы... Словом, нам, неманцам, есть над чем подумать.

Когда «круглый стол» кончился, директор повел нас знакомиться с училищем. А после знакомства начался «огонек». Учащиеся пели, танцевали, разыгрывали сценки из пьес Макаенка «Извините, пожалуйста» и «Левониха на орбите». Гости, со своей стороны, произносили речи и читали стихи. Макаенок прочитал монолог матери, потерявшей девятерых сыновей. Прочитал не очень выразительно, кстати сказать. Евгения Янищиц и Бронислав Спринчан читали свои стихи. Читали хорошо. Особенно Спринчан. Голос у него дай бог!

А потом... потом руксостав техобразования и гости, то есть мы, неманцы, были приглашены к директору училища. Здесь тоже был «круглый стол», но

совсем иного рода. Коньяк, шампанское, конфеты, апельсины... После третьей рюмки генерал Алексеев стал петь. Я слушал и думал с опаской: бедняга, а ну как рассыплется! Ведь рюмку держать и то не может — рука дрожит... Бронислав Спринчан вскочил и прочитал свой перевод стихотворения Геннадия Буравкина «Мини». Макаенок, бывший уже навеселе, подхватил стихи, как эстафету, и давай балагурить в прозе. Довольно откровенно и скабрезно... Максимов, в свое время пострадавший именно из-за выпивки (был прокурором республики, а стал... начальником книготорга) — Максимов, гляжу, нервно ерзает за столом. Мне тоже все уже поднадоело. Я встал и сказал, что все, на этом надо ставить точку. Максимов обрадовался: «Да, да!» — и первым вышел из-за стола.

Встреча прошла хорошо. Только коньяк и шампанское и портят впечатление. Впрочем, когда мы возвращались на автобусе в город, одна женщина (кажется, из училища) не переставая твердила:

— Спасибо, что приехали к нам... Эту встречу ребята будут помнить всю жизнь!..

27 марта 1975 г.

Елена воротилась из Москвы. Она там чувствовала себя как рыба в воде. Да и научилась кое-чему. По ее словам, семинарские занятия проходили на более высоком уровне, чем в Литинституте.

Пресса ее не особенно жаловала. В отчетах Ленкина фамилия даже не упоминалась. Зато «Комсомолка» (в передовой статье за 26 марта) выдала ей по заслугам, зачислив ее в первую десятку. И А. Салынский в интервью «Советской культуре» упомянул. Очень скромно, правда.

В газетах по-прежнему фигурирует «Площадь Победы». Но, как говорит Аленка, вторая пьеса — «Под созвездием Гончих Псов» — получила на семинаре более высокую оценку: в ней чувствуется уже рука настоящего мастера! Впрочем, наряду с этим в ней легко обнаруживаются и недостатки — традиционность формы и вторичность некоторых образов. Профессора Ветлугина, например.

Каковы реальные результаты всей этой шумихи — конкурса и семинара?.. Пока довольно скромные. Ленинградский малый театр драмы сообщил Министерству культуры СССР, что берет и будет ставить «Площадь Победы». Эту пьесу (окончательный вариант) Аленка передала и в журнал «Театр». Вот и все пока. Здесь, в Минске, ничего не продвинулось. И Киев молчит. Но это не имеет значения. Теперь важно, чтобы «Театр» напечатал. Остальное приложится.

Продолжение следует.



НАУМ ГАЛЬПЕРОВИЧ

На высоких крыльях воспоминаний

Эссе

Сегодня в это почти невозможно поверить, но для многих людей моего поколения белорусские писатели были, как нынче говорят, «звездами первой величины», которые пользовались несомненным уважением и почитанием.

Увидеть и услышать Ивана Шамякина, Петруся Бровку, Янку Брыля, Василя Быкова, Пимена Панченко считалось великим счастьем, а быть знакомыми с ними значило прикоснуться к самым высоким сферам обыденной жизни, будто взлететь на сказочный Олимп. «Сказ пра Лысую гару» передавали друг другу, перепечатывали на машинке и секретари горкомов, и председатели колхозов, и сельские учителя...

Помню, как в мой Полоцк приезжал Алесь Савицкий. О каждом его визите, по-моему, знал весь город. И не только через местную газету. В Полоцке у писателя-земляка было много знакомых, и каждый стремился увидеться с Алесем Ануфриевичем, пожать ему руку, поинтересоваться творческими планами.

Я после завода стекловолокна работал корректором в нашей газете «Сцяг камунізму» и тоже принимал участие в этих встречах. Однажды мы с Иваном Стадольником даже готовили специальный выпуск литстраницы, посвященный приезду писателя-земляка.

Помню, как однажды в редакцию зашел молодой, но внешне очень солидный, в дорогом костюме, человек. Представился поэтом Анатолем Конопелько. Я уже читал первую маленькую книжечку стихов Анатоля Конопелько «Зямная сімфонія», знал, что он мой земляк, живет в Могилеве.

В редакции был обеденный перерыв, в кабинете был я один, и мы разговорились. Узнав, что я пробую свои силы в поэзии, Анатолий Николаевич попросил показать мои литературные опыты, сделал замечания, а потом предложил прогуляться по городу.

Мы шли по центральному проспекту Карла Маркса. Конопелько рассказывал о своем литературном учителе поэте Алексее Пысине, а я посматривал по сторонам: видят ли меня знакомые, как я запросто гуляю с самым настоящим поэтом, автором книги, которая продается в нашем книжном магазине.

Долгие годы потом связывала меня с Анатолем, который вскоре переехал в Витебск, сердечная дружба, и я очень переживал по поводу его безвременного ухода из жизни.

Витебские поэты и писатели — первые мои литературные наставники и коллеги. Помнятся семинары творческой молодежи, которые проводил обком комсомола. Литературной секцией бессменно руководил известный уже к тому времени поэт Давид Симанович. Среди участников семинаров были Леонид Дайнеко, Валентин Лукша, Владимир Папкович, Владимир Гончаров, Леонид Главацкий, более молодые Олег Салтук, Петро Ламан, Мария Боровик, Алесь Жигунов, Владимир Саулич, Алесь Кастень, Сергей Рублевский...

А еще было новополоцкое литобъединение «Крыніцы» — это для меня как для Пушкина Царкосельский лицей — милый родной дом, где что ни человек — личность, талант, что и выявилось потом в отечественной литературе, потому

что не могу найти подобных примеров, чтобы одно нестоличное литобъединение вывело в свет столько ярких талантливых писателей.

Но это были все свои, близкие, а столичные литераторы были недосягаемы и таинственны, как звезды в небе. И даже короткое общение с ними надолго оставалось в памяти, как навсегда остались яркими воспоминаниями семинары в Королищевичах, приезд в Полоцк Евдокии Лось, Рыгора Бородулина, Владимира Короткевича...

Не забыть походы в редакции журналов, напутственные слова Миколы Аврамчика, Василя Зуенка, Геннадия Буравкина, Вячеслава Адамчика, Анатоля Вертинского, Янки Сипакова, Петруся Макаля, Анатоля Гречанникова, Кастуся Цвирки...

Судьба между тем подарила мне впоследствии немало интереснейших встреч с большими мастерами пера, личную дружбу с Алесем Письменковым, Владимиром Маруком и другими, слава Богу, ныне здравствующими литераторами, работу в творческом союзе, совместные поездки, беседы перед микрофоном с многими крупными поэтами и писателями. И встречи эти остались в памяти яркими эпизодами, греют душу и вселяют надежду на то, что светлое и прекрасное, мудрое и великое всегда будет востребовано новыми поколениями, что связь времен не прервется и вечно будет жить родное слово на земле, что дана нам судьбой. О некоторых из этих встреч мне и хочется сегодня рассказать читателям.

Солнечные дни с Янкой Брылем в Полоцке

Впервые с творчеством Янки Брыля я познакомился еще в школьные годы. Как сейчас помню тот его рассказ «Лесная школа». Имя автора ассоциировалось тогда у меня с именами классиков, таких, как Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, и никак уж не мог я себе представить, что некогда буду лично знаком со знаменитым писателем, не раз сиживать с ним за дружеским столом...

Но это я немного забежал вперед. А через несколько лет после «Лесной школы» попалась мне в руки книжечка, которая называлась «Жменя сонечных промняў», и я окончательно полюбил ее автора — столько в его миниатюрах было доброты, мудрости, тонкой лирики...

С тех пор я искал в книжных магазинах все, что выходило из-под пера Янки Брыля, благо книги тогда стоили не так дорого, как теперь.

А впервые «вживую» я увидел любимого писателя в Королищевичах на семинаре молодых литераторов. У меня даже снимок с тех пор сохранился. Я стою как раз напротив Ивана Антоновича, а рядом — Алесь Рязанов, Виктор Ярац, Леня Якубович, который вскоре погибнет в солигорской шахте...

Тогда мне запомнилось, как Иван Антонович хвалил прозу Анатоля Сидоревича, а тот уже ходил классиком между нами — девятнадцати-двадцатилетними желторотыми «пачаткоўцамі».

Значительно позже из Новополоцка я послал в «ЛіМ» небольшую рецензию на книгу Брыля «Муштук і папка», в которой назвал автора писателем европейского масштаба. Каким же было мое удивление, когда в один прекрасный день я получил по почте открытку, на которой красивым убористым почерком было написано:

«Дарагі Навум! Дзякуй за добрыя словы ў мой адрас. Але наўрад ці можна назваць мяне вядомым еўрапейскім пісьменнікам, бо пішу я на малавядомай для еўрапейцаў беларускай мове, а перакладаў з яе на іншыя мовы небагата...»

Старик немного лукавил: его произведения как раз и переводили — на русский, украинский, польский... Но суть была не в том: мне написал сам Брыль!..

Через некоторое время я приехал в Минск на съезд Союза писателей. Только переступил порог Дома литератора, как ко мне подошел Сергей Панизник:

— Ну, нарэшце! А тут цябе Брыль ужо некалькі разоў пытаўся.

Я поднялся в фойе на второй этаж и тут же увидел Ивана Антоновича.

— Навум, добры дзень! Я вам тут кніжачку падпісаў.

И Брыль протянул мне свою книгу «Муштук і папка».

Я, конечно, был тронут вниманием мэтра, но в ту минуту и не предполагал, что судьба вскоре подарит мне незабываемые дни общения с этим чудесным человеком и великим мастером.

Это произошло на моей Полотчине. Как-то руководитель нашего литобъединения Владимир Орлов, который только недавно переехал в Минск, сообщил по телефону, что Брыль откликнулся на приглашение приехать на очередное заседание «Крыніц».

Мы стали готовиться к встрече. Я позвонил в гороно заведующей Светлане Лазаренко, и мы определили школу, куда поведем Ивана Антоновича. Это была пятая школа, в которой, кстати, был создан стараниями членов литобъединения и родителей первый в городе белорусскоязычный класс, школа, где среди учителей были Якуб Лопатко и Сергей Соколов.

Большой интерес к встрече классика проявила и заведующая отделом культуры Людмила Касьянова, которая активно посещала заседания «Крыніц» и даже пробовала писать песни на стихи местных поэтов.

Узнав о предстоящем приезде Брыля, звонили из Полоцка, из детского садика, из администрации историко-культурного заповедника.

Был конец сентября. Осень в том году стояла необычно красивая, по-настоящему золотая. Утренние туманы сменялись теплыми солнечными днями, листья на деревьях только-только покрылись позолотой, легкая паутинка висела в воздухе, и ярко-синее небо подчеркивало эту красоту, которая так радует художников и поэтов.

Перед моими глазами до сих пор стоят эти чудесные дни и молодой, статный, несмотря на свои семьдесят, Иван Антонович Брыль. Кстати и сам Иван Антонович впоследствии вспоминал эту поездку, и даже написал о ней незадолго до своей кончины.

Встретив на вокзале и поселив гостя в новополоцкой гостинице, мы после завтрака повезли его в Полоцк, к Софийскому собору. Там, постояв на высоком берегу Двины и посмотрев с высоты на место, где в широкое неспешное течение стародавнего Рубона (так называли реку древние полочане) впадает верткая быстроводная Полота, поговорили о нашей истории, о первой белорусской государственности, о великом князе Всеславе, который, обернувшись серым волком, из Киева в родной город к заутрене поспевал ...

А потом в церковке Спаса, основанной самой преподобной Евфросинией, любовались уникальными фресками двенадцатого столетия, которые самопроявились сквозь многовековые напластования на стенах храма.

Иван Антонович воспринимал эту нашу импровизированную экскурсию с большим интересом. Как он признавался, ему, родившемуся в местах не менее исторических, недалеко от Мирского замка, было необычайно интересно знакомиться с суровой архитектурой древних полоцких храмов, с местами, о которых он много читал и где бывал раньше во время коротких официальных приездов. Да и эта сентябрьская солнечная тишь располагала к внутреннему спокойствию, вдумчивому неторопливому созерцанию.

Потом была встреча с маленькими полочанами в детском садике, первом и единственном в древнем городе, где углубленно велись занятия на белорусском языке. Иван Антонович оживленно беседовал с малышами, подписывал свои книги и был заметно рад слушать, как детки читают стихи и поют песенки по-белорусски. Он им рассказывал о своем детстве, говорил о великом счастье жить на своей земле, любить и гордиться родным краем.

В кабинете редактора новополоцкой городской газеты «Химик», где проходило заседание литобъединения, как говорится, яблоку было негде упасть. И неудивительно: не так часто провинциальным начинающим литераторам доводилось вот так запросто беседовать с одним из живых классиков белорусской литературы, знакомить мэтра со своими произведениями, слушать его мнение о них, высказывания о проблемах современного литературного процесса.

Брыль был в настроении. Говорил охотно, много шутил. Чувствовалось, что и ему наша встреча нравилась.

Кстати, мне запомнилось, что он при всех похвалил мою строчку из стихотворения «Рамеснік» и неожиданно заявил, что из меня получится хороший прозаик, хоть прозу я тогда совсем не писал. Это напутствие мэтра придало мне потом смелости, когда я показывал свои первые прозаические опыты моему земляку, тонкому знатоку литературы Петру Васюченко.

Потом был дружеский ужин на квартире одного из наших «крыничан», и когда мы предложили гостю не уезжать в Минск ночным поездом, он неожиданно легко и с удовольствием согласился.

И следующий день стал настоящим праздником. Мы снова неторопливо бродили по полоцким улицам, подолгу стояли на берегу Двины и говорили, говорили... Вернее, больше говорил Иван Антонович. Его меткие, а порой и острые монологи слушались на одном дыхании. Кое-что уже стерлось из памяти, но высказывания про судьбу Беларуси, про ее язык, про роль писателя в жизни страны запомнились. Они актуальны и сегодня.

Обедали в гостеприимной квартире Людмилы Касьяновой. Мы с Ириной Жерносек глядели на Ивана Антоновича, что называется, во все глаза. Он был остроумен и весел, он пел польские и белорусские песни, русские романсы, рассказывал анекдоты. Чувствовалось, что ему нравится то, какое впечатление он производит на нас, ведь как бы прост в общении он ни был, определенную дистанцию между нами чувствовал. Но с его стороны не было и тени высокомерия, напыщенности, показной важности, чем часто грешат куда менее титулованные и значительные наши современники.

В особом восхищении была Людмила. Она, дочь советского полковника, только недавно приехала вместе с родителями на родину отца. За короткое время выучила белорусский язык, полюбила нашу поэзию, наши песни. И с удовольствием подпевала, когда мы с Иваном Антоновичем вспоминали очередную народную песню...

Потом не раз я вспоминал эти незабываемые минуты, наши слаженные голоса, оживленный блеск глаз и невыразимое чувство светлой радости и покоя, которое случается в жизни так редко...

После моего переезда в Минск мы встречались с Иваном Антоновичем не раз. Он первым позвонил мне в «Вожык» и поздравил с приходом на работу в журнал своей молодости. А вот когда меня избрали заместителем председателя Союза писателей, Брыль в шутливой форме высказал мне соболезнование, сказав, что он поел этого нелегкого хлеба вдосталь и знает, что это такое.

Незадолго до своего окончательного отъезда в родные места он позвонил мне домой, и вновь мы тепло вспомнили сентябрьские дни в Полоцке.

И сейчас, стоит мне закрыть глаза, я вижу яркое синее небо, золото березок и вековых дубов, Двину, Софийку и веселого, улыбающегося своей мудрой улыбкой дядьку Янку — великого белорусского писателя Ивана Антоновича Брыля.

Иван Шамякин

Конечно, представить даже в зрелые мои годы, что буду сидеть на кухне и «брать по чарке» с самим Иваном Шамякиным, я не мог. Да и, честно говоря, не стремился. И не потому, что мне что-то не нравилось в нем, просто с определенного времени не рвался «влезать в друзья» к знаменитостям. Да и разница была у нас большая — в возрасте и в значимости: как же — Иван Петрович носил на лацкане пиджака Золотую Звезду Героя Социалистического Труда, его книги красовались на полках почти в каждой белорусской семье, его имя было на устах и простого крестьянина, и больших руководителей.

А тут вот он рядом — Иван Петрович, в простом трикотажном трико, свитерке, и я слышу характерный шамякинский говорок:

— Алеся, дай нам з Навумам што прыкусіць. І па чарачцы. Там пляшка адкаркаваная ў шуфлядцы стаіць.

Алеся достала соленый огурец, порезала сало, и за этой простой крестьянской закуской мы продолжали беседу.

К Ивану Петровичу меня приводили заботы писательского союза. Организация переживала явный кризис, политиканство, амбиции захлестывали через край, и нужно было мудрое слово, совет ветерана, отдавшего союзу многие годы жизни. Мне больно было видеть, как бывшие соратники и подхалимы демонстративно игнорировали на заседаниях рады любое предложение Шамякина, за глаза и порой в глаза иронизировали, осуждали за его приверженность к былым идеалам, за поддержку курса Президента. Я видел, что Иван Петрович это переживает с грустью, но в ответ он не позволял себе грубости, плохого слова. Только из посмертных дневников мастера я узнал, какие он оценки давал некоторым людям.

И несмотря на все это, он душой болел за единство творческой организации, сохранение уважения к ней, что было непросто. Честно говоря, у меня часто готовы были опуститься руки: постоянные проблемы на работе, безденежье, когда приходилось подрабатывать в газетах, на телевидении... И то, что Иван Петрович не отказывался помочь, когда требовалось, заступиться за организацию, грело душу.

Он не стеснялся позвонить самому высокому начальству, написать письмо с изложением своей позиции, и мне было больно видеть, что мало кто в то время по достоинству оценивал это.

Иван Петрович заметно ослабел после смерти своей дорогой Марии Филатовны. Временами он звонил мне на работу и просил помочь с машиной, чтобы съездить на кладбище. Машины в союзе уже не было, и я, чтобы выполнить просьбу Ивана Петровича, обзванивал самые разные инстанции, знакомых, и нужно сказать, что никто не отказывался помочь Шамякину.

Но такие просьбы были довольно редкими. Порой же мне самому приходилось идти через Парк Горького домой к Ивану Петровичу. Иногда вместе с нашим сотрудником Евгением Ивановичем Коршуковым, чаще одному. Мы много говорили о делах в союзе, о судьбе белорусского языка. Иван Петрович очень переживал, что уменьшается количество белорусскоязычных передач на телевидении, что некоторые публикации в газетах оскорбляют язык и писателя.

Позже я прочитал в его дневниках и вспомнил одну из наших бесед: «Няўжо аўтар “Славянскага набату” не бачыць сітуацыю з мовай? Не пісьменнікі вінаватыя ў занядбанні яе. Не варта правакаваць улады на акцыі, якія канчаткова загубяць нацыянальную культуру».

Мне пришлось вплотную заниматься подготовкой и проведением юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию Ивана Петровича. Оно отмечалось на самом высоком уровне, я часто связывался с юбиляром, уточнял многие организационные моменты. Шамякин очень волновался, особенно когда узнал, что его должен принять у себя Глава государства.

На самом торжестве в театре имени Янки Купалы я сидел вместе с Иваном Петровичем в почетной ложе. Не рядом (этого бы я себе не позволил), сзади, во втором ряду, чтобы помочь принять очередной букет, приветственный адрес, сувенир... Об этом меня настойчиво просил сам юбиляр. Ему было трудно без помощника. Иногда он оборачивался и спрашивал:

— Навум, ты тут? Будзь каля мяне.

Так, под руку с Иваном Петровичем мы подошли после торжественного вечера к Дому литератора, где был организован прием, на котором мне довелось быть тамадой. И все время рядом чувствовал руку Ивана Петровича и его негромкий вопрос:

— Ты тут?

После того, как я вернулся на работу в коллектив родного для меня Белорусского радио, мы с Иваном Петровичем больше не встречались. Только гово-

рили по телефону из кабинета Алеся Письменкова перед первой публикацией его «Начных успамінаў». Он пожелал тогда мне успехов и здоровья. Это были последние слова, которые я слышал из уст этого замечательного человека.

Сергей Граховский

Этот высокий, седой, еще довольно мощного телосложения человек с немного раскосыми глазами притягивал внимание многих.

«Это Сергей Граховский, — шептал мне на семинаре в Королищевичах Леня Якубович, — почти двадцать лет лагерей, пережил многих ровестников».

Я уже до этого был немного знаком с творчеством Граховского, листал его поэтические сборники, а вот фактов биографии поэта не знал. Поэтому личность его вызвала у меня интерес, тем более что в то время, а это был самый конец шестидесятых, об этих трагических страницах белорусской литературной жизни писали довольно скупо.

Да и само место Граховского в тогдашнем повседневном литературном процессе казалось абсолютно благополучным: его часто печатали, он нередко выступал по радио, принимал участие в различных поездках писателей по Беларуси и за ее пределы.

В 1990 году меня приняли в Союз писателей. Это был так называемый предсъездовский прием. Вместе со мной тогда членские билеты получили Андрей Федаренко, Алесь Бадак, Людмила Рублевская, Валерий Гришанович, Василь Ширко, Алексей Рагуля, Владимир Наумович...

И конечно же, по традиции, все вновь принятые организовали складчину и в большом секретарском кабинете на третьем этаже устроили праздничный ужин. Обычно чем больше мэтров удавалось пригласить, тем более значительным и важным выглядел сам вечер, тем более счастливым казалось будущее в литературе новобранцев творческого союза.

Среди «аксакалов» заметно выделялась высокая фигура Граховского. Вскоре он подошел ко мне:

— Поздравляю вас со вступлением в союз. А вы знаете, что я один из первых наших литераторов, кто побывал на вашем «Нефтестрое» и написал о первостроителях Новополоцка?

— Знаю, Сергей Иванович. Даже видел снимки с вами в городском музее.

— Интересно было бы теперь посмотреть, как вырос город, как он сегодня выглядит.

— А вы приезжайте, посмотрите. Мы будем рады встретить.

— Да все как-то не получается. А очень хотелось бы.

Так отложилось тогда в памяти это желание Сергея Ивановича, которое через некоторое время осуществилось.

Но сначала было лето, Дом творчества писателей «Ислочь». Я впервые, как полноценный член организации, получил семейную путевку в это чудесное место под Раковом.

Тогда это был писательский рай, хотя, по уверениям старожилов, уже далеко не тот, как во времена семидесятых—восьмидесятых. По аккуратным дорожкам среди стройных сосен и пушистых елей важно прогуливались классики, писательские детки носились по лужайкам, подростки играли в мяч на спортивных площадках и в большой теннис на кортах, писатели помоложе жгли костры, над которыми сладко вился душистый аромат шашлыков...

Утром я разбудил сына, и мы вышли на зарядку. Дышалось здорово, от близкой реки тянуло прохладой, птицы возносили свой утренний гимн предстоящему дню. Большинство отдыхающих еще спали, и на лесных дорожках было пока пусто. Только вдали маячила сутуловатая фигура Граховского. Он приседал, махал руками и, несмотря на почтенный возраст, производил впечатление заправского спортсмена.

Мы поздоровались и побежали в лес. Возвращаясь, мы увидели, что Сергей Иванович уже идет от реки с полотенцем через плечо — свежий, подтянутый.

— Это ваш сын, Наум? — спросил он, поздоровавшись, и, как взрослому, пожал Максиму руку.

Мы пошли к корпусу вместе, и он очень естественно и непринужденно, как будто со старыми знакомыми, заговорил с нами, рассказывая о том, что он проводит на Ислочи все лето, расспрашивал обо всем, что его интересует. Его белорусская речь, интонации напоминали урок родной словесности, голос, глубокий, поставленный, звучал будто из репродуктора. Это потом он не раз будет вспоминать свое радийное, еще долагерное прошлое, репортажи в прямом эфире, коллег-журналистов.

С этого момента все восемнадцать дней, которые я был в Доме творчества, мы каждое утро прогуливались с Граховским, который оказался очень доброжелательным, интересным собеседником.

О чем только мы не говорили: о литературе, о последних политических событиях в стране и за рубежом, о нашей истории, о журналистике... Сергей Иванович часто вспоминал свои молодые годы, работу на радио, товарищей по перу...

Про свои «лагерные университеты» Граховский вспоминал тогда редко, старался вообще уходить от этой темы, а я деликатно не докучал ему подобными вопросами.

На прощание Сергей Иванович просил писать, передавал привет новополоцким литераторам.

Скажу честно, слова насчет «писать» я вначале не принял всерьез. Я вообще, к своему стыду, очень неаккуратен в переписке, а тут еще работа собкором радио, ежедневные командировки, суета... Не то что забываться стали наши совместные прогулки, просто они ушли в другой, не оперативный пласт памяти. И так получилось, что на поздравительную открытку Сергея Ивановича я вовремя ответить не успел.

И «получил» за это как следует, когда встретился с ним во время очередного приезда в Минск.

— Это тот Наум, который не отвечает на открытки? — сурово вместо приветствия спросил Граховский.

Я оправдывался как мог, хотя вины своей не отрицал. Кстати, как потом пришлось убедиться, Сергей Иванович был очень обидчив, и я впоследствии всегда старался быть с ним предельно обязательным.

В тот мой приезд мы опять вернулись к разговору о желании Граховского приехать в Новополоцк, и через некоторое время этот замысел осуществился.

Заведующей отделом культуры в Новополоцке в то время работала Людмила Касьянова — активная участница нашего литобъединения «Крыніцы». С ней мы договорились о проведении встречи Граховского с читателями в одной из библиотек города. Оставалось только организовать приезд.

Учитывая возраст Сергея Ивановича, мы решили заехать за ним в Минск на машине. Так и сделали.

Новополоцк произвел на гостя впечатление. Мы возили его по широкой современной «улице без конца», как называют в городе центральный проспект имени первостроителя Петра Блохина, показали ему промзону с бесконечными трубами и технологическими установками нефтехимических гигантов. Он помнил Новополоцк рабочим поселком с одноэтажными общежитиями, деревянными настилами на тротуарах, размах стройки с башенными кранами, МАЗами, груженными бетонными плитами... А тут — европейский город, могучие предприятия...

Под стать оказалась и библиотека имени Якуба Коласа с просторными залами, прекрасным интерьером, украшенным резьбой местных художников...

Народу собралось много. В большинстве — молодежь. Видя заинтересованные доброжелательные лица, Сергей Иванович заметно приободрился.

Свой разговор он начал довольно пафосно, но затем все проще и проще была его речь, особенно когда он начал отвечать на вопросы, которых в тот вечер было немало.

Вопросы свидетельствовали о том, что Граховского читали, и это его, безусловно, вдохновляло на откровенный разговор про судьбу родного языка, про суровые тридцатые годы, про друзей-товарищей, которые делили с ним годы мучений в сталинских лагерях.

После окончания встречи возле стола «президиума» выстроилась целая очередь желающих получить автографы, Сергей Иванович явно растрогался.

— Дорогие мои, — делился он потом за ужином, — знали бы вы, как мне вот таких встреч не хватает, как я рад видеть здесь столько молодых прекрасных лиц.

Назавтра мы повезли гостя по памятным местам Полотчины. В деревне Островщина возле старой мельницы, где один из наших «криничан» хотел построить дом, Граховский воскликнул:

— И я, Сергей, построился бы тут рядом с вами. Ловили бы рыбу, писали стихи, гостей принимали бы...

Он вспомнил, как после лагеря в ссылке своими руками возвел обычную крестьянскую хату, в которой поселился с молодой женой.

Лагерные годы напомнили о себе в тот приезд абсолютно неожиданно.

Поутру я встретил Граховского, прогуливающегося возле гостиницы.

— А не зайти ли нам, Наум, чаю попить? — и он показал в сторону пригостиничного буфета. Вход в буфет был с улицы, там кроме чая и бутербродов продавали пиво и кое-что покрепче.

Я не стал отговаривать Сергея Ивановича, видя, что ему интересно побыть среди людей, и мы вошли в зал.

Возле буфетной стойки к нам пристроился довольно-таки подозрительный тип — мелкий человечек с синей татуировкой на пальцах рук, в каком-то задрипанном пальто и с мятой кепкой на голове. Он явно чего-то хотел: то ли толкнуть, то ли ввязаться в разговор...

Вдруг Сергей Иванович повернулся в его сторону и заговорил. Его те слова я не могу повторить. Это была самая настоящая блатная «феня».

Тип в момент скукожился, угодливо захихикал, стал как будто еще мельче.

— Извини, отец. Сразу бы сказал, что в законе! Нужно что, я — мигом...

Граховский еще раз гаркнул на него, и тип мгновенно испарился.

Поймав мой красноречивый взгляд, Сергей Иванович сказал:

— Знаете, кто это был? Фраер мелкий, сявка. С ними иначе нельзя. — И, помолчав, добавил: — Их язык я выучил в лагере. Я же бригадиром у уголовников был, «туфту» им приписывал. «Феня» эта здорово помогла в теплушке, когда с беременной женой на родину из северных краев возвращался. Тогда эшелоны бывшими зэками были переполнены. А когда за «законного» принимали, то и место получше для жены выбивал, и за кипятком было кого послать.

Чувствовалось, что воспоминания в его душе еще живы.

— Кое-кто попрекает меня тем бригадирством. А что лучше было «доходягой» стать и сгнить в том лагере?

Нужно сказать, что судьба еще не раз испытывала на прочность этого человека. И в свободной, казалось бы, спокойной и счастливой жизни. Особенно в последние годы жизни.

Однажды, когда я уже работал в Союзе писателей, Сергей Иванович при встрече попросил:

— Наум, пообещайте, что вы меня похороните и скажете слово на могиле. — И продолжал: — Не надо больше ничего говорить. Пообещайте.

Я обещал.

Вскоре я вернулся на радио. И вот звонит однажды Алесь Письменков:

— Знаешь, только что был у нас Граховский. Узнал, что ты ушел из союза и чуть не расплакался: мол, «кто же меня теперь похоронит...»

Про все это мне пришлось вспомнить на кладбище во время похорон Сергея Ивановича Граховского. И как бы горько ни было на душе, про себя я повторял: «Дорогой Сергей Иванович! Обещание свое я выполнил. Спите спокойно».

ЗИНОВИЙ ПРИГОДИЧ

Непостижимая и загадочная страна

(Японский дневник)

Страшная беда обрушилась в начале этого года на японскую землю. И даже не одна беда, а сразу три — разрушительное, в девять баллов, землетрясение, чудовищное цунами, волны которого достигали высоты в тридцать метров, и катастрофа на атомной электростанции, последствия которой приравняли к чернобыльским.

Эта беда как-то мгновенно сблизила наши географически далекие друг от друга народы. Сердца белорусов наполнены тревогой, болью и глубоким сочувствием к тому, что переживают сейчас японцы.

Мужественная нация! Ни паники, ни растерянности, ни единого случая мародерства... Что же помогает японцам выстоять в этой неизмеримой по своим масштабам и последствиям беде? Многие факторы, в том числе и система воспитания, включающая в себя преемственность исторических и культурных традиций, овладение самыми современными научно-техническими достижениями, нравственная и трудовая закалка. Во всем этом мне пришлось убедиться лично во время моего пребывания в Стране восходящего солнца, незадолго до произошедшей трагедии.

Автор

Мой давний знакомый, владелец одной из токийских фармацевтических фирм Нобу-сан, отдыхавший несколько раз на нашей нарочанской даче, летом пригласил и нас (меня и внучку Катю) побывать у него в гостях.

Более ста лет назад английский путешественник Петри Ватсон о своих японских впечатлениях сказал так: «Если вы пробыли в Японии шесть недель, вы все понимаете. Через шесть месяцев вы начинаете сомневаться. Через шесть лет вы ни в чем не уверены».

Согласно этой логике, мое двухнедельное знакомство со Страной восходящего солнца должно было родить во мне абсолютную уверенность. Однако искренне говорю, этого нет. Напротив, есть лишь ощущение прикосновения к чему-то огромному, прекрасному, загадочно-таинственному. И еще — чувство восторга от увиденного, услышанного, постигнутого. Чувство, которым хочется поделиться с как можно большим количеством людей. Именно это и побудило меня взяться за перо, нисколько не обольщаясь в то же время степенью своего познания.

Звезды и тернии

Нобу-сан заметно нервничал. Вот уже минут десять мы кружили в лабиринте тесных токийских улочек, а нужной высотки, в которой разместился столичный пресс-клуб, не находили. Времени до начала назначенной встречи оставалось в обрез. Назревала реальная угроза опоздать, что в силу японских традиций равнозначно неслыханному скандалу.



Токио.

Несколько раз Нобу-сан хватался за трубку мобильного телефона, с кем-то вел энергичные переговоры, видимо, уточняя координаты нашего местоположения, и определял дальнейший маршрут. Наконец мы вышли на небольшую площадь, и Нобу-сан издал радостный, гортанно-вибрирующий звук: желанная высотка была прямо перед нами!

Скоростным, беззвучным лифтом поднимаемся на двенадцатый этаж. Нас уже ждут. Меня представляют невысокому улыбчивому мужчине средних лет. Хидео Хоригачи — профессор Киотского университета, один из авторитетнейших знатоков японской экономики.

После обмена визитками нас приглашают за уже накрытый стол. Это замечательная японская традиция — все переговоры (и деловые, и дружеские) вести в кафе или ресторане.

— Катюша, — говорю я тихонько внучке, — если тебе не интересно, можешь походить здесь, осмотреться.

— Нет, почему же, мне тоже интересно послушать.

Мы занимаем места за столом, и наша беседа начинается...

Японская экономика в своем развитии пережила два стремительных взлета и по меньшей мере три серьезнейших кризиса.

Первому периоду бурного оживления экономической жизни предшествовали годы мучительных реформ. Эти реформы растянулись на несколько десятков лет — с начала реставрации императорской власти в 1868 году и вплоть до середины 80-х годов XIX столетия. Отказавшись от жесткой многолетней изоляции, которая привела к глубокому застою во всех отраслях общественной жизни, Япония бросилась стремительно наверстывать упущенное. Промышленность, развиваясь практически с нуля, демонстрировала высокие темпы роста. В итоге уже к началу Первой мировой войны Япония из аграрно-ремесленной страны перешла в разряд современных промышленных держав. Иными словами, Страна восходящего солнца наступающий XX век встречала в качестве ведущей в Азии державы, опередившей в своем развитии соседей минимум на полсотни лет, и одного из государств, определявших мировую политику.

Вместе с тем в тогдашней японской экономике имелся и ряд слабостей. Она так и не смогла стать вровень с развитыми экономиками первых стран мира. Это со всей очевидностью проявилось в годы Второй мировой войны. Япония потерпела в этой войне сокрушительное поражение. Страна потеряла 44 процента своих территорий. Огромная армия была распущена и более чем 7 миллионов солдат и офицеров оказались предоставленными самим себе. А всего безработных насчитывалось свыше 12 миллионов. Более половины фабрик и заводов были разрушены. Бушевала гиперинфляция — за первые два с половиной послевоенных года произошло 25-кратное повышение розничных цен.

Вновь приходилось начинать все с нуля. Пережив затяжное восстановление, Япония уже в 50—60-е годы продемонстрировала быстрый рост, опережающий

развитие других крупных капиталистических стран. Она двинулась по пути научно-технического прогресса, создавая новые производства, насыщая свой рынок новейшими товарами и вывозя их во все возрастающих объемах за рубеж. Японская экономика разогналась до такой степени, что вышла на уровень темпов роста валового продукта в 9—10 процентов. А в отдельные годы они достигали 15 процентов.

Очередной бум сделал Японию второй по экономическому весу державой мира вслед за США. Без преувеличения можно сказать, что Стране восходящего солнца в 60-е годы XX века удалось явить миру очередной экономический взлет. Ведь таких темпов развития, как у Японии, в то время не удалось продемонстрировать ни одной крупной стране мира.

Что же стало причиной или, точнее сказать, условием столь ошеломляющего успеха?

По мнению профессора Хидео, таких условий несколько. Во-первых, существенную помощь в восстановлении разрушенной экономики оказали Соединенные Штаты. Хотя и преувеличивать эту помощь не стоит. Япония не получала столь щедрого гранта, как западноевропейские страны по плану Маршалла. США главным образом предоставляли льготные кредиты, которые в общей сумме составили 2,4 миллиарда долларов. Еще 860 миллионов долларов в качестве кредита выделил Мировой банк. И все. Это не превысило 4,5 процента от внутреннего национального продукта.

Самые большие дивиденды Япония получила от американской войны в Корее, а затем и во Вьетнаме. США размещали заказы на различные товары и вооружение, тратили немалые средства на ремонт боевой техники. Всего в частное предпринимательство страны было впрыснуто более трех миллиардов долларов. Такая инъекция послужила изначальным толчком для всплеска деловой активности. Без нее восстанавливать парализованную разрухой японскую экономику пришлось бы и дольше, и труднее.

Во-вторых, из-за того, что в результате американских бомбардировок большинство предприятий было до основания разрушено, их не пришлось восстанавливать. Японцы сразу же взялись строить новые, более современные фабрики и заводы, делая к тому же упор на самые перспективные отрасли промышленности.

В-третьих, с разгромом японского милитаризма были разбиты и многие оковы, сдерживавшие развитие производительных сил. Была проведена аграрная реформа, которая практически ликвидировала помещичье землевладение. Стало действовать новое, более прогрессивное законодательство, узаконено существование профсоюзов. При всей их ограниченности эти реформы существенно изменили социально-экономическую и политическую обстановку в стране, привели к некоторому росту доходов трудящихся, оживили внутренний рынок.

В-четвертых, чтобы не терять времени на научные исследования и на внедрение новых открытий в производство, японские предприниматели сделали ставку на импорт зарубежной технической мысли. В этой связи один из немецких экономистов не без внутренней зависти заметил: «Япония усвоила себе все наши новейшие изобретения и открытия, испытала все системы, какие она нашла в Европе, и применила их у себя не точно в таком виде, нет, — она применила их настолько, насколько это нужно было для укрепления ее сил. Она воспользовалась Европой как лестницей, по ступенькам которой взобралась на вершину Дальнего Востока».

Хотелось бы в этой связи обратить внимание на то, что активное заимствование зарубежной технической мысли не сопровождалось столь же активным притоком прямых иностранных капиталовложений. Японцы охотно занимали за рубежом деньги, не жалели средств на покупку лицензий и патентов, но всячески сопротивлялись появлению на японской земле предприятий, где хозяйничали бы иностранцы.

В-пятых, важнейшим фактором роста послужило то, что монополистическому капиталу удалось добиться максимальной мобилизации внутренних ресурсов. Доля потребления все время находилась на более низком уровне, чем доля накопления. Это дало возможность японским предпринимателям выделять примерно вдвое больше средств на обновление оборудования и расширение производства, чем их американским и западноевропейским конкурентам. Вот, пожалуй, основной секрет динамичности японской экономики.

И наконец, в-шестых, ключевым слагаемым успеха явились японские методы управления. Прежде всего — это эффективное сочетание рынка и плана. Может, кому-то покажется парадоксальным, но Япония с ее устойчивой, повсеместной рыночной экономикой имеет и давно отлаженный, четкий механизм разработки экономических планов. Разумеется, здесь они носят не директивный, а всего лишь рекомендательный характер. Вместе с тем, не будучи жесткими и принудительными, планы охватывают всю японскую экономику, распространяются на все уровни управления — общенациональный, региональный, отраслевой. В их разработке в той или иной мере принимают участие все правительственные учреждения, имеющие отношение к экономике. К составлению планов привлекаются многие научно-исследовательские организации, а также широкий круг опытных специалистов и экспертов.

Японское общегосударственное планирование имеет еще одну, очень важную черту — продуманную и заранее предусмотренную гибкость. Если основные плановые ориентиры будут превзойдены или выполнены за более короткий период, есть возможность разработки новых ориентиров, отвечающих изменившимся внутренним и внешним условиям.

В Японии с недоумением относятся к идее отказа от планирования. Специалисты этой страны отнюдь не считают, что все социалистическое — плохое. По их мнению, было бы преувеличением думать, что экономика страны оздоровится, если всем будет управлять невидимая рука рынка. А именно к этому подталкивали в свое время руководители МВФ Японию, на что тогдашний посол Японии в США Кунихито Саито заявил: «Наше правительство — не сборище болванов».

Взвешенная, разумная экономическая политика японского правительства в послевоенные годы помогла решить ряд кардинальных проблем. В частности, направить значительные ресурсы (до 87 процентов от общих инвестиций) в приоритетные отрасли экономики — энергетику и металлургию. Благодаря этому важнейшие отрасли были полностью и в кратчайшие сроки восстановлены.

Правительством был установлен жесткий контроль за расходованием твердой валюты. Это сделало невозможным ее использование на импорт потребительских товаров и способствовало импорту передовых технологий. Япония предпочла «купить удочку вместо рыбы».

В актив правительственных мер можно отнести и восстановление банковской системы. Японским банкам удалось вернуть утраченное доверие народа. Предприятия начали быстро расширять свою деятельность за счет банковских кредитов, как долгосрочных, так и краткосрочных. Успеху содействовало также введение стабильной системы налогообложения, укрепление курса иены.

Экономический взлет Страны восходящего солнца не в последнюю, а может быть, в первую очередь стал возможным благодаря тому, что японские менеджеры раньше, чем их американские и западноевропейские конкуренты, уразумели: главная производительная сила — рабочий. Иными словами, увеличение продуктивности производства находится в прямой зависимости от эффективности использования трудовых ресурсов.

Но отличие заключается не только в этом. По мнению профессора Хидео, главная особенность системы японского менеджмента состоит в том, что она, эта система, базируется на трех основных китах: пожизненном найме, оплате труда в зависимости от возраста и стажа и пофирменной организации профсоюзов. Что касается последнего — профсоюзов, то здесь все ясно: их принадлежность

к определенной фирме позволяет ее руководителям более свободно манипулировать оплатой труда, интенсификацией производства, добиваясь высоких показателей. А вот про остальных двух китов хотелось бы сказать чуть подробнее.

В чем суть пожизненного найма? В том, что работник приходит в фирму однажды и практически навсегда. Ему нет необходимости в дальнейшем заботиться о получении работы и о своем доходе. Ему не нужно даже самостоятельно решать многие социальные и бытовые вопросы. Обо всем этом отныне, после заключения трудового соглашения с наемным работником, будет думать фирма. А что же взамен? А взамен весьма расплывчатое обязательство — «посвящать всего себя труду...».

Казалось бы, зачем фирме эти лишние хлопоты, ненужные расходы, вложенные в непроизводственную сферу? Оказывается, весьма и весьма нужны. Теоретики японского менеджмента еще на стадии его организации вывели ключевое правило: человека можно силой заставить работать физически, но думать силой не принудишь, причем думать так, чтобы это было полезно производству и выгодно фирме. Значит, надо создать условия, которые побуждали бы рабочих трудиться эффективно. Именно условия, а не управляющие.

Японский предприниматель не меньше своих зарубежных коллег стремится к прибыли, но, в отличие от них, он умеет представить себя удивительно внимательным к персоналу, этаким любящим и заботливым отцом. В ответ на это он получает от рабочих искреннее чувство признательности и благодарности, которое приносит ему столь же высокие дивиденды, что и передовая технология. Более того, создание в трудовом коллективе семейной атмосферы, постоянное проявление заботы порождают не только повышенное усердие и трудолюбие, но и стимулируют творческую инициативу, сводят к минимуму текучесть кадров.

Вторым «китом» японского менеджмента является довольно странное, на взгляд европейца, правило: оплата труда зависит не от способностей, энергии, трудового вклада работника, а от его возраста и стажа. Скажем, новичок, который приходит в фирму, получает самую низкую ставку. По мере того как он заводит семью, детей и его расходы, естественно, увеличиваются, зарплата прибавляется, и порой существенно. Самого высокого заработка человек достигает примерно в 45 лет. Затем, когда дети уже выросли, обзавелись собственными семьями и сами зарабатывают себе на пропитание, зарплата работника несколько понижается. По достижении пенсионного возраста ему выдается выходное пособие.

Напрямую с возрастом связано и продвижение работника по служебной лестнице. Более высокую должность, как правило, занимает старший по возрасту. Подобная система, вероятно, мало оправдана экономически, зато фирма компенсирует потери созданием атмосферы гармонии среди персонала. Никто не соперничает, не интригует, желая обойти коллег по служебной лестнице.

Кстати, создание атмосферы гармонии, согласия, чувства коллективизма и сплоченности является, пожалуй, важнейшим моральным принципом японского менеджмента. Ни одно решение руководством фирмы не будет принято, если оно не будет одобрено всеми. Это хорошо можно видеть на примере работы кружков контроля качества. Когда в общенациональном масштабе была сформулирована ключевая цель «Качество определяет судьбу предприятия», менеджеры пришли к выводу, что она может быть достигнута только в результате совместных усилий. Так были созданы кружки контроля качества. Сегодня их в стране более миллиона. Каждый пятый, работающий по найму, состоит их членом. Но фактически в обсуждении той или иной проблемы принимает участие весь коллектив. Это дает возможность максимально выявлять и развивать способности каждого работника, формировать чувство сопричастности к делам фирмы, создавать благоприятную атмосферу в коллективе и, конечно же, достигать самого главного — высокой производительности и отличного качества.

Пожизненный найм определил также особый подход к подбору кадров. Опасение ошибиться в кандидате на то или иное рабочее место столь велико, что многие фирмы начинают присматриваться к выпускникам учебных заведений

еще на этапе их учебы. Кадровикам мало диплома с хорошими оценками, они потребуют еще справку об уплате налогов, акт обследования состава семьи и другие детали быта и биографии кандидата.

В некоторые известные концерны нельзя устроиться без рекомендации. При этом наилучший вариант, чтобы рекомендующий работал в самом концерне. Тогда поручитель несет прямую ответственность за свою рекомендацию.

Затем кандидат должен пройти вступительные экзамены. Те, кому предстоит работа на конвейере или за станком, экзаменуются по математике и японскому языку. Выпускники вузов, претендующие на место служащего или инженера, сдают экзамен еще и по специальности.

Заключительный этап отбора — собеседование. В ходе его выясняются личные качества кандидатов, их характер, наклонности, индивидуальные устремления. У рабочих, помимо прочего, проверяются физическая выносливость, быстрота реакции, точность глазомера. Кадровиков также заботит, окажутся ли новички психологически совместимыми с уже сложившимся коллективом.

В большинстве крупных компаний новички принимаются с испытательным сроком. Он длится от одного до трех лет. В компании «Тойота» трехгодичный испытательный срок проходят все без исключения, даже простые рабочие. За это время их знакомят с той областью бизнеса, которой занимается фирма, помогают вникнуть в ее организационную структуру и функции различных подразделений. Обучением новичков занимаются лично заведующие отделами или начальники цехов. Они же и составляют на испытуемых характеристики.

Однако учеба кадров на этом не заканчивается. В первые 10—12 лет работник почти ежегодно переводится с одного места на другое, с одной должности на другую. Подобная форма работы с кадрами преследует цель превратить рабочего или служащего в универсала. Практика показала, что рабочий-универсал овладевает техникой нового поколения гораздо быстрее, чем узкий специалист.

Некоторые фирмы при необходимости направляют своих работников на двухгодичные курсы, которые благодаря интенсивности обучения позволяют получать знания, приобретаемые студентом в вузе за четыре года. Причем дисциплины на этих курсах постигаются сугубо прикладные, именно те, которые понадобятся при работе в будущем.

Конечно, для успешной организации менеджмента нужны прежде всего толковые, высококвалифицированные кадры менеджеров. В Японии налажена эффективная система отбора таких людей, продумана форма их обучения. И как результат этого — около трех четвертей японских фирм управляются эффективно.

Все эти составляющие в их совокупности и во взаимодействии за тридцать послевоенных лет и помогли Стране восходящего солнца выйти почти по всем показателям на передовые рубежи, стать одним из лидеров мировой экономики.

Однако на рубеже 80—90-х годов прошлого столетия Япония, всегда находившая в себе силы справиться с внутренними и внешними проблемами и выходившая из многочисленных пертурбаций еще более сильной и адаптированной к изменившимся условиям, утратила присущий ей динамизм и на протяжении почти десятилетия была не в состоянии преодолеть затяжную рецессию. Что же случилось? Почему после длительного периода форсированного роста его темпы существенно замедлились?

Эти вопросы я и адресую своему собеседнику, профессору Хидео. По его продолжительному и сосредоточенному молчанию понимаю, что и ему, признанному, опытнейшему специалисту, не так просто найти исчерпывающие ответы. Хотя к некоторым из них подтолкнула сама жизнь. Скажем, очевидно несовершенство современной японской демократии. При формальном наличии всех ее атрибутов — конституции, разделения властей, свободных выборов, открытой политической системы — реальная власть концентрируется в руках узкого круга правящей элиты. В ее ряды все чаще стала проникать коррупция, приводящая к громким скандалам и разоблачениям. Кризис власти оборачивается частыми сме-

нами правительства, что не может не сказаться на эффективности управления, на доверии к политикам, которые рассматриваются народом как оппортунистичные и нечестные люди.

Несомненно также и то, что роль государства в развитии экономики оказалась чрезвычайно большой. Опыт Японии свидетельствует, что необходимо своевременно изменять роль и место государства в экономической жизни страны — в сторону их сокращения — по мере перехода от стадии «догоняющего развития» к стадии зрелости. Многие вчерашние и нынешние проблемы Японии как раз и явились следствием сохранения чрезмерной вовлеченности государства в экономические процессы. Государственное регулирование, которое на определенном этапе было мощным и эффективным рычагом содействия хозяйственному росту, все более превращалось в оковы для предпринимательской деятельности.

Одной из причин замедления темпов развития японской экономики стала также сложившаяся в стране система образования. Эта система, как показала со всей очевидностью практика, стимулировала молодежь не к получению профессиональных знаний, а к необходимости получения диплома, причем диплома по возможности наиболее престижного университета. Однако вплоть до последнего времени это особенно не волновало предпринимателей. Им требовался именно такой тип работника: дисциплинированный, послушный, старательный, усердный, и главное, лояльный. А пробелы в образовании восполняли во время работы.

Сейчас, когда японская экономика и общество достигли стадии зрелости, когда догонять по большому счету уже некого, когда Японии необходимо самой становиться первопроходцем, данная система теряет свою эффективность. В нынешних условиях ощущается потребность в совершенно другом типе работника — самостоятельном, инициативном, способном к творческой деятельности.

И, наконец, проявилась слабость самого сильного звена японского менеджмента — пожизненного найма. Он становится слишком дорогим и невыгодным. В условиях глобализации экономической жизни подвергается эрозии принцип «фирма — одна семья». Японцы впервые столкнулись с таким новым, неприятным для себя явлением, как сокращение штатов или досрочное увольнение пожилых сотрудников.

Все большей критике подвергается традиционный и, казалось бы, незыблемый принцип кадровой политики — амакудари. Дословно в переводе с японского это означает спуск с небес. А в реальности этим термином обозначали практику приглашения на пост в частную или смешанную компанию бывшего высокопоставленного правительственного чиновника после его отставки. Преимущества фирм, располагающих такими сотрудниками, весьма значительные. Амакудари играют ключевую роль, выступая посредниками между правительственными агентствами и компаниями в получении необходимой информации, разрешений на проектные работы, в обеспечении выгодных условий при заключении контрактов. Однако подобная протекционистская практика в последнее время приобрела весьма дурную славу. Стало известно, что многие дельцы в руководстве лопнувших компаний, выдававших займы на жилищное строительство, были в прошлом чиновниками министерства финансов. Это вызвало череду громких и неприятных скандалов.

Названные и другие проблемы, с которыми столкнулось японское общество на рубеже веков, считает мой собеседник, привели страну к серьезному кризису. Затянувшийся спад в экономике, характеризующийся низкими темпами роста ВВП, наличием у частных банков огромной суммы «плохих долгов», большим государственным долгом, снижением промышленного производства, застоем в личном потреблении и другими негативными явлениями, побудил Кабинет министров в 2001 году разработать программу структурных реформ, призванных вывести экономику на путь стабильного поступательного развития.

Однако реализация этих реформ столкнулась со многими объективными и субъективными трудностями и желаемых результатов не дала. Поэтому в начале

2003 года правительство Японии представило свое новое видение стратегии действий под названием «Базовая политика в сфере экономики, фискального управления и структурные реформы».

Профессор Хидео достаточно подробно рассказывает об основных направлениях проводимых в стране реформ. Прежде всего, это уменьшение государственного вмешательства в дела бизнеса. Эта мера призвана активизировать роль частного сектора в экономике. С этой целью было приватизировано, реорганизовано или расформировано более 160 государственных корпораций.

Разработана широкомасштабная программа развития регионов. Согласно этой программе часть полномочий центрального правительства передается регионам. Экономическая политика здесь впредь будет строиться на основе индивидуальных хозяйственных зон и с учетом местных особенностей. В ближайшие пять лет планируется открыть около 40 тысяч региональных фирм и создать более тысячи новых видов деятельности.

Продолжится дальнейшее совершенствование налоговой системы. Результатом этой работы должно стать стимулирование инвестиций в проведение научно-исследовательских изысканий и в информационные технологии.

Если мы правильно поняли профессора Хидео, то в XXI веке существенно меняется сама экономическая политика Японии. Производится полная модернизация производства. Морально устаревшее оборудование заменяется новым, самым современным. Часть оборудования списывается вообще, имея в виду принцип: лучше меньше, да лучше.

Наряду с обновлением техники в производство внедряются новейшие технологии. Но поскольку новые технические идеи закупать за рубежом становится все труднее, сделана ставка на собственные силы. Кроме создания крупных научно-исследовательских центров многие корпорации и компании открывают собственные научные лаборатории. Примером этому может служить телевизионная фирма «Sharp». На средства, сэкономленные при сокращении разбухшего персонала, она смогла построить один из новейших заводов в Японии. Здесь внедрено в производство все самое новое, что разработано в странах Восточной и Южной Азии, в Сингапуре, Малайзии, Китае. Проводятся исследования по разработке новых технологий и собственными силами.

В стране оказывается всемерная помощь и поддержка малому и среднему бизнесу. Для этого введены специальные налоговые ставки, стимулирующие вложение инвестиций, предлагаются льготные кредиты и другие меры. Крайне важно, чтобы и малые предприятия были оснащены самой современной техникой и работали по новейшим технологиям. Как это сделала, например, автомобильная фирма «Тойота» во всех своих региональных филиалах, которых на сегодняшний день более тысячи.

Предусматривается более активный перелив капитала из традиционных отраслей обрабатывающего комплекса Японии в высокотехнологичные сферы. Такие, скажем, как высокоточные обрабатывающие технологии, выпуск экологически чистых самолетов и автомобилей, производство цифровой бытовой техники, медицинского оборудования и многое другое.

Предполагается ускорить инновационные процессы в сфере услуг. Значительные средства направляются на расширение услуг в области здравоохранения, связи, туризма, совершенствование справочной отрасли.

К структурным сдвигам принципиального порядка следует также отнести постепенный допуск представителей предпринимательского сектора на рынки естественных монополий (энергосбережение, газовое хозяйство, водоснабжение, канализационное хозяйство) и в другие сферы, которые контролируются государственными или полугосударственными структурами. Частные компании, например, уже не первый год на тендерной основе заключают соглашения с местными властями по поводу лизинга систем водоснабжения, что несколько снизило цены на данный вид коммунальных услуг. На высокую степень либерализации ука-

зывает и тот факт, что на рынки естественных монополий открыт доступ в том числе и иностранным инвесторам.

Еще одно из инновационных решений: размещение японских предприятий за рубежом, прежде всего в Китае. Но не приведет ли это к снижению качества продукции? На этот вопрос мой собеседник отрицательно покачал головой. И пояснил почему. Во-первых, сборка изделий производится из японских деталей, во-вторых, под строжайшим контролем японских специалистов, в-третьих, все китайские рабочие прошли стажировку в Японии. Хлопотно? Зато выгода ощутимая — снижение себестоимости продукции и повышение в результате этого ее конкурентоспособности на мировом рынке.

Разработана специальная программа развития человеческого потенциала. В ней предусмотрен ряд кардинальных мер по повышению рождаемости (в Японии уже сейчас ощущается нехватка рабочих рук), улучшению качества образования, совершенствованию социального и пенсионного обеспечения. Практика пожизненного найма все в большей степени заменяется контрактной системой, практикой частичной занятости.

В связи с дефицитом трудовых ресурсов разрешено привлекать потенциальную рабочую силу, которая не была полностью востребована до сих пор. Это большая армия молодых пенсионеров, у которых еще много энергии и желания работать. Есть немало женщин, которые изо всех сил пытаются найти рабочие места. Кроме того, можно и нужно привлечь ту часть молодежи, что была не в состоянии полностью проявить свои способности в течение длительного времени, а также тех дипломированных университетских специалистов, кто пострадал от низкого уровня занятости.

— Как видите, — подытожил нашу более чем двухчасовую беседу профессор Хидео, — проблем у сегодняшней Японии немало. Однако это все проблемы роста.

— Удастся ли в ближайшие годы их успешно разрешить?

— Надеемся, — сдержанно улыбнулся мой собеседник. — У нашего поэта-классика есть такие строки, посвященные восхождению на Фудзияму. «Ночь. В глубокой тишине слышны только шаги по каменистой тропе да напряженное дыхание. До вершины еще далеко. Как хорошо будет встретить там восход солнца!..»

Аллегория более чем прозрачна. Япония подобна сегодня путнику, восходящему на крутую гору. Значительная часть дороги уже пройдена. Остался самый сложный, самый трудный отрезок пути, где каждый шаг вперед дается с большим усилием. Но он нацелен только вперед. Вершины покоряются упорным.

Я искренне благодарю профессора Хидео за обстоятельный и, как мне кажется, абсолютно честный, объективный рассказ о сегодняшнем состоянии японской экономики.

— Thank you! — кланяется профессору и Катюша. — It was very interesting.

— Тебе что, действительно было интересно? — спрашиваю ее уже в лифте.

Катюша глядит на меня с таким укором, что мне даже становится неловко. Оказывается, моя внучка уже совсем взрослый человек.

Изысканность и умеренность

Известный российский журналист и искушенный востоковед Всеволод Овчинников, с которым мне в свое время посчастливилось познакомиться и близко общаться, считает, что влияние чайной церемонии ощущается во многих областях японской культуры. Именно отсюда берут начало такие понятия, как «ваби» и «саби», обозначающие простоту и утонченность. Как ни удивительно, эти, казалось бы, сугубо эстетические термины вполне приложимы и к традиционной японской кухне. Более того, тамошняя кулинария в определенном смысле представляет собой симбиоз искусства и религии.

Попробую пояснить эти утверждения более подробно.

Японцы свою национальную кухню действительно обожествляют. Можно сказать, они создали подлинный культ здорового питания.

Перво-наперво, это — культ рыбы. Япония буквально помешана (в хорошем смысле этого слова) на рыбе. Ее едят три раза в день и практически ежедневно. Она с успехом заменяет собой мясо, которое здесь и дороже, и считается не столь полезным для здоровья, и оттого менее популярно.

Пристрастие японцев к рыбе родилось не сегодня и даже не вчера. Оно уходит своими корнями в глубокую древность, в далекий VII век. Правивший тогда император придерживался буддизма, а это вероучение, как известно, запрещало употреблять в пищу мясо животных. Изданный императором указ повелевал прихожанам строго придерживаться буддистских канонов. Любопытно, что указ этот действовал на протяжении более тысячи лет, вплоть до 1873 года.

Кроме того, были и объективные причины слабой популярности мяса у населения. В стране, где три четвертых территории составляют горы, трудно содержать коров, а также свиней и других домашних животных. Поэтому потребление мяса, молока, сливочного масла, сметаны, сыра издавна здесь существенно меньше (в разы!), чем в Америке и странах Европы.

Нехватка этих продуктов с лихвой компенсируется рыбой. Японцы ежегодно съедают ее по 68 килограммов на человека, что более чем в четыре раза превышает средний показатель потребления рыбы в других странах.

Вот уж действительно: нет худа без добра. Став одним из главных компонентов национальной кухни, рыба, по мнению некоторых экспертов, сослужила добрую службу по укреплению здоровья и повышению долголетия японцев. Научно доказано, что регулярное потребление рыбы снижает риск сердечных приступов, инфарктов и других тяжелых недугов. Этому способствуют содержащиеся в ней минеральные вещества, такие, например, как селен, йод, некоторые антиоксиданты. Особенно полезны лосось, форель, сельдь.

Япония потребляет около 10 процентов всего мирового производства рыбы. Естественно, эти потребности она вряд ли смогла бы удовлетворить за счет своих прибрежных вод. На ловлю рыбы японские рыбаки отправляются далеко от родных берегов. Кроме того, эту продукцию в больших количествах покупают в Шотландии, Норвегии, в странах Южной Америки, Чили. Доставляют самолетами на токийский рыбный рынок Цукидзи.

Об этом рынке хотелось бы сказать отдельно. Это небольшой город в городе, со своими улицами, переулками, площадями. Разнообразие немыслимое! Целые ряды тунца. Это, пожалуй, главная рыба на рынке. На прилавках лежат огромные туши по 100—140 килограммов, которые приходится резать электропилами. Достойное место отведено лососю — любимой рыбе японцев наряду с тунцом. Чуть поодаль горками лежат морской лещ и морской окунь. В пластмассовых корзинах копошатся лобстеры, шевелятся крабы, извиваются угри.

На любой вкус выбор океанской рыбы — кальмары, осьминоги, барракуда, медузы, скумбрия, палтус, камбала, дикий осетр, полосатый окунь... Рядом с ними вообще какие-то экзотические, бесформенные существа с антеннами и щупальцами.

Японцы потребляют рыбу не просто свежую, а свежайшую. На этикетках указывается не только дата, но и время вылова. Замороженной рыбы в Японии просто не существует. Поэтому на рынок здесь ходят ежедневно. Кроме того, рыбу можно купить в гипермаркетах, крупных продуктовых магазинах, а также в небольших специализированных лавках. Каждый выбирает, как ему удобнее.

Японские хозяйки из рыбы готовят множество разнообразных блюд. Наиболее известное у нас — суши (по-японски оно произносится скорее как суси). Правда, то, что предлагается в наших ресторанах и барах, весьма отдаленно напоминает знаменитое блюдо. Настоящее суши готовится так. Рис, пропитанный уксусом, солью и сахаром, вручную формируется в маленькие квадратные подушечки. Они намазываются васаби — острой пастой из корня дикого хрена.

Затем тонкими пластинами или кружочками нарезается и кладется сверху свежая, сырая рыба. Чаще всего это брюшная часть тунца, мясо лосося, краба или камбалы. Суши всегда обмакивают в соевый соус и целиком кладут в рот рыбой вниз (при этом вспоминается кот Матроскин, который советовал подобным образом есть бутерброды — так вкуснее!).

Одна из основ японской домашней кухни — даси. Это прозрачный бульон из наструганных хлопьев бонито (подсушенной рыбы семейства скумбриевых или малого тунца) и морских водорослей. Даси представляет собой прекрасную альтернативу бульону из говядины или курицы. Японки используют его как основу для варки продуктов, как бульон для супов, соусов и приправ.

Не меньший культ и у другого популярного продукта — риса.

Вот уже почти 1 300 лет жители Страны восходящего солнца занимаются возделыванием этой чрезвычайно трудоемкой, затратной культуры. Она затратна сама по себе (необходимо идеально выровнять участок земли, соорудить сложную ирригационную систему, вручную высадить тысячи хрупких растений и т. д.), а в условиях специфичного японского ландшафта эта затратность многократно возрастает. Ведь большинство здешних фермеров имеет наделы примерно в полтора гектара. А нам приходилось видеть и гораздо меньшие участки, расположенные где-нибудь в излучине реки или прилепленные к подножию горы. Естественно, что на таких крохотных площадях трудно применить какую-либо механизацию. Вследствие этого японцы не могут конкурировать с крупным, поставленным на индустриальную основу зерновым производством американских или канадских фермеров.

Зарубежные эксперты не раз советовали Японии перейти от возделывания риса к более доходным культурам. Скажем, выращивать дыни, клубнику, которые продаются за хорошие деньги, а на вырученные средства покупать рис за рубежом. К чести японских руководителей, они пока не поддаются на эти уговоры, справедливо считая, что для страны важнее не коммерческая выгода, а продовольственная безопасность. И поэтому правительство закупает весь урожай по рентабельной для крестьян цене, а продает рис дешевле, с убытком для себя.

В Японии рис означает нечто гораздо большее, чем просто полезный продукт питания. С ним связано нечто культово-мистическое. Вот как об этом писал один из иностранных историков Аманда Майер Стинхекум: «Для японцев колышущиеся зеленые поля в середине лета, спелое зерно, клонящее золотистые колосья в урожайную страду, коричневые снопы, сохнущие под осенним солнцем, символизируют богатство, плодородие и процветание».

Рис — постоянный спутник любого японца. Он появляется на обеденном столе практически каждый день, с детства до преклонных лет. Из рисовых зерен готовят ритуальные и праздничные блюда, повседневную пищу, делают масло, уксус и многое другое. Рисовая же солома идет на производство татами, бумаги, шляп, веревок...

В Японии рис особый. Он отличается от того, что мы потребляем, и по форме (его зерна белые, круглые), и по вкусу (он долго жуется, немного вязкий и пышный), и по своим свойствам (зернышки держатся вместе, но не склеиваются). Вот почему, когда Нобу-сан приехал к нам впервые и мы ему дали попробовать нашего риса, он, старательно пожевав его, после некоторого раздумья деликатно покачал головой: не то, мол, не то... И в последующем приезжал уже со своим рисом.

Рис заменяет японцам хлеб. Они потребляют его с любым блюдом. Подается он обязательно на отдельной тарелке, без всяких соусов и масла. И каждый волен из находящегося на столе обилия приправ выбирать, что угодно его душе, создавая таким образом свой, неповторимо индивидуальный кулинарный натюрморт.

Самое изысканное блюдо, приготовленное из риса, — моти. Без него не обходится ни один Новый год. А рецепт этого блюда таков. В деревянную кадку насыпают приготовленный, еще дымящийся рис и мнут, толкут его специальной толкушкой. В результате получается вязкая масса, похожая на тесто. Из

этого теста лепят квадратные пирожки, которые подают с разными приправами, например, с соевым соусом, тертым дайконом (японской редькой) или смесью из соевой муки и сахара. Моти можно заправлять соевым соусом и заворачивать в лист водоросли нори.

Очень популярно в Японии печенье из риса. Его выпекают, по словам Нобу-сана, 150 малых фирм, которые почти все сосредоточены в небольшом городке с населением в 230 тысяч человек.

— Наверное, они еле-еле сводят концы с концами?

— Что вы! — не без гордости возразил Нобу-сан. — Они получают в год до 50 миллионов долларов дохода.

— Каким образом?

— Во-первых, изделия кондитеров этого городка славятся отменным качеством и продаются по всей стране, а во-вторых, стоит такое печенье недешево — почти доллар за штуку.

Такой же, а возможно, еще и большей популярностью пользуется в Японии хорошо известное во всем мире сакэ. Этот своеобразный, с точки зрения европейца, напиток получают из пропаренного риса с добавлением дрожжей и хорошей родниковой воды. Содержит он всего 20, а то и меньше, процентов алкоголя. Сакэ подогревают в керамических бутылочках примерно до 40 градусов и пьют из маленьких керамических чашечек. Это необходимое дополнение ко многим японским блюдам.

Разновидностей сакэ великое множество — свыше четырех тысяч сортов. Оно бывает разного качества, разной цены и вкуса (сладковатое, среднее и сухое). По правде говоря, ни в холодном, ни в подогретом виде в этом напитке я не нашел ничего особенного, привлекательного. Обычная наша самогонка.

Иное дело домбори — очень густой и очень вкусный суп, который по своей питательности вполне может заменить и первое, и второе. Основу этого блюда составляет все тот же рис с различными добавками. Сытную и недорогую еду можно отведать повсюду.

Где только мог, я допытывался, почему японцы так любят рис. В силу многовековой традиции? Потому, что это вкусно? Или есть еще какой-то секрет? Да, отвечали мне, секрет популярности составляют и привычка, и вкус. Но главное, пожалуй, в том, что рис славится высоким содержанием углеводов. А исследования показали, что люди, которые потребляют продукты, богатые углеводами, не страдают лишним весом. Наверное, поэтому встретить тучного японца — большая редкость.

Именно этими качествами — низкой калорийностью, богатством протеинов — отличается еще один широко распространенный в Японии продукт. Это — соя. Да, та самая соя, к которой мы, белорусы, относимся почему-то весьма настороженно. Не наш это продукт. Мы больше доверяем бобам, гороху, фасоли.

В Японию соя тоже завезена иностранцами. Из Китая. Давно, около тысячи лет назад. И за это время она сумела трансформироваться в продукт поистине национальный. Достаточно сказать, что сегодня японцы обогнали весь мир по потреблению сои. Даже самих китайцев. Не говоря уже о европейцах.

Кстати, и потребляют сою в Японии иначе, чем на Западе. Японцы едят ее преимущественно в натуральном виде, почти не обработанную. Так лучше сохраняются, считают они, все полезные вещества этого продукта.

А то, что соя чрезвычайно полезна для здоровья, этот факт уже не нуждается в особых доказательствах. Он подтвержден многовековой практикой. Нравится японцам соя еще и за свою неприхотливость, многофункциональность. Богатая белками, она вполне заменяет мясо. Из нее можно изготовить тофу, суп мисо, отменный соус. Подать в виде сброженных бобов натто.

Соевый творог тофу, рецепт которого был завезен когда-то китайским торговцем, быстро стал любимым блюдом японских священников-буддистов. Особую популярность он приобрел в древней столице Киото. Этот город и по сей день

считается центром его производства. Только здесь можно отведать ряд эксклюзивных блюд, которых нигде больше не найдешь. Например, в специализированном ресторане «Окутан» в меню значится: тушеный тофу, тофу с кунжутом, овощная тэмпура, тертый батат, запеченный тофу с мисо и листовыми почками перца.

Два слова о мисо. Это — знаменитый японский суп из сброженных соевых бобов с добавлением зерен пшеницы или ячменя. Суп несколько для нас непривычный — густой, в виде пасты. И в зависимости от консистенции этой пасты имеет самый разнообразный вкус. Гурманы характеризуют его различными эпитетами: насыщенный, сладковатый, мясистый, с привкусом орехов. Благодаря богатству вкуса мисо занимает почетное место в японской кухне. Используется в качестве самого распространенного ингредиента для супов, маринадов, соусов, бульонов и приправ.

Но если любовь японцев к рису и сое еще можно как-то объяснить, то их повальное пристрастие к лапше приезжему человеку кажется странным. Ну как же — мучной продукт из того же ряда, что и высококалорийные булочки, пирожное, печенье.

А между тем японская лапша — это лапша особая, легкая и полезная. Не буду вдаваться в тонкости технологии ее изготовления, скажу лишь, что в стране сейчас выпускается четыре основных разновидности этого чрезвычайно популярного продукта. Самая распространенная лапша — собу. Это такие плоские, тонкие полоски из гречки и пшеницы. Едят их, со свистом втягивая в рот и громко причмокивая. Забавно было видеть, как в одном из киотских кафе, где подавали именно собу, десятка полтора взрослых мужчин, словно школьники-подростки, дружно и аппетитно издавали эти чмокающие звуки.

Лапша, изготовленная только из пшеницы, называется удон. Она чем-то похожа на нашу вермишель, только длиннее и тягучее. Из такой же, пшеничной, муки делают и лапшу рамэн. Правда, готовят ее по-другому — в наваристом говяжьем, курином или рыбном бульоне. Рамэн отличается от других видов лапши тем, что ее волокна необычайно тонкие, похожие, как образно выражаются японцы, на ангельские волосы.

В Японии не меньше 200 тысяч ресторанчиков, предлагающих лапшу. А уж магазинчиков, где продается лапша быстрого приготовления, и вовсе не счесть. Любопытен такой факт.

Несколько лет назад консалтинговая фирма «Fuji Research Institute» попыталась путем опроса общественного мнения выяснить, какое из японских изобретений сыграло наиболее важную роль в развитии человеческой цивилизации, особенно на ее нынешнем этапе. Мнения были самые разные. Кто назвал компакт-диск для компьютера, кто — проигрыватель «Sony Walkman», кто — систему караоке... Но большинство пальму первенства отдали изобретению предпринимателя Момофуку Андо.

Какое же чудо изобрел этот малоизвестный у нас человек? Оказывается... лапшу быстрого приготовления! В августе 1958 года Андо впервые предложил в торговую сеть невиданный продукт — брикеты «Chicken Ramen», которые, размочив в кипятке, можно было за три минуты превратить в душистый куриный суп с лапшой.

Покупая в магазинах пачки «Роллтон», «Доширак», «Квисти», «Солонтан», «Биг ланч», мы и не представляем, кому обязаны появлением этой простой, дешевой и вкусной еды. Поэтому хочу еще раз повторить имя популярнейшего в Японии изобретателя — Момофуку Андо.

Однако вернемся к нашим культам, вернее, к кулинарным культам японцев. О том, какое место и значение в японской кухне имеют рыба, рис, соя и лапша, я уже рассказал. Но этим гастрономические пристрастия жителей Страны восходящего солнца не исчерпываются.

Овощи и фрукты — вот еще два неотъемлемых компонента любой здешней трапезы, начиная от праздничного застолья и кончая быстрым перекусом школь-

ника. В Японии широчайший выбор горных, равнинных и морских овощей, а также корнеплодов. Большинство из них — свои, доморощенные, некоторые завезены из-за границы.

Японцы умеют готовить из овощей немало прекрасных блюд. Одно из них — вагаси. Это — смесь, но не просто смесь, а очень тонкое, продуманное, гармоничное сочетание различных бобов: адзуки (мелкой красной фасоли), белой фасоли, зеленого горошка, соевых бобов. К этому непременно добавляются еще булочки с бобовой пастой и рисовые вафли с бобовой начинкой.

Популярна и другая овощная смесь, состоящая из красного перца, зеленого горошка, желтых цуккини, пропаренных и утушенных на рапсовом масле сиреневых баклажанов, белого лука, кинзы, токийского нэгги. А до чего же вкусен кабачок с натертым корнем имбиря и соевым соусом!

Традиционное и любимейшее блюдо японцев — сладкий, приготовленный на гриле, картофель. Когда мы были в Сокаси на городском фестивале, то в огромнейшем торговом ряду, протянувшемся, наверное, на километр, буквально через каждые десять метров видели разнообразные приспособления для готовки такого картофеля. И что самое удивительное: везде стояли очереди!

Наряду с известными нам помидорами, свеклой, огурцами, тыквой, морковью, цветной, брюссельской и белокочанной капустой японцы немало используют и своих, достаточно экзотических овощей — ростков бамбука, корней лотоса, латука, бата. И о каждом из них они знают все или почти все, прекрасно разбираясь в их пищевых достоинствах.

Что касается фруктов, то японцы расценивают их как важнейший источник по меньшей мере восьми ценных питательных веществ, в том числе витамина С, фолиевой кислоты и калия. В целом в Японии потребляют фруктов не больше, чем на Западе. Однако едят их здесь более свежими и почти без обработки. При этом фрукты непременно очищают от шкурки, нарезают красивыми мелкими кусочками и выкладывают на изящные тарелочки из глины или фарфора.

В Японии типичный домашний обед завершается не куском пирога, мороженым или пирожным, а чаем и различными фруктами. А фруктов здесь огромнейшее разнообразие. Это прежде всего виноград, вишни, груши, и конечно же, яблоки. Кстати, здешние яблоки сорта Фудзи, по мнению садоводов-знатоков, — лучшие в мире. Это — южные «неженки»: дыни, персики, мандарины, абрикосы. Это — чрезвычайно полезные для здоровья хурма, гранаты, грецкие орехи, инжир.

Ну и, наконец, подошла очередь сказать о знаменитом японском зеленом чае. Я специально приберег рассказ о нем напоследок, чтобы сделать на этом определенный акцент. Зеленый чай — это главная составляющая японской кухни. Это — самый культовый напиток, с которого начинается и заканчивается любая трапеза. В какой бы ресторан или кафе мы ни заходили, всюду, прежде чем подать меню, нам предлагали (бесплатно!) чашку горячего, превосходного зеленого чая. Пейте на здоровье и не спеша изучайте меню.

То же самое в традиционной японской гостинице «рёкан». В какое бы время суток мы ни возвращались, нас всегда ожидал в нашем номере чайник-термос с кипятком, а рядом — коробочка с заваркой и упаковка рисового печенья.

Впервые чай в Японии появился в XII столетии. Его привез из Китая дзэнбуддийский монах по имени Эйсан. Пропагандируя этот напиток, Эйсан писал: «Чай — это секрет долголетия. На горных склонах он расправляет свои листья, словно душа земли».

Еще более восторженно отзывался о зеленом чае молодой голландский врач Энгельберт Кэмпфер. В 1690 году он объехал всю Японию и с полным основанием мог заявить: «По-моему, в мире нет такого растения, которое могло бы сравниться с японским чаем по своим свойствам. Заваренный со всей серьезностью и тщательностью, зеленый чай полезен для желудка, быстро усваивается организмом, освежает угасшие природные чувства и оживляет ум».

Сегодня в стране продается до сотни различных сортов чая — от самых дорогих, элитных (небольшая упаковка стоит свыше 20 долларов) до самых доступных, широко распространенных. Но это не значит, что дешевые сорта чая менее качественны. Нет. Просто при их изготовлении применяются более простые технологии. Зеленый чай вообще отличается тем, что он подвергается меньшей обработке, нежели черный. А вот листья, из которого получают маття (знаменитый порошковый чай), практически не обрабатываются совсем. Их высушивают достаточно сложным методом, чтобы они сохраняли свою свежесть и молодость.

Любители, или точнее, обожатели зеленого чая утверждают, что в нем содержится много антиоксидантов, в два раза меньше кофеина, чем в кофе, он лучше утоляет жажду. Некоторые даже считают, что зеленый чай является чудодейственным лекарством, которое сохраняет здоровье. Он якобы снижает уровень холестерина, препятствует сердечным заболеваниям, стабилизирует кровяное давление, борется с диабетом. Говорю «якобы», потому что большинство подобных заявлений не имеют под собой серьезной научной основы — глубоких клинических испытаний никто не проводил. Приходится верить японцам на слово. Да и самая большая продолжительность их жизни — неплохой аргумент.

Как видим, еда в Японии — всегда легкая, свежая и полезная. Легкая, потому что ее основу составляют овощи и рыба. Продукты подвергаются лишь легкой обработке, их готовят либо на пару, либо варят (но не слишком долго), либо быстро обжаривают на среднем огне. При такой готовке пища сохраняет не только все свои питательные вещества, но и естественный вкус и цвет. Кроме того, она не содержит насыщенных жиров, рафинированного сахара. Вместо животного жира, сливочного масла или тяжелых растительных масел японки готовят на небольшом количестве рапсового масла. А вместо высококалорийных сметанных или масляных соусов и различных острых специй используют легкие, вкусные и питательные приправы.

Японская еда — самая свежая и самая вкусная на свете. И это не преувеличение. Я уже говорил о рыбе, что она продается только сегодняшнего лова и не подвергается заморозке. То же самое можно сказать и о многих других продуктах. Они подаются потребителю в самом свежайшем виде. Во многих ресторанах, чтобы это показать наглядно, некоторые блюда готовятся прямо у вас на глазах. Для этого в столы вмонтированы газовые или электрические плиты.

И, конечно же, такая еда чрезвычайно полезна для здоровья. Она полезна еще и потому, что японцы питаются несколько иначе, чем мы. Они едят мелкими порциями, медленно пережевывая и смакуя каждый кусочек. Считают вредными всяческие диеты, ибо организм, как правило, реагирует на них тем, что запасает жира больше, чем надо, и существенно сокращает количество сжигаемых калорий.

Может, поэтому японский рацион, состоящий в основном из рыбы, сои, риса, овощей и фруктов и на первый взгляд кажущийся простым и ограниченным, на самом деле отличается большим разнообразием. Из названных ингредиентов японцам удается создавать невероятное количество вкусных и качественных блюд. Да и самих продуктов они еженедельно потребляют почти в два раза больше, чем европейцы, — естественно, не по объему, а по разнообразию.

Японцы не отказывают себе во вкусной еде, не любят излишних ограничений и воздержаний. Они обожают, например, различные сладости — мороженое, выпечку, рисовые крекеры, пирожные из фасоли и т. д. Правда, по японским понятиям, эти сладости не должны быть слишком сладкими. Зато они должны по форме обладать изящной простотой, быть привлекательны, аппетитны и оригинальны. Именно поэтому в особой цене изделия ручной работы. Практически в каждом районе или крупном городе есть кондитерские со своими секретами производства, выпускающие продукцию с ярко выраженным неповторимым вкусом.


Кафе-конвейер.

В последние годы здесь чрезвычайную популярность обрел шоколад. Особенно шоколад с высоким содержанием какао, который прочно закрепился в сознании японцев как полезный для здоровья продукт. И ученые подтверждают это мнение: бобы какао содержат почти все, что необходимо организму человека.

Продажи шоколада в Японии растут из года в год. Особым спросом пользуются сладкие плитки с содержанием 70, 85 и даже 90 процентов какао. Однако этот рынок, как считают сами японцы, еще далеко не освоен. В стране в среднем потребляется только 1,8 килограмма шоколада в год на душу населения. Это в 5 раз меньше, чем, скажем, в Швейцарии.

Я был немало удивлен, узнав, что излюбленным напитком японцев сейчас считается пиво. Оно потеснило даже популярное сакэ. А ведь хорошие сорта пива, такие как «Асахи», «Кирин», «Саппоро», стоят недешево — до пяти долларов за бутылку. Правда, японцы и здесь остаются японцами. Чтобы совместить приятное с полезным, они изобрели новый, уникальный сорт пива — «Bilk» (beer + milk), которое сделано на основе молока. Столь необычная идея пришла в голову одному фермеру, который столкнулся с проблемой сбыта излишков молока (в Японии за последнее время резко сократилось его потребление). Он обратился к пивоваренной компании, которая и взялась за разработку необычного напитка. В результате получилось пиво, на треть состоящее из молока и обладающее мягким фруктовым вкусом.

Культ еды в Японии органично сочетается с высокой культурой потребления. В стране создана широкая сеть разнообразных объектов питания. В любом городе, большом или малом, не составит труда найти приличный ресторан. Причем на любой вкус — от простого, доступного по цене, до дорогого, фешенебельного. Но и в том и в другом случае отличное качество пищи, надлежащий комфорт и уют, а также вежливое, приятное обслуживание вам гарантировано.

Очень популярны здесь небольшие, на десять-пятнадцать человек, кафешки, куда можно заскочить, что называется, на бегу и быстро, вкусно перекусить. Очередей в таких заведениях практически не бывает, потому что они встречаются буквально на каждом шагу. Чаще всего это — семейный бизнес, в котором заняты два-три поколения. Для того чтобы привлечь посетителей, они, как правило, изобретают какой-нибудь кулинарный изыск, делая его изюминкой в своем меню, либо специализируются на определенном блюде, которое у них получается лучше всего.

Однако основу общественного питания составляют, пожалуй, гайсёку — в дословном переводе «питание вне дома». Иными словами, быстрое питание по-японски. В них все продумано так, чтобы посетитель долго не задерживался. Порции в некоторых гайсёку подаются на движущихся конвейерах. В одном из таких конвейерных кафе «Кайтэн-суши» в Токио побывали и мы. Понравилось чрезвычайно. Во-первых, удобно: порции суши, приготовленные из разных рыб, проплывают мимо тебя, и ты можешь выбрать любую понравившуюся. Во-вторых, это очень вкусно, ибо все блюда готовятся из свежайших продуктов и прямо на глазах у посетителей. В-третьих, стоит это удовольствие, по японским меркам,

совсем недорого, вполне сытно отобедать можно всего за десять долларов. И, наконец, что не менее важно, такой обед (завтрак, ужин) займет каких-нибудь 15—20 минут.

Сейчас в Японии, по крайней мере, в крупных городах, вообще можно жить, обходясь без кухни. По всей стране ширится сеть магазинов комбини (в переводе с английского — удобный). В этих заведениях реализуются главным образом полуфабрикаты, которые здесь же можно разогреть в микроволновке и съесть за столиком или у стойки. Работают комбини круглосуточно, превращаясь в своеобразные клубы для жителей близлежащих домов.

Но и комбини постепенно уступают место новым заведениям, которые именуют здесь как фаст-кэзуэл. Сам термин возник из объединения названий двух видов заведений общественного питания: фаст-фуд — рестораны быстрого питания и кэзуэл — рестораны, специализирующиеся на обслуживании случайных, нерегулярных клиентов. Успех фаст-кэзуэл обусловлен тем, что они сочетают удобства и преимущества фаст-фудов и атмосферу непринужденности, а главное, качество блюд семейных ресторанов.

Для тех, кто часть своей жизни проводит в поездках (а японцы, как известно, — нация путешественников), а также для многочисленных иностранных туристов на железнодорожных вокзалах и во всех поездах дальнего следования, в местах отдыха и развлечений продаются коробки с дорожным набором еды — бенто. Их иногда еще называют экибэн, и, по-видимому, не случайно. Потому что еда в таких коробках не только вкусная, разнообразная, но и красиво оформленная. Кстати, для поддержания оптимальной температуры продуктов в таком наборе применяются новейшие упаковочные материалы.

Японская кухня, на первый взгляд, кажется очень закрытой, чуждой к восприятию всяческих импортных кулинарных изысков и модных поветрий. Но это не так. Здесь можно найти немало китайских блюд. Самое распространенное из них — лапша. Гурманы могут побаловать себя европейскими блюдами — бифштексом, шницелем, пиццей, спагетти... При этом все они будут отменного качества. Знающие люди утверждают, например, что лучшие в мире французские деликатесы готовят в токийских ресторанах.

В Токио есть даже ресторан с белорусской домашней кухней. Его открыла наша землячка Виктория Борисюк, которая приехала сюда изучать японский язык, рискнула открыть свой бизнес и не прогадала. Ресторан пользуется устойчивым успехом у искушенных в кулинарном искусстве жителей столицы. Особенно им нравятся наши драники.

Но при этом японская кухня все же остается японской. Даже заимствуя что-то импортное, здешние кулинары-кудесники умеют постепенно превратить его в свое. Такие блюда, как сукияки и тэмпура, которыми чаще всего потчуют туристов, пришли сюда из-за рубежа. Первое — из Монголии, а второе — из Португалии. Однако сегодня уже мало кто об этом помнит, считая их традиционными национальными блюдами.

Даже изделия всемогущего «Макдональдса», прочно запустившего свои щупальца и на японскую землю, приобрели здесь специфические особенности. Порции, которые продаются в сети этих ресторанов, помельче, содержание жиров пониже, а качество повыше.

Японцы чрезвычайно заботятся об имидже своей кухни. И не только у себя в стране, но и за рубежом. В частности, создана рабочая группа в составе лучших специалистов и знатоков национальной кухни. Основная задача этой группы — оценка отечественных ресторанов и выдача им соответствующих сертификатов. Специальные комиссии будут созданы и на территории иностранных государств, чтобы определять соответствие тех или иных ресторанов их «японскому» имиджу. Основой для положительного заключения послужит прежде всего качество продуктов, используемых при приготовлении японских блюд, а также квалификация персонала и ряд других критериев.

Подобные меры приняты в связи с тем, что пища, предлагаемая так называемыми японскими ресторанами, зачастую не имеет ничего общего с настоящей японской кухней. В частности, эксперты проверили в Париже 80 ресторанов, и, как оказалось, почти половина из них не имеют права называться японскими.

Огромное значение в японской кухне имеет эстетика оформления блюд. Часто это маленькие произведения искусства. Простота и изысканность, элегантность — эти основные понятия японской культуры — учитываются также в приготовлении и сервировке стола. Японский повар стремится прежде всего к тому, чтобы внешний вид и вкус приготовленного блюда максимально сохраняли первоначальные свойства продукта. А уж о сервировке стола можно слагать целые поэмы. Здесь все продумано до мелочей. Красивые салфетки, оригинальные подставки для палочек, разнообразная посуда. Все тарелки различной формы — круглые, квадратные, прямоугольные. И росписи на них, цветовая гамма, в отличие от наших сервизов, разные. То же самое можно сказать о суповых чашках, чайных пиалах, приборах для соусов и других приправ.

Да, японцы, как мы убедились, обожествляют свою кухню. Но ведь и кулинария у них действительно божественная. И по качеству продуктов, и по мастерству приготовления блюд, и по искусству их оформления. Но что наши слова, пусть даже самые восторженные! Лучше всего видеть это самому, пробовать и наслаждаться.

Эти мудрые фазаны

Самое удивительное в Японии — японцы. Английская путешественница Элиза Скидмор, побывавшая в Японии в 1891 году, писала об этом так: «Японцы — загадка нашего века, это самый непостижимый, самый парадоксальный из народов. Вместе с их внешним окружением они столь живописны, театральны и артистичны, что временами кажутся нацией позеров; весь их мир — как бы сцена, на которой они играют. Легкомысленный, поверхностный, фантастический народ, думающий лишь о том, чтобы понравиться, произвести эффект. Здесь невозможны обобщения, ибо они столь различны и противоречивы, столь непохожи на все другие азиатские народы, что всякие аналогии отпадают. Это натуры самые чуткие, живые, артистичные и в то же время самые невозмутимые, примитивные; самые рассудочные, глубокие, совестливые и самые непрактичные, поверхностные, безразличные; самые сдержанные, молчаливые, чопорные и самые эксцентричные, болтливые, игривые. В то время как история объявляет их агрессивными, жестокими, мстительными, опыт показывает их покладистыми, добрыми, мягкими. В те самые времена, когда складывалась изысканная утонченность чайного обряда, они проявляли ни с чем не сравнимую жестокость. Те самые люди, которые провели половину жизни в отрешенном созерцании, в сочинении стихов и в наслаждении искусством, посвятили другую половину разрубанию своих врагов на куски и любованию обрядом харакири».

Подчеркну: строки эти были написаны более ста лет назад. Однако многие характеристики, данные жителям Страны восходящего солнца, сохраняют свою актуальность и сегодня. Японцы действительно — загадочный, трудно постижимый народ. А все потому, что они, как справедливо заметил американский бизнесмен Серж Ленц, «стараются держаться на расстоянии, сохранять свой особый облик, быть непроницаемыми. Подобный образ действий отвечает их целям. По существу Япония не испытывает ни малейшего желания раскрываться перед окружающим миром».

Для японцев все неяпонцы — гайдзин. В этом термине содержится не только определение человека-иностранца, но и сквозит некое пренебрежительное, уничижительное к нему отношение. В прежние времена, если гайдзин в автобусе

или в поезде садился рядом с японцем, тот незамедлительно вставал и отходил в сторону.

В наши дни встретить такое, пожалуй, трудно. Тем не менее определенная высокомерность все же сохраняется. А может, это вовсе и не высокомерность, а просто-напросто отсутствие излишнего любопытства к иностранцу, некая подчеркнутая отстраненность. Большинство японцев к гайдзинам относятся как к объективной неизбежности, которую необходимо терпеливо принимать, как принимают, скажем, дождливую непогоду. И в этом случае лучше всего укрыться зонтиком безразличия и непроницаемости. Вот почему вы здесь никогда не поймаете на себе внимательных, изучающих глаз. Это будет взгляд либо мимо вас, либо сквозь вас.

Поначалу нам это казалось довольно странным и даже несколько обидным. В такой атмосфере отчужденности чувствуешь себя совершенно одиноким, словно на Марсе. Но потом к этому постепенно привыкаешь и даже находишь определенные преимущества: можно вести себя свободно, раскованно.

Подобный менталитет японцев объясняется многими факторами. Это и островное положение страны, и ее некоторое экономическое превосходство по сравнению с соседями, и вся система духовно-нравственного воспитания, ставящая японца чуть ли не в центр всего мироздания. Ну и конечно же, то, что Япония почти в течение трех веков (с 1600 по 1868 год) была полностью изолирована от внешнего мира. На государственном уровне был категорически запрещен не только въезд иностранцев в Японию, но и выезд японцев за пределы страны, а их контакт с гайдзином сурово карался, вплоть до смертной казни. Безусловно, это наложило свой отпечаток на поведение жителей этой страны, и возможно, продолжает сказываться до сих пор.

Не удивительно, что Япония — единственная, пожалуй, страна в мире, в которой практически нет иностранцев: лица неяпонской национальности составляют здесь менее одного процента населения. На более чем 130 миллионов человек их не наберется и миллиона.

Самое многочисленное национальное меньшинство образуют корейцы — около 700 тысяч. Однако их положение весьма незавидное, ибо они лишены многих прав. Им трудно поступить в высшее учебное заведение. Еще труднее устроиться на приличную работу. В ряде префектур корейцу не позволят занять должность даже почтальона или сантехника. А уж о должности в правительственном учреждении и говорить не приходится.

В 1986 году в Японии произошло немыслимое: впервые за всю историю здешней парламентской системы депутатом высшего законодательного органа был избран кореец Сёкэй Араи. И хотя его отец и мать родились в Японии, получили японское гражданство, а сам депутат никогда не знал родного языка, с молоком матери впитав в себя японскую культуру, тем не менее средства массовой информации сообщали о его избрании, словно о высадке в Токио инопланетянина. «Иностранец в парламенте!», «Чужак на депутатской скамье!» — аршинными заголовками оповещали газеты.

Впрочем, это относится не только к корейцам. Япония предпочитает оплачивать половину бюджетных расходов Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на их расселение по миру, нежели впускать иностранцев к себе. Иммиграционные власти разрешают гайдзинам трудиться в очень немногих областях. Они избегают использовать «гастарбайтеров» даже для выполнения низкооплачиваемой, непрестижной работы, опасаясь, что «лица неяпонской национальности» не впишутся в специфическую систему деловых и человеческих отношений.

При всем при этом у японцев достаточно уважительное отношение к Америке и американцам, чувствуется даже некоторый культ ко всему американскому. Особенно у молодежи. Они носят джинсы «Леви», пьют прохладительные напитки «Pocart Swea», тусуются в ресторанчиках фаст-фуда.

Западные актеры, модели и рок-звезды, считающиеся верхом внешней привлекательности, раскручиваются средствами массовой информации для рекламы чего угодно — от автомобилей до микстуры от кашля. В Токио мы едва ли не на каждом шагу встречали большие красочные плакаты с изображением Бритни Спирс, Джорджа Клуни и других звездных американцев, которые предлагали купить тот или иной товар.

Парадоксально, но сегодня в Японии стильно и престижно иметь западную внешность. Многие японцы красят волосы в каштановый цвет и носят контактные линзы, делающие их глаза голубыми. А производители используют этот психологический фактор для повышения продаж и любые новые товары представляют широкой публике как «уже приобретшие популярность» в Европе и Америке.

Справедливости ради необходимо отметить, что в последнее время японцев начали интересовать и соседи на азиатском континенте. Однако континентальную Азию они рассматривают скорее как объект для экзотического путешествия, нежели целостный мир, достойный внимания и подражания. Хотя отношение постепенно меняется: некоторые японцы носят азиатскую национальную одежду, проявляют любопытство к континентальной кухне, занимаются бизнесом и прочими вещами, имеющими отношение к Азии.

И еще показательный факт: в Японии большое количество различных школ по изучению иностранных языков. Каждая радиостанция дважды в день (кроме воскресенья) передает двадцатиминутный урок либо английского, либо французского, либо немецкого языка. Изучаются также китайский, корейский и русский языки. Правда, успехи на этом поприще у молодых японцев невелики. Катюша, свободно владеющая английским, много раз пыталась на улице заговорить со своими сверстниками — тщетно: и они ее, и она их понимали плохо. Позже нам объяснили, что иностранные языки японцам даются трудно.

Но уже само по себе желание изучать языки других стран, путешествовать, познавать жизнь различных народов — весьма похвально. Правда, и здесь японцы несколько переоценивают себя. Они решили, что знают окружающий мир много лучше, чем иностранцы когда-либо узнают Японию.

Слов нет, иностранцам понять японцев сложно. И все же, не пытаясь выйти на глобальные обобщения, можно определить некоторые черты их характера, свойства души, особенности национального менталитета. Рискну сделать это, исходя не только из непосредственных наблюдений и ощущений, но и из многолетнего общения с моим японским другом Нобу-саном.

Хорошо известно, что японцам присуща созерцательность, желание быть наедине с природой. Я был поражен, как Нобу-сан в свой первый приезд на мою дачу, уединившись в садовой беседке, мог часами наблюдать за жизнью семьи аистов, кропотливой работой пчелок, стремительным летом ласточек.

Но это вовсе не значит, что японцы любят одиночество, скорее наоборот. Тот же Нобу-сан через некоторое время приходил к нам и с удовольствием делился своими наблюдениями. Чувствовалось, что у него есть потребность в общении, ему нравится принадлежать к кругу знакомых, близких людей.

Знакомая всем склонность японцев путешествовать группами объясняется многими причинами: и плохим знанием иностранных языков, и опасением попасть в затруднительное положение из-за несовпадения обычаев. Но, побывав в Стране восходящего солнца, убеждаешься, что японцы не только за границей, но и у себя дома любят шествовать единой толпой за флажком экскурсовода.

Тот, кто хоть однажды пел в хоре или шагал в армейском строю, хорошо поймет японца, для которого гораздо важнее самостоятельности чувство сопричастности. Это чувство в корне противоположно индивидуализму, понятию частной жизни, на чем основана вся западная, и в особенности американская, мораль.

В японской же морали главное — узы взаимной зависимости в отношениях между людьми. «Найди группу, к которой бы ты принадлежал, — втолковывается с детства. — Будь верен ей и полагайся на нее. В одиночку ты не найдешь своего

места в жизни, затеряешься в ее хитросплетениях. Без чувства зависимости не может быть чувства уверенности».

Вот почему каждый японец является членом какой-либо социальной группы — то ли семьи, то ли общины, то ли фирмы. Причем сама группа важнее входящих в нее отдельных членов. Внутри группы люди разделяют примерно одни и те же взгляды и одинаковые духовно-нравственные ценности.

Групповое сознание имеет глубокие корни в японской жизни. Оно объясняется как географическими, так и климатическими особенностями страны. Я уже говорил о том, что три четверти ее территории занимают горы. Земля, пригодная для земледелия, тянется узкой полоской вдоль побережий Японского моря и Тихого океана. Аборигенам островов издревле приходилось селиться на этой земле большими колониями, в невероятной тесноте. Но в этом был и большой плюс. Рис, который они возделывали, вырастить в одиночку невозможно. Сложные, дорогостоящие ирригационные системы можно было обустроить только коллективными усилиями. Кроме того, на этой земле ежегодно происходят сотни больших и малых землетрясений, она постоянно подвергается разрушительным действиям других стихийных бедствий — цунами, тайфунов, наводнений. Противостоять им опять-таки можно было только сообща.

Однако наличие группового сознания в японском обществе вовсе не означает, что каждый его член начисто лишен самостоятельности, что разрозненные социальные группы послушно и бездумно следуют за своим вожаком. Отнюдь. Между руководителем и подчиненным ему коллективом существует взаимная зависимость. Руководитель, конечно же, ведет группу в определенном направлении, к определенной цели, но при этом не диктует ей свою волю, а непременно учитывает общее мнение.

Это хорошо видно на примере принятия деловых решений. Со стороны все выглядит как будто просто, однако в действительности процесс бывает весьма сложным и трудоемким. По существу — это целое искусство, которое здесь называют нэмаваси («нэ» в переводе означает корень, а «маваси» — связывать, укреплять, обрабатывать).

На практике это выглядит следующим образом. До начала любого совещания, на котором будет принято окончательное решение, все участники получают соответствующую информацию. Более того, с каждым из них будет проведена необходимая разъяснительная и агитационная работа. С кем нужно проконсультируются, кого нужно убедят. И только после этого вопрос выносится на общее совещание, на котором положительное решение практически гарантировано.

Как видим, подобное решение представляет собой не результат чьей-то личной инициативы, а итог согласованных мнений всех заинтересованных лиц, причем итог этот достигается на основе взаимных уступок. По нормам японской деловой этики, разумно поступает не тот, кто упрямо стоит на своем, а тот, кто проявляет готовность к компромиссу ради общего согласия.

Японцы и сегодня, в эпоху мирового глобализма, всеобщего культа индивидуализма, убеждены в том, что общие интересы важнее личной выгоды. И это краеугольное положение морали культивируется в обществе всеми возможными способами и средствами. В частности, средства массовой информации очень умело и эффективно возвеличивают ценности, которые в свое время привели Японию к ее экономическому чуду, — воспевают коллективизм, верность и преданность фирме, целеустремленность, настойчивость, призывают к тому, что способно воодушевлять людей, звать вперед, объединять ради общенациональной идеи.

Этими идеями пропитана вся общественная мораль, литература и искусство, народное творчество. «Что не под силу одной руке, легко сделать двумя», «Из одной шелковинки не сделать нитки» — подобные поговорки весьма популярны в среде японцев.

А еще здесь в большом ходу такие поговорки: «Торчащий гвоздь забивают по самую шляпку», «Мудрый ястреб прячет свои когти», «Рисовые колосья созревают и низко кланяются», «Фазан, который держит клюв на замке, меньше рискует получить пулю». Иными словами, народная мудрость убеждает в том, что лучше быть скромным и вежливым, чем высокомерным и заносчивым.

Принципу «не выделяйся» учат японцев с раннего детства. Мама учит своего малыша ничем не хвастать перед своими сверстниками, находить с ними общий язык и согласие. Стремление избежать соперничества внутри группы и не допустить, чтобы высунулась хотя бы одна шляпка гвоздя, заставляет школьного учителя выводить за контрольную работу хорошую оценку всему классу. Высококвалифицированный, мастеровитый рабочий проявляет естественное желание высказать те или иные предложения по улучшению работы фирмы. Но упаси бог демонстрировать это всему коллективу. Слишком активная «продажа» себя окажется фатальной для его карьеры.

По возвысившейся над группой индивидуальности могут больно ударить. И далеко не у каждого японца хватит желания и мужества сделаться торчащим гвоздем. Если же шляпка гвоздя упрямо лезет наружу, от нее демонстративно отворачиваются, ее просто-напросто отвергают.

Два примера.

Выдающийся японский дирижер Сэйдзи Одзава не смог играть с отечественными симфоническими оркестрами, несмотря на их высокий исполнительский уровень. Причина? Слишком яркая индивидуальность, независимая творческая личность. Одзава вынужден был уехать за границу, где его, конечно же, приняли с распростертыми объятиями.

То же самое произошло с талантливейшим кинорежиссером Акирой Куросава. «Он потворствует вкусам иностранцев», — возмущенно писали о нем японские газеты. Перестроить мировоззрение известного мастера, изменить природу его таланта не удалось, но из японской кинематографической общины он был выдворен. Какое-то время Куросава работал в Советском Союзе, где снял фильм «Дерсу Узала», за который американская киноакадемия присудила «Оскар».

Япония — страна, где люди живут и действуют «как все». Японец счастлив только тогда, когда его поступки согласованы, приспособлены ко взглядам и оценкам окружающих. Не соблюдать общепризнанных обычаев, не считаться с мнением общины — значит подвергнуться осуждению и даже отчуждению.

На бытовом уровне это порой приводит к курьезам. Хозяйка купила в магазине дорогой тунец только потому, что вчера она видела эту рыбу у своей соседки. Молодожены поехали в свадебное путешествие за рубеж, потому что так принято, так модно сейчас.

Вместе с тем японцы очень самолюбивы, они высоко ставят свою честь, проявляют болезненную чуткость к любому унижению их личного достоинства. Поэтому для них немыслимо допустить ситуацию, в которой бы кто-то оказался обиженным или оскорбленным. Долг чести по отношению к самому себе приучает японцев с малолетства проявлять подчеркнутое уважение и к окружающим.

Для этого веками выработана строгая и понятная всем общественная иерархия. Существует несколько уровней такой соподчиненности в зависимости от степени влиятельности человека, а также от близости и характера личностных отношений. Например, среди служащих, занимающих одинаковые должности и обладающих примерно равными способностями, более высокий ранг, а соответственно и более высокая степень уважения будет отдана тому, кто старше по возрасту, имеет больший стаж работы в данной фирме.

Существенное значение представляет также место работы. Одно дело всемирно известная корпорация и совсем другое — небольшая, заштатная фирма. То же самое можно сказать в отношении образования. Человек, окончивший престижный столичный университет, вправе рассчитывать на более высокую степень уважения, нежели выпускник периферийного учебного заведения.



Японские святыни.

Ну, а уж о том, что любой подчиненный должен уважать и почитать своего начальника, и говорить не приходится. Эта неписаная, но незыблемая норма поведения существует фактически во всех японских корпоративах, образовательных и правительственных учреждениях.

А всем тонкостям взаимоотношений учат, говоря словами поэта, с младых ногтей — сначала в семье, затем в детском саду и, наконец, в школе и вузе. Наука эта далеко не простая. Универсальных правил не существует: то, что допустимо в одном случае, может быть категорически неприемлемо в другом. Поведение человека как бы делится на отдельные, изолированные области, в каждой из которых существуют свои законы, свой собственный моральный кодекс.

Вертикальная субординация четко прослеживается и неуклонно исполняется даже в повседневной жизни японцев. Например, они никогда не сядут и не начнут разговор до тех пор, пока не выяснят статус и старшинство присутствующих людей. В школах и учебных заведениях старшие принимают как должное знаки уважения к ним со стороны более молодых.

Еще строже эти правила соблюдаются дома, в семье. Хозяину, скажем, нет необходимости ломать голову, как рассадить гостей: самое почетное место — у ниши со свитком и далее — справа налево, по степени влиятельности человека. И никакой самодеятельности здесь быть не может, иначе это вызовет всеобщее смятение.

То же самое внутри семьи. В домашней иерархии каждый имеет определенное место. Главные почести воздаются, конечно, главе семьи. Его привилегии подчеркиваются ежедневно и при любых обстоятельствах. Все домашние, когда он уходит на работу, провожают его до порога, а по возвращении — тепло и радостно встречают. Ему же предоставлено право первым окунуться в нагретую для всей семьи фуро — бочку, заменяющую японцам баню. Ну и, само собой, за обеденным столом он занимает самое почетное место и первым принимает угощение.

Почести воздаются не только главе семьи. Сестры должны обращаться к братьям более учтиво, нежели между собой. В свою очередь, среди братьев младшие обязаны проявлять уважение к старшим. Особенно это касается самого старшего, который рассматривается как законный наследник родительского дома.

Без четкой субординации японец не мыслит себе гармонии общественных отношений. Однако с детских лет он усваивает и другую непреложную истину: что определенные привилегии влекут за собой и определенные обязанности.

Еще более сложная наука, а я бы даже сказал — искусство японской вежливости. Ибо она, вежливость, проявляется здесь весьма многообразно: в словах, в жестах, в поклонах, в действиях. И даже в молчании, о чем я скажу чуть позже.

С проявлением учтивости встречаешься буквально с первых шагов на японской земле. В аэропорту чиновники таможенной и пограничной служб встречают тебя радушной улыбкой и, быстро совершив все необходимые формальности,

возвращают документы с пожеланием счастливого пребывания в Стране восходящего солнца.

На стоянке такси, стоит подойти к машине, как задняя дверца автоматически открывается и тебя любезно приветствует человек за рулем — с ослепительной улыбкой, в белоснежной рубашке с галстуком и белых перчатках. Можете не сомневаться, японский таксист никогда нее скажет вам, что у него кончается смена или что ему ваш адрес не по пути. Довезет с полным комфортом и быстро, кратчайшим путем.

В гостинице, едва вы переступите порог, обслуживающий персонал (а это бывает сразу несколько человек) кинется вам навстречу с радостным восклицанием: «Ирассяй масэ!» — «Добро пожаловать!» Специальный человек поможет вам занести чемодан в номер, пожелает приятного отдыха.

Радушное «Ирассяй масэ!» вы непременно услышите и в любом ресторане, в любом кафе. А в небольших чайных домиках официантка подаст вам свежеприготовленный напиток, продвигаясь к вашему столику в буквальном смысле на коленях и с обязательным поклоном.

Сплошное удовольствие заходить в японский магазин — любой, маленький или большой, суперпрестижный или рядовой, провинциальный. Везде тебя встретят как самого дорогого гостя — с обворожительной улыбкой, с низким поклоном. Посетителя никогда не станут подгонять, торопить. Даже если вы зашли перед самым закрытием торгового заведения. Продавщица или продавец любезно предложат вам выбирать покупку столько времени, сколько потребуется, и на все ваши вопросы будут терпеливо отвечать и кланяться с бесконечной учтивостью. А провожая вас, даже если вы ничего не купили, благодарить и приглашать оказать честь, посетив магазин в следующий раз.

Здесь мне хотелось бы сделать небольшое отступление. В японских средствах массовой информации время от времени вспыхивают дискуссии по поводу обслуживающего персонала. Некоторым покупателям весь этот приторный, с их точки зрения, церемониал не очень нравится. Они утверждают, что работники магазинов своим поведением напоминают роботов, в точности повторяющих одни и те же фразы с деревянным выражением лица и неискренними, застывшими улыбками.

Мне так не показалось. Напротив, было приятно и очень комфортно в этой атмосфере подчеркнутого, пусть себе и несколько преувеличенного внимания и уважения. Свои ощущения я сверил с Катюшиными. Вот что записала она: «Наверное, самым большим различием в наших культурах является не мода, а отношение к людям. Это можно рассмотреть на простом примере. Стоит у нас зайти в бутик и выглядеть недостаточно дорого (в простой повседневной одежде), и девушки-консультанты начинают перешептываться, потом с плохо скрываемой иронией спрашивать, чем они могут вам помочь. И в конечном итоге все заканчивается тем, что они сообщают: «Извините, но мы вам ничего подобрать не сможем». И те же самые девушки мгновенно преображаются, излучая подобострастные улыбки, как только завидят состоятельного клиента или прилично одетую клиентку. Так вот, в Токио такое в принципе невозможно. Зайдя однажды в магазин дорогих ювелирных изделий, я даже несколько растерялась: ко мне сразу кинулось несколько консультантов с сердечным приветствием и предложением своих услуг. Я прекрасно понимала, что сегодня там купить ничего не смогу, да и одета я была очень простенько — кроссовочки, шортики, маечка, но продавцы тем не менее выражали ко мне искренний интерес и почтение».

О японских поклонах, пожалуй, стоит сказать отдельно. В одном из путеводителей я прочитал, что умение правильно кланяться — свидетельство хорошего тона и воспитания. Иностранцы, будучи чужаками, не обязаны кланяться и даже не обязаны знать, как это делается, но для японцев поклон является показателем соотношения статусов двух лиц, кланяющихся друг другу.

Постичь сложную науку японской вежливости — дело непростое. В японском языке есть несколько уровней вежливости. Например, приятеля можно

поприветствовать кратким «привет», а вот сказать подобное начальнику (вместо уважительного «здравствуйте») абсолютно недопустимо — этим вы оскорбите его до глубины души. И напротив, на ваше «здравствуй» обидится друг, расценив эту сдержанную тональность речи как нежелание больше с ним дружить.

Для того, чтобы понять, как японцы узнают, в какой ситуации какую речь использовать, нужно вникнуть в японскую групповую систему мышления. В любом диалоге каждый японец ассоциирует себя с какой-то группой, которую он представляет. Скажем, если рабочий приходит к начальнику цеха на переговоры, то он уже думает не только за себя, но и за членов своей бригады. А если тот же рабочий приехал для переговоров на другую фирму, он уже ощущает себя представителем всей компании, посторонняя же фирма для него — чужая группа. Точно так же поведет себя японец и в быту. Его группа — это его семья, а чужая — семья соседа.

Но вот что любопытно: вежливость в системе таких групп обозначает для японца, что свою группу надо принижать, всячески критиковать, а чужую — возвышать и говорить про нее сверхвежливо. Например, на переговорах с другой фирмой, вместо того чтобы хвалить свой коллектив, как это сделал бы любой западный человек, японец будет отзываться о родной фирме весьма нелестно и всячески нахваливать чужую.

Придя в гости к соседу или к своим знакомым, японец прежде всего начнет расхваливать его детей: какие они красивые, умные, замечательные. А вот его сын, дескать, никакими талантами, к сожалению, не отличается, да и дочь учится в школе не ахти как.

Парадоксально, но все это мне очень близко и знакомо с детства. В моей родной полесской деревне существовали точно такие же традиции: в разговоре с другим человеком никогда не хвалить своих детей, не выставлять напоказ свои успехи. Это считалось невежливым и даже неприличным. Но это не значило, что мой односельчанин, принижая достоинства своих детей, и вправду так о них думал. Просто он хотел таким образом возвысить своего собеседника.

Полагаю, что подобными соображениями руководствуются и японцы. Для них очень важно не поставить человека в неловкое положение, дать ему возможность сохранить лицо. О вещах, которые могут оскорбить чувства собеседника или привести к спору, лучше промолчать, особенно когда они касаются промашек людей из близкого круга.

А еще японцы не любят выражаться прямолинейно, однозначно. Смысл фраз преднамеренно затуманивается оговорками, намеками, в которых содержатся неопределенность, сомнение в правоте сказанного, готовность согласиться с возражениями. Горячо спорить считается у японцев самой настоящей неблагопристойностью и грубостью. В связи с этим они всячески избегают говорить собеседнику «нет». Равно как и слово «да». В их устах «хай» (по-японски «да») — далеко не всегда означает утверждение. Это может звучать как «я слышу тебя», «я тебя понимаю» и даже как «ладно, посмотрим...».

Все это делается не потому, что японцы не умеют четко и ясно излагать свои мысли, не имеют твердых принципиальных позиций. Нет. Уклоняясь от открытого столкновения мнений, избегая прямых утверждений, они заботятся о том, чтобы не задеть ненароком чье-либо самолюбие. «Японская вежливость, — как справедливо утверждает Всеволод Овчинников, — это не низкие поклоны, которые выглядят весьма нелепо в современной уличной толпе или на перроне метро, и не обычай начинать разговор с множества ничего не значащих фраз. Японская вежливость — это прежде всего стремление людей при любых контактах блюсти достоинство друг друга; это искусство избегать ситуаций, способных кого-либо унизить».

Правда, говорят, и это говорят сами японцы, что в последнее время молодое поколение все реже пользуется вежливой, скромно-почитательной речью. Особенно это заметно в домашней обстановке, при обращении к родителям. Не утруждают себя формами вежливой речи и студенты, общаясь с преподавателя-

ми. Более того, формы скромной речи, похоже, исчезают из разговорного языка, сегодня их можно встретить лишь в официальных выступлениях, поздравлениях и письмах.

Хорошо это или плохо? С одной стороны, вроде бы хорошо: тем самым японское общество постепенно уходит от архаики, от того, что сегодня кажется нелепым, несовременным, далеким от цивилизации. А с другой — будет очень жаль, если неумолимый и разрушительный процесс глобализации и в этой стране приведет к некоей усредненности, если с утерей вековых обычаев и традиций исчезнет целый пласт самобытной народной культуры. Слава Богу, что мы об этом говорим пока гипотетически.

Вежливость — не единственная добродетель японского народа. Ходят целые легенды о чистоплотности и аккуратности жителей Страны восходящего солнца. Они невероятные чистюли. Умудряются в любой обстановке, при любых обстоятельствах ежедневно принимать если не ванну, то хотя бы душ. Причем принимают их по-своему, по-японски: вначале тщательно с шампунем или мылом моются под душем, а затем уже заходят в ванну.

Один раз в неделю устраивают себе баню. Владельцы частных домов используют для этого большую бочку с горячей водой — фуро, куда любители экстрима залезают по самое горло и прогревают себя до красноты. Те, кто лишен возможности получать удовольствие в фуро, ходят в общественные бани.

Уличную обувь японцы оставляют у входа в жилище либо в небольшой прихожей, надевая домашние тапочки. Это общеизвестно. Но мы были немало удивлены, когда в гостинице увидели специальные тапочки и у входа в туалет. Причем такие тапочки есть не только в гостиницах, но и в каждом доме, в каждой квартире.

Порядок и чистота соблюдаются и на городских улицах. В некоторых книгах о Японии приходилось читать, что, мол, японцы такие чистюли только дома, а вот за пределами жилища могут допускать любые вольности — бросать окурки, обертки и прочий мусор. Ей-богу, за две недели нам ни разу, нигде не пришлось с этим столкнуться. А вот то, как моют тротуары с шампунем, видели. И как аккуратно постригают безупречно зеленые и ровные газоны, как любовно ухаживают за цветами и деревьями на улицах, тоже видели.

В последнее время одержимость гигиеной превратилась у японцев уже в некую манию. Невероятным спросом пользуются различные антибактериальные товары: кухонные принадлежности, полотенца, простыни, носки, шариковые ручки, игрушки... Даже для компьютерных мышек продаются гигиенические салфетки. Офисные телефоны регулярно опрыскивают специальным спреем. С помощью антибактериальной карточки можно получить в банкомате стерилизованную пачку банкнот.

Японцы отличаются также своим трудолюбием. Их иногда еще называют трудоголиками. Для японцев делать все от них зависящее и быть стойкими в трудных ситуациях, упорными в достижении цели считается одним из высших достоинств. Люди, как правило, работают допоздна, без перерывов и выходных, и в итоге от переутомления нередко получают сердечные приступы и инсульты.

Из страха показаться бездельниками многие японцы отказываются брать отпуск или используют его частично. Отпуск в Японии в среднем составляет 15—18 дней, на практике его используют в лучшем случае наполовину. Между прочим, этим обеспокоены даже сами работодатели, и чтобы вынудить своих работников воспользоваться положенным отпуском, они вообще закрывают фирму на какое-то время.

Но что интересно: при всем своем огромнейшем трудовом усердии японцы весьма сдержанны как потребители. Культ умеренности касается практически всех сторон жизни японцев. Скромные, можно даже сказать, спартанские условия проживания, невзыскательность в одежде и воздержанность в еде рассматриваются ими не как недостаток, а как добродетель.

С фактами потрясающего рационализма и практицизма в Японии встречаешься буквально на каждом шагу. Это и горизонтальные эскалаторы в аэропорту Нарита для пассажиров с тяжелыми чемоданами, и переходные мостики через улицы с оживленным автомобильным движением, и комнаты отдыха в магазинах, и кабинеты массажа в метро, чтобы человек по пути домой мог расслабиться после напряженного рабочего дня, и многое другое.

Примеры можно продолжать и продолжать. Конечно, каждая такая придумка в первую очередь рассчитана на то, чтобы извлечь прибыль — без этого нет бизнеса. Но в итоге-то все оборачивается несомненной выгодой для рядовых граждан, ибо таким образом удовлетворяются их самые взыскательные вкусы и желания.

Практицизм, однако, не мешает японцам быть очень непосредственными, а порой даже наивными. Они, как и мы, в большинстве случаев живут не умом, а сердцем. У них, как это ни парадоксально прозвучит, превалируют эмоции.

Японцев очень трогает хрупкость, слабость. Нобу-сан, когда увидел в нашей клинике больных чернобыльских детей, был взволнован до слез. И чтобы хоть в какой-то мере облегчить их участь, пошел на немалые материальные затраты. И это не единичный случай. Умение быть нежным, мягким, внимательным, заботливым венчает список всех возможных японских добродетелей.

Жители самой практичной в мире страны, оказывается, ужасно сентиментальны. Они безумно любят песни, романы, фильмы, повествующие об утраченной любви, разбитых сердцах, душевных муках и терзаниях.

Может, именно этим объясняется их одержимая любовь к природе. Даже в условиях модернизации и глобализации японцам удается жить в гармонии с окружающей средой, сохранять национальную самобытность. Самым ярким и показательным примером этого является, пожалуй, коллективное любование непередаваемой красотой цветущей сакуры, фантастическими красками осеннего клена, волшебным шествием по таинственному небосводу полной луны, устраивание всенародных цветочных фестивалей.

В природе их привлекает неуловимость, изменчивость вещей. Ускользающее, говорят они, прекрасно, постоянное и неизменное — нет. Вкусы и мода сменяют друг друга, как времена года. А красота, хотя и постоянно изменчива, непреходяща.

Японцы — может быть, единственный народ на земле, который до глубокой старости сохраняет чистую детскую душу. Окружающий мир они воспринимают удивленными и восторженными глазами ребенка. Их сердца отзывчивы на магию поэзии, волшебство театра, таинственность музыки.

Они искренне верят в различные суеверия: не любят фотографироваться втроем, ибо тот, кто окажется посредине, навлечет на себя несчастья; нельзя ложиться головой на север, потому что так кладут покойников; избегают цифры «4», ее нет даже в мобильных телефонах. Зато с благоговением почитают омамори — небольшой тканевый талисман с бумажной или деревянной вставкой, на которой начертаны молитвы, обращенные к синтоистским или буддийским божествам.

С детьми японцев роднит и то, с какой страстью они отдаются азартным играм. Одна из таких игр — патинко, которая буквально захлестнула всю Японию. В какой бы город мы ни приезжали, на нашем пути непременно попадались переполненные залы с игровыми автоматами. Однажды я не выдержал, зашел посмотреть, что же там происходит. С полсотни человек различных возрастов, причем как японцев, так и японок, молча, не отрывая напряженных, горящих глаз от мерцающих каким-то потусторонним светом мониторов, нервно лупили пальцами по клавишам, судорожно дергали какие-то рычаги, и лишь время от времени издавали то глубокий стон отчаяния, то дикий вопль радости.

Говорят, это сегодня настоящее бедствие, свалившееся на Японию. За безобидным на первый взгляд автоматом можно проиграть целое состояние. А выиграть сущую мелочь — пакетик моющего средства или кассету с песнями Фрэнка Синатры.

Коль речь зашла о слабостях японцев, естественно, возникает вопрос о главном грехе — пьянстве. Пьют ли в Японии? Японцы пьют, но умеренно, и главным образом после работы. За все время мы были свидетелями единственного случая, когда мужчина, заметно навеселе, неуверенной походкой направлялся к станции метро, а его заботливо сопровождал более трезвый приятель, рассыпая налево и направо невнятные извинения.

На этом я свой рассказ о жителях Страны восходящего солнца, пожалуй, и завершу. Сделаю лишь одну оговорку: сии беглые, несовершенные штрихи ни в коей мере не претендуют на некий целостный портрет японской нации. Да такой портрет, как мне кажется, и невозможно создать в силу текучести, изменчивости и обманчивости впечатлений от этого народа. Японцы — как те мудрые фазаны: умеют держать клюв на замке.

Сто лиц Ямато

В Японии множество интереснейших достопримечательностей, имеющих мировую известность.

Гора Фудзи — один из символов Японии. Ее изображение повсюду, куда ни кинешь взгляд: на кофейных чашках, на лакированных шкатулках, на кимоно, ширмах, веерах... Во все времена великие поэты посвящали ей свои самые проникновенные строки. А сколько талантливых художников изобразили священную гору на своих замечательных картинах.

Популярность горы в народе столь велика, что ее божественное имя беспощадно эксплуатируется в коммерческих целях. Не меньше десяти страниц токийского телефонного справочника занимают фирмы с названием «Фудзи». Под этой маркой процветает один из крупнейших банков страны. Ее именем названы лучшие гостиницы, рестораны, магазины...

Фудзи — крупнейшая гора Японии. Ее высота составляет 3 776 метров. Собственно, это даже не гора, а действующий вулкан. Вулкан-гора волнует своей красотой и необыкновенным благородством. Она стоит в гордом одиночестве и на фоне серого осеннего неба резко выделяется белоснежной шапкой, поражает безупречностью своих очертаний. Кажется, что перед тобой не явление природы, а произведение искусства.

Не удивительно, что у японцев с их неотъемлемым культом природы самая красивая гора почитается как божество. Да и не только у японцев. Пять миллионов человек из различных уголков земного шара совершают ежегодно паломничество к подножию Фудзи.

А вот побывать на вершине самой высокой японской горы удается не каждому. Несмотря на то, что из десяти станций восхождения половину можно проехать на автобусе, остальные пять даются с немалым трудом, и далеко не все на это решаются. Кроме того, сезон восхождения ограничен всего лишь двумя месяцами — июлем и августом. Нам не повезло: мы приехали в октябре и испытать свои силы на склонах знаменитой горы не смогли.

Примечательная деталь. В середине 60-х прошлого столетия на выборах губернатора японской столицы победил представитель левой оппозиции, который шел на выборы под лозунгом «За чистое небо над Токио, чтобы видеть сто лиц Фудзи не менее сто раз в году». Дело в то, что именно в те годы дым заводских труб и автомобильный чад настолько загрязняли атмосферу столицы, что силуэт священной горы можно было видеть очень редко.

Победивший мэр свое слово сдержал. Предпринятые им и, естественно, правительством, энергичные меры по очищению воздушного бассейна дали положительные результаты. Сегодня жители Токио, как и прежде, могут любоваться красотой горы Фудзи сто раз в году.

Вторым излюбленным туристическим объектом является национальный парк Никко.

Известный русский художник Василий Верещагин, побывавший в Японии в 1903 году, отмечал: «...весь Никко прекрасен, но его прекрасное трудно передать словами, так как он состоит не только из красоты линий и гармонии красок храмов, но и возвышающей эти прелести обстановки, из громадных криптомерий, гор, шумных потоков, громадных, крытых зеленым мохом камней и т. п., нужно видеть все это вместе, т. е. не только любоваться филигранной отделкой зданий, но и прислушиваться к шуму деревьев, грохоту водопадов; нужно видеть массы нарядного, любознательного народа, с религиозным благоговением толпящихся до ночи в самих храмах и во всех аллеях и подходах к ним, чтобы понять впечатление, производимое этим местом».

С тех пор здесь мало что изменилось. Разве что повзрослели деревья да прибавилось народу. Парк сохранил свое особое очарование с его густыми лесами, оврагами, водопадами и озерами, храмами и часовнями. Он и сегодня, как и сто лет назад, завораживает великолепием красок осеннего леса и звучащей, как музыка, гармонией храмовых построек.

Многочисленных туристов Япония привлекает еще и тем, что это, пожалуй, самая безопасная страна в мире. Здесь можно спокойно гулять по улицам не только днем, но и с наступлением темноты, не боясь быть ограбленным. Дорогие автомашины вместе со звуковой стереоустановкой, навигационной системой и даже компьютером спокойно паркуются на ночь у тротуара (днем это делать запрещено, по крайне мере в Токио, чтобы не мешать уличному движению).

Совершенно не обязательно ставить на входную дверь в свое жилище дюжину замков, поскольку случаи грабежей чрезвычайно редки. Люди здесь на глазах у всех могут достать пачку денег и пересчитать их или беззаботно оставить чемодан, портфель, ноутбук, когда выбегают из вагона посмотреть, что продают в сувенирных киосках на перроне.

В первые дни мы никак не могли привыкнуть к тому, чтобы в дождливую погоду зонтик оставлять у входа в магазин. Для этого там предусмотрены специальные стойки (японцы пользуются в основном зонтиком-тростью). Мы же свои складные (дорогие, японские!) не рискнули оставлять прямо на улице (стибрят же!) и решили взять с собой. У входа очаровательная девушка с не менее очаровательной улыбкой вежливо остановила нас и предложила воспользоваться (чтобы не капало на пол) целлофановым чехлом.

Понадобилось еще несколько таких случаев, чтобы наступил, наконец, психологический перелом и мы могли доверять свои «драгоценные» зонтики улице. А когда увидели, что подобные стойки есть буквально у каждого магазина, каждого ресторана, каждой гостиницы, успокоились окончательно.

Нет здесь бытового хулиганства, бандитизма, уличных драк, рэкетиров и тому подобного. Нет и не может быть, поскольку главное в культуре японцев — не нанести ущерба другому. Не только каким-либо действием, но и словом. Стыд от того, что ты подвел свою группу и теперь будешь изгоем, гораздо страшнее перспективы попасть в тюрьму.

Не встречали мы на японских улицах и бомжей в нашем понимании. Однажды видели достаточно прилично одетого мужчину неопределенного возраста, который отрешенно, в глубокой задумчивости сидел в своем картонном ящике-домике под тенистым деревом городского парка и предавался каким-то думам и мечтам. Таких «обитателей» здесь иронично-любовно называют уличными философами.

Свои визуальные и достаточно субъективные впечатления я решил проверить бесстрастной, объективной статистикой. Так вот, из трех миллионов ежегодно регистрируемых в стране правонарушений большинство составляют мелкие кражи и дорожно-транспортные происшествия. Тяжких преступлений совершается менее десяти тысяч, в том числе полторы тысячи убийств. Для сравнения: в США убийств регистрируется больше в шесть раз, а грабежей — в восемьдесят раз.

Впечатляет высокая раскрываемость преступлений — до 90 процентов. Этому способствуют, по крайней мере, два обстоятельства: тот самый общинный дух, о котором мы уже говорили, и негласно существующая между соседями круговая порука, которая сохранилась у японцев еще с древних времен, а также их обычай информировать представителей властей обо всем, что случается вокруг.

Полицейских в Японии немного: на 560 жителей — один. Во всех остальных странах мира их значительно больше. В Америке и Англии, например, их больше в полтора раза, а в Германии, Италии и Франции — даже в два раза.

Но и этому весьма скромному количеству полицейских в Японии практически нечего делать. В Токио они сидят в небольших, размером чуть просторнее телефонной будки, домиках и наблюдают за порядком на улицах. Еще они с готовностью объяснят вам, как пройти по нужному адресу — на видном месте здесь висит подробная карта участка. Этой услугой мы пользовались почти ежедневно. Иногда в кобане, как называют здесь полицейские участки, находят временный приют потерявшиеся дети или заблудившиеся старики.

О роли и значении японских участковых говорит такой факт: им даже пистолетов не выдают. И машин тоже. Все вооружение — деревянная палка-меч да велосипед. Автомобиль выделяется один на каждые сто полицейских.

Тем не менее практически все основные организованные преступные группировки здесь на учете и контроле. В 2008 году в Японии действовало около 84 тысяч гангстеров. Об этом сообщило главное полицейское управление страны, которое ведет учет численности японского уголовного мира с 1958 года. По его данным, ядро преступности составляет примерно 41 тысяча профессионалов-якудза, которые считаются «бойцами» мафии. По-японски «якудза» означает комбинацию карт в местной азартной игре, а в переносном смысле это слово можно перевести как «пропащий, никудышный человек».

Однако японцев куда больше, чем организованная преступность, волнует все возрастающее число самоубийств. В последнее время здесь ежегодно кончают с собой свыше 36 тысяч человек — по сотне в день! По этому печальному показателю Япония занимает одно из первых мест среди развитых индустриальных стран мира.

Что же толкает людей на такой страшный поступок? Одной из причин считаются чрезмерные физические и психологические перегрузки, которые испытывают работники как государственных, так и частных компаний. К попыткам суицида приводят также случаи потери работы, невыносимые сердечные страдания. Но чаще всего причиной летальных исходов становятся не сами по себе материальные невзгоды, неизлечимая болезнь или несчастная любовь. Куда страшнее для японца потерять взаимопонимание с коллегами, с родными и близкими, оказаться в полном одиночестве, без всякой психологической поддержки.

Иными словами, лишившись опоры в общине, японец начинает себя чувствовать выброшенным на обочину жизни, никому не нужным. И в такой ситуации ему не остается ничего иного, как следовать древней самурайской заповеди: «Когда для выбора имеются два пути, выбирай тот, который ведет к смерти». Готовность уйти из жизни по этому кодексу считается проявлением силы, а не слабости.

Но не будем о грустном. Тем более что японские власти предпринимают активные попытки бороться с этим опасным явлением. Конкретные меры намечены и в правительственной программе по выходу из финансово-экономического кризиса. Когда диагноз установлен точно, лечить болезнь гораздо легче.

Кстати, Япония по праву считается страной долгожителей. Здесь живет свыше 28 тысяч человек, которым исполнилось сто и более лет. 112-летний японец Томодзи Танабэ признан самым старым мужчиной на земле. Соответствующий сертификат об этом ему выдала знаменитая Книга рекордов Гиннесса. А самым старым человеком в мире является 114-летняя Енэ Минагава, тоже японка.

Долгие годы Япония безраздельно первенствовала в мире по продолжительности жизни. Сегодня по этому показателю ее практически догнали некоторые

европейские страны — Ирландия, Норвегия. Догнали, потому что очень тщательно изучили секреты японского долголетия.

В чем же эти секреты заключаются?

Прежде всего — в здоровом образе жизни, основу которого составляет рациональное, сбалансированное питание. Эта проблема решается на самом высоком уровне, комплексно и целеустремленно. В 2005 году был даже принят специальный закон о продовольственном просвещении. Его цель — изменить подходы к еде и продуктам, развивать привычку к здоровому питанию. Естественно, что основное внимание для достижения этой цели уделяется детям — как в школе, так и дома.

Дело в том, что массовая американизация, глобализация социальной сферы особенно остро затронули общественное питание, породив большое количество фастфудовских предприятий, пришедших в Японию с отработанными в других странах кулинарными рецептами. Подобная практика стала угрожать потерей национальных традиций питания и, возможно, явилась причиной появления ряда болезней у детей.

Принятый закон побудил компании-производители продовольственных товаров существенно перестроить свою работу. «Макдональдс Джапэн», например, открыла в Интернете специальный сайт, в котором в доступной и интересной для детей форме рассказывается об основах диеты, гигиене питания. Компания «Кагомэ» активно использует комиксы. Через них она прививает детям знания о важности сбалансированной диеты, об особенностях тех или иных видов продуктов. При этом главная цель программы — выработка привычки употреблять натуральные продукты и получать от этого удовольствие.

Программу здорового питания осуществляют также большинство японских университетов. Несколько лет назад, в результате проведенных социологических исследований, выяснилось, что 61 процент студентов, живущих в Токио без родителей, не завтракают. Остальные едят утром на ходу, второпях. В результате все, как правило, жаловались на усталость к концу занятий, на плохое усвоение учебного материала.

Руководство университетов стало искать возможность, как лучше решить эту проблему, побудить студентов завтракать. Во многих вузах быстро привилась система очков. По этой программе студенту начисляется одно очко за каждый завтрак в кафетерии университета. За пять набранных очков можно получить какие-то добавки к стандартному завтраку, за десять очков — бесплатный суп мисо и порцию риса. Эксперимент оправдал себя. Число приходящих на завтрак студентов увеличилось в несколько раз.

В последние годы в Японии армия сторонников здорового образа жизни стремительно растет, а вместе с этим растет и количество лиц, тщательно следящих за качеством и безопасностью продуктов. Это приходится учитывать производителям продовольственных товаров и особенно владельцам заведений общественного питания.

Непременным атрибутом меню последних лет стала подробная информация о продуктах, используемых в том или ином блюде. Такая информация включает в себя не только данные о калорийности, свежести и производителе, но и методах производства, например, при выращивании овощей — гидропоника, открытый грунт или биотехнология.

Движение «За здоровое питание» активно поддержала наука. Скажем, с давних времен отмечено, что натто (перебродившая и высушенная масса из соевых бобов) укрепляет здоровье. Однако почему это происходит, никто толком не мог объяснить. И вот недавно группа ученых из кардиологического центра в префектуре Осака выяснила: употребление натто полезно, потому что оно снижает уровень холестерина.

Очень важное изобретение сделали ученые экспериментальной станции рыболовства префектуры Сидзуока. Они на основе новейших технологий раз-

работали портативное устройство, которое позволяет контролировать свежесть и жирность рыбы. Новый метод не только сокращает необходимое для анализа время, но и предоставляет более объективные и точные данные, которые заносятся в сертификаты качества.

Весьма популярна в Японии в качестве продукта питания черника. Как антиоксидант она многими учеными ставится на первое место среди всех остальных ягод, фруктов и овощей. Черника обладает противоотечным, сосудоукрепляющим действием, препятствует образованию тромбов. В ее ягодах содержится много полезных для зрения веществ, которые благотворно влияют на сетчатку глаз при диабете, нарушениях обмена веществ, при куриной слепоте.

На Японских островах сбор дикой черники в больших объемах практически нигде не организуется, слишком это трудоемкий процесс. Поставщики предпочитают полезную и вкусную ягоду импортировать.

Американский экспорт черники в Японию за десять последних лет увеличился почти в десять раз. Она широко используется здесь как десерт, в сыром виде. Черничные варенья, джемы, сиропы составной частью входят во многие сладкие блюда. Чернику добавляют в различные продовольственные изделия, а в качестве добавок в кефиры и йогурты она даже потеснила клубнику.

Следуя моде на здоровую пищу, многие японцы перестали завтракать дома. Нет резона возиться с приготовлением завтрака, когда можно без хлопот перекусить в закусочной рядом с местом работы за 15—20 минут до начала рабочего дня. Особой популярностью пользуются кафе, которые специализируются на горячих сдобах с различными видами начинки из черники.

Тенденция к увеличению продолжительности жизни в Японии объясняется также успехами, достигнутыми в стране в лечении рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Надо сказать, что эти недуги долгие годы были неведомы японцам. Они считали: гипертония и ишемия, инфаркты и инсульты — это удел богатых американцев и европейцев. Но вот оказалось, что многочасовые сидения за рулем и компьютером, большие перегрузки и стрессы на работе не прошли бесследно и для японцев.

Министерство здравоохранения Японии, как только выявилась эта негативная тенденция, забило тревогу. Принятыми мерами рост опасных заболеваний был остановлен, а в последние годы наметилось даже их снижение.

Если говорить в целом о системе японского здравоохранения, то она довольно сложна и недешева. До 12 лет пациентов в Японии лечат бесплатно. После этого возраста каждый житель должен иметь медицинскую страховку. Видов этих страховок много. У работающих, например, взнос ежемесячно вычитают из зарплаты: размер зависит от дохода.

Имея на руках медицинскую страховку, человек оплачивает всего 30 процентов от стоимости лечения, престарелые пенсионеры — 10 процентов. Точно по такой же схеме оплачиваются и лекарства в аптеке, правда, только те, на которые врач выписал рецепт.

Домашний доктор — услуга дорогая, и она не каждому по карману. Обычно обращаются в поликлинику, прежде всего к терапевту, а он уже определяет, есть ли необходимость в консультации других специалистов. Пациент, который приходит в поликлинику впервые, сдает необходимые анализы и проходит комплексное обследование. Оплата — те же 30 процентов. Если же кто-то пожелает сделать ту или иную процедуру дополнительно — это будет стоить бешеных денег.

По сравнению с другими развитыми странами — Америкой, Францией, Германией, Англией — Япония тратит на здравоохранение в полтора-два раза меньше средств, а результаты имеет гораздо лучшие. Японцы не только дольше живут, но и болеют меньше всех в мире.

Секрет этого, может быть, не только в здоровом питании, но и в активном образе жизни, который в последние годы становится все более популярным. В школах и на фирмах проводится ежедневная гимнастика. Японцы любят

пешие прогулки, езду на велосипеде, занятия в тренажерных залах. Власти стремятся приобщить к этому как можно больше людей. Нередко у лифта можно увидеть такую надпись-призыв: «Чаще пользуйся лестницей — хотя бы спускаясь вниз. Старайся ежедневно делать не меньше десяти тысяч шагов!»

В Японии огромнейшее количество любителей спорта. Одни увлекаются борьбой — сумо, дзюдо, каратэ. Другие — кэндо (вид фехтования с использованием бамбуковых мечей), кюдо (традиционной стрельбой из лука), айкидо (вид оборонительного восточного единоборства).

Несколько десятилетий назад с Запада в Японию пришел бейсбол и на удивление быстро здесь прижился. Сегодня в стране кроме профессиональных команд бейсболистов великое множество любителей.

Популярнейшим видом спорта стал в Японии американский футбол. Проводятся также ежегодные состязания по хоккею на траве и льду, по волейболу, баскетболу и гандболу. Команды финансируются либо университетами, либо частными фирмами.

Очень престижен в стране гольф. И хотя этот вид спорта не из дешевых, однако, судя по тому, что мы буквально на каждом шагу видели прекрасно оборудованные площадки для игры в гольф, им занимаются многие и многие.

Японцы считают, что в борьбе за здоровье все меры хороши, в том числе и самые необычные. Так, в стране родилось движение под девизом: «Смеяться — по меньшей мере раз в день». Его участники убеждены, что заразительный хохот может быть хорошим союзником врачей в борьбе с опасными болезнями, включая диабет. Поэтому смеховые терапевтические процедуры уже включены в программы ряда медицинских учреждений страны. И реальная практика убедительно свидетельствует, что смех действительно укрепляет иммунитет, помогает преодолевать недуги.

Разумеется, налаженная система медицинского обслуживания и отдыха — не единственное достоинство современной японской действительности. Комфортность жизни здесь обеспечивается и многими другими факторами. Прежде всего — безупречной связью. Всегда чувствуешь надежность любой техники. Удобство в обращении с этой техникой.

Япония — страна высочайшей коммуникации. Еще в конце XX века она вошла в число немногих полностью телефонизированных государств мира. Уже тогда каждая семья имела свой телефон. С появлением мобильной связи предпочтения японцев резко изменились, и сегодня свыше 70 миллионов человек пользуются именно этим удобным и надежным видом связи. Причем половина пользователей имеет сотовые телефоны с прямым выходом в Интернет. По этому показателю Япония опередила даже неизменного лидера в области информационных технологий — Соединенные Штаты.

Опередила не только количественно, но и качественно. Переняв разработанные технологии, японцы значительно их усовершенствовали. Они сделали главный упор не на персональный компьютер, а на сотовый телефон с его безбрежными возможностями. С его помощью они передают и принимают сообщения по электронной почте, активно пользуются Интернетом, делают покупки, оплачивают счета, даже рассчитываются за проезд по платным автострадам, не теряя времени в очередях перед терминалами.

Буквально на каждом шагу здесь встречаются разнообразнейшие автоматы — на улицах и в магазинах, в ресторанах и местах отдыха, на предприятиях и в организациях, в учебных заведениях и объектах культуры. Дотошная статистика подсчитала, что сегодня на каждые десять человек в стране приходится один автомат.

В стране прекрасно налажена система общественного транспорта. В крупных городах, таких, как Токио, Осака, Киото, Саппоро, Фукуоке, Иокогама и других, метро является главным и самым надежным средством передвижения.

Популярны также междугородные рейсовые автобусы. Они незаменимы при переездах в горной местности. Оплата производится следующим образом. При входе специальный автомат каждому пассажиру выдает карточку с определенным номером. На выходе карточка вставляется в автомат и на табло высвечивается стоимость проезда. Пассажиру остается только опустить деньги в маленький ящик рядом с водителем. И никакого другого контроля.

Железнодорожное движение, из-за гористого рельефа местности, менее развито, чем автобусное. Рельсовые пути проложены в основном вдоль побережий, и то на многих направлениях пришлось пробивать множество тоннелей. Некоторые из них достигают длины до пяти километров.

Зато поезда — более скоростной и комфортабельный вид транспорта. Особой популярностью пользуется суперэкспресс «Синкансэн», или, как его здесь называют, «поезд-пуля». На отдельных участках он развивает скорость до 250 километров в час. Более чем 800-километровое расстояние от Токио до Хиросимы на этом экспрессе мы пролетели (именно пролетели, ибо временами было полное ощущение полета, даже уши закладывало) примерно за четыре часа. За вагонным окном мелькали на всем протяжении пути и слева, и справа — красивые современные производственные здания, жилые дома. Изредка — аккуратные квадратики рисовых полей или зеленые взгорки леса.

Даже на простой японской электричке путешествовать одно удовольствие. Легкость езды — необыкновенная. Ни лязга, ни стука вагонных колес. В вагонах мягкие, удобные, обтянутые дорогим бархатом сиденья. Нигде ни малейшего следа вандализма. Стекла целые и чистые. На стенках и дверях никаких производственных надписей.

И два слова о японском такси. Сказать, что они чистые и аккуратные, — значит ничего не сказать. Они безупречно, безукоризненно чисты и стерильны, как операционная палата. Все сиденья забраны в белоснежные, отутюженные чехлы. Плата за проезд умеренная, расчет только по счетчику. И упаси вас бог предложить водителю чаевые — обидите человека до глубины души.

Вечером, после 22 часов, тарифы на такси резко возрастают. За одну только посадку придется выложить до 6 долларов, а дальше, в зависимости от расстояния и сложности маршрута, заплатить двойную или даже тройную цену.

Из традиционных средств передвижения остались рикши. Не знаю, сколько их сейчас, но в Токио и Киото пару раз их пришлось видеть. Это довольно красивое, изящное сооружение, приводимое в движение бегущим человеком. Нам даже было предложено прокатиться, но мы вежливо отказались. Во-первых, дорого, а во-вторых, по моральным соображениям.

А вот американцы катаются охотно, да еще при этом с удовольствием фотографируются. Их самолюбию, видимо, льстит, что в упряжке вместо лошадки потомок гордого сословия самураев. Задумываются ли над этим сами японцы — трудно сказать. Очевидно одно: рикши сегодня — это не столько средство для зарабатывания денег, сколько атрибут древней экзотики, предмет для развлечения туристов.

...Ямато — так в древности называлась Япония. С тех пор изменилось не только название страны, но и сама страна. Изменилась, преобразилась неузнаваемо. Поистине, она сегодня имеет сто лиц. Прекрасных, удивительных и всегда непостижимо-загадочных.



АНАТОЛИЙ РЕЗАНОВИЧ

И все это — жизнь...

В нашем мире все проходит. Но остается дело, которому человек посвящает годы своей жизни. Это дело разрастается, дает зачастую буйные всходы, рождает начало многих новых дел. И так до бесконечности.

— А есть ли бесконечность? — спрашиваю у генерального директора ЗАО «Гидродинамика» С. П. Субботина.

Он не спешит с ответом. Смотрит на меня и сквозь меня. Наверное, предугадывает мои следующие вопросы: «Если есть бесконечность, то кто мы, люди? Путники в этой бесконечности или просто стоящие на определенном отрезке времени существа?»

И я действительно задаю эти вопросы. Сергей Павлович многозначительно роняет:

— Философские вопросы.

Это ответ ученого. Ведь наука имеет прямое отношение к философии, пытаясь из словесных рассуждений извлечь конкретный результат. А он в науке присутствует всегда.

— Отрицательный результат тоже результат, — замечает в разговоре С. П. Субботин.

Сергей Павлович повторяет истину, выработанную годами его предшественниками. Повторяет, быть может, больше для себя, чем для меня, чтобы еще и еще раз подчеркнуть полезность любых научных исследований, которые проводятся во имя человека, подтвердить их необходимость, коль мы, люди, движемся по данному судьбой пути. Увы, этот путь далеко не всегда прямой.

Так, никто не знает, что было на Земле много-много тысяч лет назад. Существуют лишь теории. Одна из них утверждает, что человечество развивается по спирали. Значит, оно периодически кем-то или чем-то отбрасывалось в своем развитии назад. Возможно, силой своего сверхоружия. Как ни неправдоподобно это звучит, но все может быть. А раз так, то мы должны быть готовы постоять за себя.

В Советском Союзе, где родился, вырос и получил блестящее образование С. П. Субботин, одним из главных приоритетов был мир. Но мир без силы, которая сдерживает агрессию, установить нельзя. Следовательно, требовалось вооружить армию по последнему слову техники, чтобы противостоять военной угрозе.

— В нашей республике создавалась передвижная атомная станция для пуска стратегических ракет, — рассказывает Сергей Павлович. — Я работал над этой темой.

Добавлю: не только работал, но и входил в число руководителей Института ядерной энергетики Академии наук Белоруссии по созданию этой уникальной атомной станции.

Чтобы представить всю важность научной и практической деятельности С. П. Субботина в те годы, достаточно сказать, что его, прежде чем допустить к таким работам, проверяли все силовые структуры СССР. Более того, Сергея Павловича, учитывая полученную им специальность инженера-энергетика, лично

пригласил на работу тогдашний директор Института ядерной энергетики, что говорило о профессиональном уровне С. П. Субботина.

— Для меня это приглашение не было неожиданностью, — говорит Сергей Павлович. — Я стремился к серьезной научной работе, и она появилась.

Вот уж истинно: стучите и вам откроют. С. П. Субботин всю жизнь, образно выражаясь, стучал в закрытые двери. Как, впрочем, и каждый из нас. Потом, когда ему открывали, заходил и смело брался за дело, не считаясь с трудностями и временем.

Откуда такая напористость? Конечно же, из детства, юности, молодости...



Сергей Павлович Субботин.

Родился Сергей Павлович в поселке Старобин Солигорского района. Окончив десять классов, решил поступить на физико-математический факультет Белорусского государственного университета. Экзамены в целом сдал успешно, но не прошел по конкурсу. Чтобы не терять времени, с этими же документами и оценками подался в Озерский техникум механизации сельского хозяйства, что в Калининградской области, — на зимний набор. Закончив, получил специальность техника-механика. Трудился, как говорили, на селе. Сначала в Рязанской области, потом в Калининградской, в совхозе «Ушаковский». За область, кстати сказать, выступал на спортивных соревнованиях по тяжелой атлетике.

— У меня изначально было здоровое желание добиться чего-то значительного, — признается С. П. Субботин. — Оно и вело все эти годы по жизни.

Вскоре Сергей Павлович поступил в Ленинградский политехнический институт имени Калинина на энергомашиностроительный факультет. Закончил специальный курс, на котором готовили специалистов для работы на предприятиях, производящих оборонную продукцию. С. П. Субботина направили на Минский тракторный завод, где создавали специальное производство, ориентированное на военные нужды.

Это были шестидесятые, семидесятые годы — сложное и противоречивое время. Достаточно вспомнить Карибский кризис, войну США во Вьетнаме, вооруженную агрессию Израиля против Объединенной Арабской Республики, Сирии и Иордана, холодные и взрывоопасные отношения СССР с Китаем.

Все эти события подталкивали Советский Союз к наращиванию вооружения как к единственному и наиболее верному способу сохранить страну, покончить с вооруженными конфликтами в мире или хотя бы их притушить.

В июне 1968 года Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила предложенный СССР проект Договора о нераспространении ядерного оружия. Договор запрещал передачу ядерного оружия государствам, не владеющим им, или военным блокам. 1 июля 1968 года Договор был открыт для подписания одновременно в трех странах — Советском Союзе, США и Великобритании. За короткий срок подписи под ним поставили представители почти ста государств. 5 марта 1970 года Договор вступил в силу.

Говорю об этом так подробно, потому что специалисты Института ядерной энергетики Академии наук БССР в те годы находились на передовых позициях советской военной науки. Она во многом предопределила мирные инициативы Советского Союза, которые увенчались успехом. И в этих успехах есть частица труда Сергея Павловича. Это не высокие слова, а констатация факта.

На МТЗ С. П. Субботин производительно работал конструктором третьей категории, потом второй. В Институте ядерной энергетики Сергей Павлович

ответственно и результативно трудился ведущим конструктором, заведующим сектором, начальником отдела. Когда же в стране начались перемены и Институт переименовали в Академический научно-технический комплекс, то С. П. Субботин был назначен заместителем директора.

Понятно, что это были не просто должности, а высокоинтеллектуальная, научно-творческая работа по созданию передовой военной техники, которая потом послужила хорошей базой для начала производства мирной продукции — в ЗАО «Гидродинамика».

— Наверное, это судьба, — размышляет Сергей Павлович.

Переход С. П. Субботина и его товарищей на конструирование и выпуск продукции для сугубо промышленного, а не военного комплекса страны произошел не от хорошей жизни: СССР развалился, многие военные и очень перспективные программы были бездумно свернуты. В том числе и дальнейшая работа над передвижной атомной станцией. Финансирование ее прекратилось.

— Директор Института ядерной энергетики поручил мне, своему заместителю, начать сокращение персонала, — вспоминает Сергей Павлович. — Для меня, проработавшего здесь более двадцати лет, это было неприемлемо. Тем более что необходимо было сокращать людей низшей квалификации, а все доктора, членкоры, академики не могли быть уволены — такое решение мог принять только Президиум Академии наук. На меня начался нажим. А это нервотрепка, бесполезное сжигание внутренних сил. Естественно, встал вопрос; что делать? Подумав, я начал готовить свою собственную организацию.

17 декабря 1992 года на учредительном собрании было принято очень важное решение — создать акционерное общество «Гидродинамика». Его директором был назначен С. П. Субботин.

— С этого дня моя ответственность удвоилась, а то и утроилась, — говорит Сергей Павлович. — Ведь я взял ответственность не только за технику, людей, но и за их заработную плату, а следовательно, за благополучие десятков семей.

Излишне говорить, что все происходило непросто. Это были годы развала и хаоса, когда республики бывшего Советского Союза, обретя самостоятельность, только пытались стать на ноги. Но С. П. Субботин верил в удачу. Ведь он имел богатый опыт, налаженные связи с внешними организациями. В частности, с «Газпромом». Его руководители предложили Сергею Павловичу заняться северной тематикой — Уренгой, Ямал, — а также с отделением, которое находилось в Узбекистане. Это был шанс. Он подкреплялся тем, что Сергей Павлович с 1989-го по 1996 годы вел, к примеру, работу по кооперации с этой азиатской республикой. А так как С. П. Субботин в Институте ядерной энергетики занимался всеми силовыми установками, такими как турбины, насосы, вентиляторы, трансмиссия, то некоторые такие системы необходимо было делать для газового гиганта, которым и является «Газпром».

— Мы создали целый ряд интересных проектов. В частности, для того же Узбекистана, — не без гордости делится профессиональной информацией Сергей Павлович. — Это насосы. А что такое насос? Это главный агрегат, без которого не может обходиться ни одна энергетическая отрасль.

Учитывая научные знания, обязательность выполнения заказов, узбекские товарищи в 1994 году заключили с «Гидродинамикой» большой договор на 8 миллионов долларов США по созданию насосов ППД. Это насосы, которые должны были закачивать воду в подземные хранилища нефти, после чего выдавливать ее наружу. Давление, которое предполагалось развивать такому насосу, должно было доходить до 400 атмосфер. Глубина закачки — около двух километров. Таких насосов тогда на всей территории бывшего СССР не было.

— Мы такие насосы начали создавать, что называется, с чистого листа, — вспоминая, откровенничает Сергей Павлович. — В этом деле были задействованы лучшие специалисты Института ядерной энергетики, которых я забрал с собой в ЗАО «Гидродинамика». Особую помощь мне оказали в те годы заведующий отделом науки и технологий при Совете Министров Республики Бела-

русь Владимир Алексеевич Марченко и его заместитель Анатолий Васильевич Кухарев. Хочу добрые слова сказать в адрес начальника управления «Газпрома» Германа Илларионовича Бочкарева, а также вице-президента концерна «Белнефтепродукт» Александра Михайловича Мазаника за оказание помощи в продвижении продукции ЗАО «Гидродинамика» на внешний рынок.

«Гидродинамика» начала свой самостоятельный путь и сразу же зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Условия работы при этом в созданном закрытом акционерном обществе не отличались удобствами. Причина в том, что организация арендовала производственные площади по улице Ангарской, где до этого находилась тюрьма. Пришлось собственными силами наводить здесь порядок, красить, ставить станки и оборудование. Первый год работали в полухолодных и сырых помещениях. Грели только печки, которые установили силами своих же специалистов. Эти печки отапливались дровами. Потом купили котлы, которые опять же топили дровами, так как газа там не было.

Все трудности помогала коллективу ЗАО «Гидродинамика» преодолевать вера в правильность своего научного и производственного пути. А еще — твердое желание неотступно следовать за своим организатором и руководителем.

Находилась «Гидродинамика» на территории бывшей тюрьмы до 2000 года. К удовольствию С. П. Субботина и его коллектива, это было время не только становления ЗАО «Гидродинамика», но и его активного развития.

Так, были заключены договора с «Газпромом» на разработку и производство целого ряда интересных и дорогих проектов. Соответственно, появились немалые деньги. Как результат, «Гидродинамика» в районе поселка Сосны на промышленной площадке завода «Радиан» купила неосвоенные корпуса, в которых выполнила недоделанные строительные работы собственными силами. Другими словами, коллектив «Гидродинамики» все сделал сам, без посторонней помощи, для своей дальнейшей производственной деятельности.

На заседании общего собрания акционеров ЗАО «Гидродинамика» в том же 2000 году утверждается новая редакция Устава, структура и штатное расписание. На должность генерального директора и главного конструктора избирается Сергей Павлович Субботин. По его инициативе «Гидродинамика» входит в число резидентов свободной экономической зоны «Минск», что дает ощутимые льготы при производстве и продаже своей продукции заказчикам в ближнее и дальнее зарубежье.

— На новые площади мы стали ставить новое оборудование, — ведет свой рассказ Сергей Павлович. — На нем сегодня наши высококвалифицированные специалисты выполняют самые сложные операции и выпускают новейшие изделия, в которых используется, к примеру, титан. Его сварка — это особый разговор и наша гордость. Чтобы поддерживать наше производство, работать на перспективу, нужны колоссальнейшие технические разработки. И нам они под силу.

За механическим цехом в ЗАО «Гидродинамика» появилось сборочное производство, потом термическое отделение, штамповка, плазменная резка металла, сварка. Приобрели свой транспорт. Взялись, казалось бы, за несвойственную работу — производство резинотехнических изделий, деревообработку. Открыли свою столовую, в которой обеды бесплатные.

Этот ряд производственных инициатив и добрых начинаний по созданию в ЗАО «Гидродинамика» современных условий для эффективного труда можно продолжать. Подтверждение тому — постоянное совершенствование насосных агрегатов. Но главное не в этом. Суть в том, что при умении и желании можно добиться поразительных результатов, которые будут востребованы не только в родном Отечестве, но и далеко за его пределами. Что и произошло с продукцией, которую конструируют и изготавливают С. П. Субботин и его коллектив.

Так есть ли бесконечность? А если есть, то как далеко можно зайти нам, людям? — возвращаюсь я к своим вопросам.

— Важно, как и с кем идти, — улыбается Сергей Павлович.

Что можно добавить? Только согласиться.

АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВ

А может быть, я и рифмую зря?

Эссе

Следующую цитату из моей, так нигде до сих пор и не опубликованной, работы 1999 г. **«Парамонов: «КОНЕЦ СТИЛЯ» — конец мышления?»**, посвященной культурологическому анализу нашумевшей книги философа Бориса Парамонова «Конец стиля», можно считать сквозным эпиграфом, данью культурной традиции; можно — приглашением к серьезному разговору; а можно — в самом феномене автоцитат (в широком смысле: цитат не только текстовых, но цитат из умонастроений, мироощущений, мировоззрений) разглядеть печальную траекторию «на круги своя», потому печальную, что культура роковым образом состоит из архетипов-повторений.

«На круги своя» — это и есть очередной шаг вперед?

«Вперед!» — возопил Сизиф и с восторгом покатился вниз?

«Всякий очень культурный человек, а тем более человек, всю жизнь «по призванию» ковырявшийся на ниве культуры, не может не испытывать глубокого разочарования, глядя на выращенные им плоды. Даже у мастеров культуры — жалок результат, что уж говорить о рядовых тружениках, серых рыбах-с. Натурально, хочется плюнуть в морду культуре за профуканную жизнь. Культура — дура, вот и культуротворец чувствует себя в дураках. С кем поведешься... «Что мне «это» дало?» — лежит в подтексте плевка. Чувствуешь — я бы семижды семь раз выделил это слово: не понимаешь, а *чувствуешь* — себя обманутым, словно жизнь, какая-то настоящая, завидно содержательная, прошла стороной, пока ты там ковырялся. «И вдруг мелькает мысль-заря: а может быть, я и рифмую зря?» Это Маяковский. А вот Парамонов: «Вопрос ставится: а зачем романы писать?» («Рэпперы в Дарлингтон-холл»).

Другая жизнь проходит на какой-то другой ниве. Возникает желание свести счеты, разоблачить грандиозную мистификацию («сама культура «карикатурна»», там же, в «Рэпперах»), а на эту благую цель жизни не жалко. Мне отмщение, как бы, и аз воздам. Такова логика чувств.

Понимаешь-то совсем иное (если способен понимать: тут никакой репрессии): что никакого обмана и не было. Просто сама жизнь человека есть жестокая мистификация (по меркам человеческим, разумеется): вся культура есть отрицание белокурой бестии, но живет эта самая культура именно за счет бестиарности. Поняв закон жизни, еще больше уважаешь культуру, ненавидя и любя. Словом, в своем святом гневе супротив культуры бывшие создатели культурных ценностей, культуртрегеры, оказываются в положении этаких шалунов: малыш уж отморозил пальчик (или там что-нибудь еще), ему и больно, и смешно. У него «вавка», рана, нанесенная культурой».

Прошло целых 11 лет, а я с удовольствием подписываюсь под каждым своим словом. Но Сизиф, строго говоря, здесь ни при чем; Сизиф, бледная художественная тень диалектики, — вообще пройденный этап, еще тогда, в Древней Греции,

раз и навсегда пройденный, и жалкая реанимация мифа Сартром стала не триумфом философии, а выражением все того же разочарования в культуре.

Я подписываюсь под каждым своим словом, но вместе с тем под несколько иным содержанием. Что я имею в виду?

Раньше я считал, что разочарование в культуре является чем-то вроде кратковременной «позорной» слабости, вызванной затмением рассудка, которую приличным людям должно скрывать, по крайней мере — уж точно не выносить на публику, не разводить сырость-плесень при всем честном народе. Публичная слабость, кроме всего прочего, — смешна. Что может быть унизительнее и, следовательно, страшнее для человека с чувством собственного достоинства?

Сегодня я считаю, что разочарование в культуре — удел именно преданных культуре людей, и это может быть проявлением силы, а не слабости.

Иными словами, разочарование разочарованию рознь.

Разочарование в культуре мыслящих людей, творцов культуры, по моему глубокому сегодняшнему убеждению, — весьма продуктивный и вовсе не надуманный культурный сюжет.

Для начала: что есть культура?

Это сознательное духовное движение от человека к личности в направлении ценностной триады «Красота — Добро — Истина», движение, которое не блокирует бессознательное в человеке, но перестает считать его непобедимым и фатально определяющим в делах человеческих.

Тот, кто всерьез относится к культуре, не может сегодня не стать пессимистом (в разной, конечно, степени). Когда я сегодня слышу бодрые слова из сакральной обоймы — духовность! истина! совесть! добро! счастье! личность! литература!! писатель!!! — я начинаю нервничать. Дело в том, что я им не верю, этим правильным словам. Я воспринимаю их как циничную спекуляцию на святом. Сами по себе слова стали беспомощными, они утратили свой изначальный смысл, и если они произносятся как пустая мантра «по случаю», то становятся не защитой культуры, а издевательством над ней. Слова звучат не правильно, а прикольно.

Речи дураков от культуры — это провокация. Те, кто верит в содержание слов и, соответственно, пытается жить в культурном пространстве, употребляют слова из культурной парадигмы с иной интонацией, в ином контексте — короче говоря, эти достойные люди говорят с болью и раздражением. Вообще стараются не произносить их всуе, ибо: в доме повешенного не говорят о веревке. Не принято.

Хочется вспомнить известную цитату одного из наиболее одиозных и антикультурных персонажей новейшей эпохи, тотального ефрейтора: когда я слышу слово «культура», рука моя тянется к пистолету. Это были наивные речи демонизированного романтика. Смешно, как рык Карабаса-Барабаса (сегодня, понятно, смешно; тогда было не до смеха). Лучшим пистолетом стала свобода, которая прежде всего оказалась востребована как свобода не быть личностью. Ефрейтор до мозга костей не мог себе даже вообразить подобного: не надо стрелять в культуру, достаточно просто перестать ее защищать — и массы, в интересах которых культура и затеивалась, сами расправятся с нею. *Гибель свою культура приняла* не от рук варваров, не в результате открытой войны против культуры, а *посредством культурного завоевания — свободы* (доставшейся, правда, в руки безмозглых варваров).

Это ли не инфернальный сюжет! Творцы культуры со слезами на глазах отворачиваются от нее, а пустозвоны под барабанный грохот правильных речей просто ее добивают. Как тут не обратиться к *философии зла*, которая сплошь и рядом рядится в философию добра, духовности, счастья...

Думаю, разочарование творцов в результатах собственного подвижничества — это не персональная проблема. Точнее, это персональная проблема, за которой стоит универсальный закон, а именно: *разочарование в культуре становится формой разочарования в человеке.* Личность не верит в то, что у нее есть будущее. Вот почему бодрая барабанная дробь бойких культурдилеров и куль-

туртрегеров — это гнусная смесь провокации, профанации и глупости, которая подается под соусом оптимистического елея. Иуда Искариот — просто Иисус Христос по сравнению с легионом штатных оптимистов.

Чтобы двигаться вперед, чтобы культурный прогресс не останавливался, надо назвать вещи своими именами, а не наводить тень на плетень. Полоумный оптимизмо-пессимизм сегодня — это ментальная реинкарнация Сизифа. Это давно не свежий, то есть попросту протухший, оптимизм религиозного толка. Это не духовный акт личности, а именно бездуховный, бессознательный акт не умеющего думать человека — более того, презирающего сам акт мышления.

Вера в культуру оборачивается неверием в человека: вот вам еще один инфернальный сюжетец.

И об этом не стоит говорить с улыбкой на устах. Как минимум, это подло.

Горькая улыбка — это совсем другое дело.

Можно вспомнить Льва Толстого, автора «Войны и мира» и «Анны Карениной», «отрекшегося» от своих знаковых для культуры творений, от самой культуры и во имя народа опростившегося до азов. Это весьма поучительная история, современная притча, если угодно. Но Толстой временно отрекся именно от культуры в пользу темного, не достаточно просвещенного народа. И пошел его просвещать, чтобы повысить его культурный уровень. Народ достоин того, чтобы читать «Войну и мир», величайший роман всех времен, — вот цель и сверхзадача подобного просвещения. Благородная, конечно, задача, слов нет.

А я настаиваю: вектор «от личности — к народу, к простому человеку» можно и нужно трактовать как закон регресса культуры. Почему?

Да потому что «от человека из народа — к личности» (от натуры — к культуре, от психики — к сознанию) является законом культурного прогресса, законом сохранения информации.

Познавшие культуру вынуждены принять к сведению и сопутствующее открытие: культура недоступна массам. Вырисовывается нехорошая альтернатива: предавать культуру — недопустимо, ибо она есть соль жизни; жить ее миражами — глупо, то есть некультурно. Как быть?

Всякого усомнившегося поджидает роковой соблазн: а нельзя ли как-нибудь, руководствуясь мыслями о сохранении культуры, эту самую культуру опустить, принизить, а духовный уровень народных масс чуточку подтянуть? Наладить этакое встречное движение. К обоюдному удовольствию. Чтобы, как водится, и волки культуры были сыты — и овцы жизни целы (дабы не раздражать массы, формулу можно осовременить, так сказать, бросить массам кость: и волки жизни сыты — и овцы культуры целы). Хотя бы до известной степени сыты и целы. Чем не благое намерение, наиболее эффективный инструмент философии зла?

Именно этот сюжет, как мне кажется, воплотил в своей жизни Л. Толстой, решивший, что приличный человек тот, кто «зависит от народа».

Формула разочарования Толстого приблизительно такова: я верю в народ и верю в культуру — но пока (временно, конечно) не верю, что культура может заинтересовать народ; следовательно, я должен сделать все возможное, чтобы максимально сократить космическую дистанцию между развитием народа и уровнем культуры, который достигнут благодаря личностям, вышедшим из народа, но оторвавшимся от него.

Это романтическое кредо не сработало. Точнее, оно сработало, но вовсе не так, как рассчитывал культурный герой Толстой. Народ так и не читает, и вряд ли когда-нибудь станет читать блистательный и сложнейший шедевр «Война и мир». Почему?

Еще чего. А зачем?

Сегодня на смену мягкому, гуманистическому разочарованию Толстого, который, по сути, *пенял*, дидактическим пальчиком грозил сторонам экзистенциального конфликта, хмурясь в бороду (и всем было не страшно, а *жутко* весело),

пришло разочарование жесткое и, похоже, тотальное. Повторю: *вера в культуру оборачивается неверием в человека, а неверие в человека приводит к разочарованию в культуре; разочарование в культуре становится формой разочарования в человеке.*

Закон разочарования в культуре — это информационный закон, психологический и гносеологический аспекты которого живут своей отдельной жизнью. Психологически закон рядится в элегантные, классического покроя одежды *добра*: мы хотим как лучше, давайте жить дружно, возьмемся за руки, друзья — таковы программные хиты нашей не богатой на духовные искания эпохи. Гносеологически доброхоты пытаются «белой и пушистой» религии придать черты жесткой науки, а в злой науке (в той же философии, например) обнаружить колоссальный религиозный потенциал мягкосердия, радуясь предсказуемому результату: когда никто ничего не понимает, гораздо проще внедрять культуру в массы.

Культура как высокий грандиозный обман: вот культурный и актуальный поворот темы. Говоря современным языком, культура превращается в *проект*. И тут уже все зависит не от личности и не от народа; все зависит от *менеджера*. Плохая, то есть неэффективная культура, — означает всего лишь: вам не повезло, попался плохой менеджер. Раскрутим слоганы, внедрим в массы, заразим их психозом милосердия — и массы помягчают, потеплеют, куда они денутся, родимые.

Именно так: не хотят читать и думать — будем травить их милосердием. Мало не покажется. Пусть кормятся с руки фокусников, обращающих камни в хлеба (то бишь культуру — в миражи и фантомы). Если их не победил Лев Толстой, их никто не победит.

Значит — закормим.

Долой культуру!

Даешь хорошего менеджера, размахивающего хоругвями милосердия!

Милосердие: вот ключевое слово, которое превратилось в беспомощное и лживое кредо приличного человека сегодня.

Почему же беспомощное и лживое?

Да потому что фактическая культурная капитуляция выдается за веру в высокую культуру.

Я изо всех сил верю в то, во что давно уже не верю. Это что?

Это фарс. Культура как проект — это фарс. Узнаете? То, что начинается как величаво-героическое, неизбежно оборачивается фарсом. Закон культуры от менеджера.

В рамках проекта «культура как высокий грандиозный обман» противоречивым, хотя и внятно-враждебным, отношением к культуре помечены два околокультурных движения: во-первых, активная десакрализация культурных символов (отсюда с завидным постоянством нападки на Пушкина, начало которым в нашу эпоху было положено небезызвестными «Прогулками с Пушкиным»); во-вторых, активная сакрализация антикультурных символов (наиболее одиозное, конечно, — признание «Черного квадрата» искусством), демонстративное внимание к писателям второго сорта как к новым культурным героям (Сорокин, Улицкая и иже с ними). Кстати, упомянутая выше книга Б. М. Парамонова целиком и полностью посвящена десакрализации культуры (и одновременно сакрализации натуры, жизни).

Разочарование в культуре становится не только признаком сегодняшнего культурного климата, но и стратегией, которая формирует наше счастливое массовое завтра. Наше счастливое избранное вчера, когда само сомнение в целесообразности культуры было принято выражать в форме аристократического недоумения, одним движением брови («...или для вас Аполлон Бельведерский хуже печного горшка?»), потому и кажется веком золотым, что народ и культура были разведены. Как только народ подпустили к культуре, «Черный квадрат» стал искусством, Аполлон Бельведерский — голым дядькой. Печной горшок отдыхает.

Философией разочарования в культуре, разумеется, становится философия зла. Дьявольсие козни — это козни психики, натуры, которая научилась прикидываться культурой. «Бог» в этом контексте полюсов становится проекцией разума, сознания, культуры, личности.

Чем не концепция новой «Божественной комедии»?

И никакого «сурового Данта» не надо, боже упаси; достаточно одной только неподражаемой госпожи Елинек, Нобелевского лауреата 2006 г. с ее кокетливой мантрой «человек — это звучит подло». Подлость, разумеется, можно компенсировать только бессмысленным милосердием, чем же еще? Подразумеваем подлость — кричим милосердие. Чтобы никто не догадался. Типа «держи вора».

Об этом, о жгучем милосердии, на все лады поет, в частности, современная птица Сирин писательница Улицкая. Народ читает и плачет, утирая сопли квадратиками носовых платков, на которые наколоты профили модного нынче Пушкина с гордо поднятой бровкой: «...зависеть от царя? зависеть от народа?».

Подлость вперемешку с милосердием — вот сермяжный лауреатский рецепт. И все, и уже аплодисменты в теплой зале с хрустальными люстрами, переходящие в овацию. Всем по Нобелю. Немедленно.

Тут самое время перейти на личности — то есть обратиться к себе, любимому.

Хорошо, культура как проект — это плохо. Выходит, приличный человек, по-твоему (то есть, по-моему), должен остаться один на один с разочарованием в человеке? Один на один со своей никому не нужной честностью типа Истина? С Аполлоном? Пусть все провалится в тартарары — а я таки натешусь своей честностью приличного человека? Там, где абсолют, — там торг неуместен? Диктатуру желудка в панаме, набитого милосердием, *диктатуру натуры* сменить на *диктатуру культуры*? Или сгинуть — или пропасть? Или — или?

Где позитив, алло?

Зачем же тогда романы писать (это я о себе: я же романы пишу, не писал — а пишу, пописываю, не отрекаюсь)? Ведь роман — это культурный проект. Не так ли?

А затем, что *разочарование в культуре* пока что является высоким ностальгическим переживанием, культурным по своему генезису, является *категорией культуры*, а не констатацией «медицинского» факта. Если бы я действительно разочаровался в человеке и, соответственно, культуре, то ни романы, ни эссе писать смысла бы не было. Смерть она и есть смерть: молчание. Далее — ничего.

Реальное разочарование в человеке означает разочарование в жизни. Это в принципе невозможно, ибо не философское это дело — следовательно, антикультурное. Вот почему разочаровываться можно в чем угодно — это только на пользу культуре. В конце концов, разочарование в человеке становится мощным культурным импульсом, мощным фактором развития культуры. Сизифу и не снилось.

В культуре, очевидно, важнее не чем ты разочарован, а чем очарован.

Разочарование в человеке как мировоззренческо-психологический феномен, *как клинический диагноз* несовместимо с жизнью, и потому лишает разговор о культуре и человеке содержательности.

Я вовсе не хочу сказать, что *разочарование в человеке* является неким игровым сценарием или продвинутым перформансом кучки интеллектуалов, запущенным в производство с благой целью запугать народонаселение концом не только стиля, но и света. Глядишь, прозреет народ — и читать бросится сломя голову. Нет, *разочарование в человеке* не задумка культуры как проекта. Это реальное переживание, реальное мироощущение, у которого, к счастью, нет философских перспектив. Перспектив нет, а тупичок — есть. Ведь сердцу не прикажешь, верно?

Разочарование в человеке «от души» — часть правды. Разочарование в человеке как мировоззренческий (культурный) акт — другая часть правды. Правда в целом складывается из *понимания* и *ощущения* того, что человек, ради которого хлопочет культура, аполлоническая ли, дионисийская ли, ее недостоин; но перестать хлопотать, опустить руки — уже недостойно культуры.

Вот почему творцы культуры, очарованные или разочарованные, в принципе необходимы ради жизни на земле, нравится это человеку или нет. Если уж дело дошло до постановки таких убийственных вопросов «а зачем нужна литература? культура? личность?», то отвечать на них надо в культурной плоскости. Конец стиля (литературы, культуры) — это проблематика культуры. Дремучих представителей народа просят не беспокоиться. Право, не стоит отвлекаться от горшка.

Из всего сказанного я бы сделал такой вывод: ни в коем случае нельзя понижать культурную планку ради народа, ради не испорченного культурой горшкового сознания. Народ этого понижения просто не заметит. Понижение обернется унижением культуры, только и всего. Напротив, во имя народа планку надо держать на недосягаемом уровне — чтобы не возникал соблазн подменять культуру «народной» культурой (культурой как проектом). Аполлона — горшком.

Дело в том, что человек человеку — даже не волк; человек человеку — никто, он попросту не интересен сам себе, а уж другому подобному себе и подавно. Человек интересен себе только как личность — как культурное существо. Все эти разговоры о «повышении — понижении» являются не чем иным, как выражением комплекса неполноценности личности, еще не достаточно развитого культурного существа. Человек, лукавое существо, *спекулирует* на том, что он не в состоянии стать личностью, что культура для него смерти подобна. Он прикидывается слабым, а личность при этом испытывает комплекс вины. Народ играет в свою любимую игру: битый небитого везет.

Личность относится к человеку как к себе подобному — как к личности: вот где гарантия укорененности культуры в жизнь. Если культуру можно отменить без ущерба для жизни и человека — взять и отменить, схватившись за кобуру, виноват, за горшок, — ее нужно отменить. Если отмена культуры становится угрозой существования человеку, то нет надобности спрашивать согласия последнего. В таком случае культуру остается только развивать, невзирая на страх человека перед культурой.

Можно сколько угодно потешаться над Пушкиным, но культура действительно не может «зависеть от царя» или «зависеть от народа». Культура — это и есть подлинная свобода, ибо культура сегодня в меньшей степени зависит от натуры, нежели натура от культуры. Свободу обретешь в культуре, все остальные «проекты» — суррогат свободы.

Компромисс между натурой (человеком) и культурой (личностью) надо выстраивать не за счет «опрощения» культуры, превращения ее в проект — то есть, прямо говоря, за счет ее уничтожения под видом «эволюции», а посредством совмещения сущностей. Чтобы и волки жизни сыты — и волки культуры целы, если так понятнее. Кто сказал, что высшие достижения в спорте, науке, культуре мешают жизни? Высшие достижения — это ориентир, идеал, а не руководство к действию. И в таком своем качестве они помогают жизни, точнее, они с жизнью заодно. Они и есть высшие проявления жизни. Бросишь камень в культуру — попадешь в жизнь. Больно будет. «Мы чемпионы» — это, прежде всего, гимн аутсайдеров. Им нужен такой гимн. Почему само появление личности и *прав личности* надо непременно воспринимать и рассматривать как угрозу человеку и его правам?

Такое поведение человека подозрительно напоминает логику того, кто «рассуждает»: я прав уж тем, что не желаю становиться личностью. Это хуже, чем каприз; это агрессия.

Петитом отмечу скверный нюанс: личность обожает мыслить, анализировать и объяснять, а человек все понимает по-своему: объясняет — значит,

оправдывается. Любой диалог натура воспринимает как диалог правого и виноватого. Вопрос «кто виноват», понятное дело, давно решен: культура виновата, кто ж еще.

Вот почему антикультурную постановку вопроса «как утилизовать культуру в интересах натуры» невозможно считать попыткой решить проблемы культуры.

Вернемся к затерявшемуся в потоке рефлексии серьезному тезису: в культуре, очевидно, важнее *не чем разочарован творец, а чем он очарован*. Так вот разочарование в человеке — это модус сегодняшнего очарования культурой. Неприятно, конечно, через ненависть признаваться в любви — но что поделаешь! На зеркало неча пенять. Придется пока потерпеть культуру.

Таким образом, разочарование в человеке — это, по идее, инструмент воздействия на человека с целью усовершенствовать несчастного хомо сапиенса как существо не только биосоциальное, но и отчасти духовное.

Чем, опять же, не благое намерение?

Вполне.

«На круги своя» — это и есть очередной шаг вперед?

Зачем же так по-сизифовски обреченно? Теоретически все не так безнадежно. Проклятие Сизифа снимается достаточно просто: другим качеством мышления. Умный в гору не пойдет, сколько ж можно...

Данные заметки имеют отчетливую культуроцентрическую (персоноцентрическую) направленность, которую автор разумеет как последовательный европоцентризм. Сегодня заметным культурным достижением является уже постановка проблем (тот печальный факт, что все проблемы такого рода априори получают статус нерешаемых, уже не вызывает удивления; да что там — попросту не принимается в расчет).

К постановке *проблем культуры как проблем выживания человека, чуждого культуре*, в меру сил и стремился автор эссе.

Собственно, для себя я нашел путь к решению этих проблем. Если комунибудь интересно, мой ответ таков: не зря.

Возможно, это вызов.

Не зря.



Сухим языком документов...

Научно-популярная литература, а тем более такой «сухой» ее жанр, как сборники документов и материалов, редко удостаиваются рецензий в литературных журналах. Тем не менее история, даже изложенная «суконным» языком протоколов и постановлений, — наука крайне интересная, а закрученности ее сюжетов (реальных, а не «отлакированных» для школьных учебников) позавидует любой романист. В полной мере это относится и к истории литературы, даже в таких, казалось бы, вдоль и поперек изученных вопросах, как биографии наших классиков Янки Купалы и Якуба Коласа.

Книга «Купала і Колас, вы нас гадавалі» (Купала і Колас, вы нас гадавалі: дакументы і матэрыялы. У 2 кн. Кн. 1. 1909—1939 / уклад. : В. Дз. Селяменеў, В. У. Скалабан ; рэд. калегія : М. І. Мушынскі (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 320 с.) как раз и представляет собой такой сборник документов. Во вступительном слове от составителей прямо указывается, что данную книгу следует рассматривать как продолжение работ Геннадия Киселева «Пуцявінамі Янкі Купалы» (1981) и «З жыццяпісу Якуба Коласа» (1982), а также дополнением к собраниям сочинений Янки Купалы и Якуба Коласа и созданной Михасем Мушинским летописи жизни и творчества Якуба Коласа (1982). Таким образом, книга не претендует на всеохватность, а в большей степени посвящена предоставлению дополнительных (к уже известным) материалов для исследователей жизни и творчества поэтов. Соответственно, читатель должен быть «подготовленным», хорошо знакомым с биографиями Купалы и Коласа. Тем не менее нельзя сказать, что сборник не имеет самостоятельной ценности. Напротив, он представляет собой вполне законченное исследование (насколько это слово применимо в данном случае) и интересен в том числе и сам по себе.

В отличие от большинства опубликованных ранее работ, в данной книге документы, посвященные деятельности двух классиков, не разнесены по отдельным ее частям, а даются «вперемежку» в соответствии с их хронологией. Такой «параллельный» подход может создать определенные сложности для неподготовленного читателя, но сборник и не адресован дилетантам. Для специалистов же такая подача материалов, напротив, весьма удобна, поскольку облегчает их синхронистический анализ. При этом составители не возводят принцип синхронистичности в абсолют, ранжируя документы не только по времени, но и по тематике. Фактически содержание сборника выстроено по хронологии событий, к которым относятся публикуемые материалы. При этом наиболее оптимальным образом сочетаются преимущества событийного и хронологического подходов, так что здесь составители оказались на высоте.

Основными источниками материалов для сборника послужили Национальный архив Республики Беларусь и Российский государственный архив литературы и искусства, а также хранилища ряда литературных музеев и ведомственные архивы, в том числе

архив Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Большинство представленных документов ранее не публиковалось либо же публиковалось в отдельных периодических изданиях, но не было представлено в книжном формате. Материалы подаются без какой-либо правки, в том числе литературной, поэтому в ряде мест (очевидные опечатки, зачеркивания, дописки в исходном тексте) они снабжены комментариями составителей.

Сборник не претендует на сенсационность, так что не стоит рекомендовать его любителям «жареных» фактов. В то же время серьезный ученый-исследователь найдет в нем достаточно новых и неизвестных (хотя и не являющихся неожиданными) фактов. Несмотря на такую откровенно «научную» направленность, немало интересного смогут обнаружить в нем и «просто» любители белорусской литературы. Наиболее, пожалуй, будут интересны для них протоколы допросов Якуба Коласа в ОГПУ по делу листопадовщины (с. 73—78) и связанные с этим делом документы, показания Якуба Коласа в ГПУ БССР по делу «Саюза вызвалення Беларусі» (с. 121—122 и заявление Я. Коласа на с. 122—126), информационная записка Я. Бенде о Я. Купале и Я. Коласе (с. 159—163), письмо М. Исаковского генеральному секретарю Союза советских писателей В. Ставскому (с. 255—256), хотя последнее и публиковалось в недавней периодике, а также письмо П. К. Пономаренко И. В. Сталину (с. 284—291). Интересны скорее не с точки зрения их буквального содержания — едва ли сегодня можно воспринимать покаянные слова Я. Коласа о *«несвоечасовым рэагаванні на ідэалагічныя адвіхі, на скажэнне заданняў партыі і савецкай улады ў правядзенні нацыянальнай палітыкі, на контррэвалюцыйныя выступленні беларускіх нацыянал-дэмакратаў, выяўленых у лісце трох пісьменнікаў, у тэатральнай дыскусіі, у чыстцы Жылуновіча і інш.»* (с. 125) как основу для оценки его литературной и общественной деятельности в 30-е годы. В большей степени подобные документы характеризуют время и условия, в которых жили и творили наши классики. Именно такие документы ярче, чем что-либо, демонстрируют ту тонкую грань, которая порой отделяла жизнь и славу от гибели и забвения, «орден от ордера», тот риск, который являлся тогда оборотной стороной известности. Протоколы с беспощадной бесстрастностью свидетельствуют, сколь малого порой было достаточно, чтобы попасть «на крючок»: приглашение «не того» человека на домашнюю вечеринку, «неудачно» составленное оглавление сборника стихов, оговор почти незнакомого тебе человека — и ты уже не знаешь, вернешься ли с допроса или исчезнешь навсегда. Достаточно было просто не предугадать «колебания линии партии» — и то, за что тебя вчера хвалили, завтра станет основой обвинительного заключения.

В этой связи сборник предоставляет любопытную возможность проследить эволюцию отношения властей к Я. Купале и Я. Коласу, менявшегося (причем синхронно для обоих поэтов) по закону маятника: от активной поддержки в годы «белорусизации» через обвинения в национал-демократизме, что тогда считалось лишь немногим лучше, чем фашизм, — вновь почти к обожествлению. Вообще, при изучении приведенных документов не оставляет ощущение некоей мистической, в полном смысле этого слова *роковой* роли таланта в судьбе наших поэтов. Ибо по мере того, как росло их мастерство, росла и тяжесть предъявляемых обвинений. Но каждый раз, когда их «дела» взвешивались на невидимых гепеушных весах, талант перевешивал, и песняров оставляли жить — чтобы они творили дальше. Но в тот момент, когда *кто-то* решил бы, что они написали все что могли, — Купалы и Коласа не стало бы. Из документов видно, что версия их причастности к неким националистическим организациям не рассматривалась всерьез, а скорее служила формальным основанием для заведения дел, да и сами поэты предстают достаточно аполитичными персонажами, преданными только интересам творчества и доверенного им дела. Похоже, деятелей ОГПУ—ГПУ больше волно-

вало, как их слово отзовется в народе, и целью их было — гарантировать *предсказуемость* такого отклика. Когда же маятник качнулся в другую сторону, когда ценность и значимость Купалы и Коласа сочли доказанными, мощь все той же политической машины развернулась в другую сторону — не на нападение, а на защиту. Об этом ярко свидетельствуют документы, относящиеся к празднованиям 30-летий творческой деятельности Янки Купалы и Якуба Коласа. Небольшой, но очень яркий штришок к этому — Информационное сообщение № 2 «О политической близорукости...» (с. 240—241), в котором громится руководство Петриковского райкома партии, отказавшегося провести передачу о творчестве Якуба Коласа «*непосредственно из колхоза, где живет дед Талаш*» в связи с тем, что *«...дед Талаш до этого времени не вступил в колхоз и никакого участия в организационно-хозяйственном укреплении колхоза не принимает, живет единоличником, своих обязательств перед государством не выполняет и авторитетом среди колхозников не пользуется...*» Петриковский райком отстал от времени — если в 1926 г. подобное обвинение «аукнулось» бы Якубу Коласу, то в 1936-м аукнулось оно уже самим обвиняющим...

Характерно, кстати, что «сигналы» на Я. Купалу и Я. Коласа исходили по большей части от их же коллег (взять то же письмо М. Исаковского). Как видно, во все времена зависть служит основным мотивом доносов. Обращает на себя внимание в связи с этим поведение Якуба Коласа при даче показаний по делам других людей (Ю. Листопада, Н. Мяцельского, М. Климковича). Ни разу он не пытается «подтолкнуть падающего», оговорить обвиняемого, как не пытается и выгородить недостойных. Только непредвзятая, объективная информация, минимум собственных суждений, и все суждения выглядят взвешенными, ясно и аккуратно выраженными, — а ведь перед нами тексты документов, не подвергавшиеся какой-либо литературной правке (составители сборника оговаривают это во вступлении)! Очень интересны в связи с этим «Показания Якуба Коласа на комиссии Бюро ЦК КП(б)Б по делу М. Климковича» (с. 230—234), выглядящие скорее не как протокол допроса, а как беседа двух товарищей. Причем темой беседы в большей степени оказывается не личность и творчество Климковича, а судьбы белорусской литературы и белорусских писателей вообще, рассуждения зачастую весьма глубокие и во многом не потерявшие актуальности и в наши дни. Вообще же в сборнике приведено большое количество автографов, стенограмм выступлений Янки Купалы и Якуба Коласа, в которых содержится много интересных и до сих пор актуальных размышлений о творчестве, о белорусском языке и культуре в целом. Не следует думать, что общение с ОГПУ—ГПУ составляло основную часть деятельности поэтов в 20—30-е годы. Напротив, приведенные документы показывают, сколь мало в действительности сами Купала и Колас интересовались политикой (а вот политика проявила к ним большой интерес, это да) и сколь много их занимали судьбы белорусской и, шире, — славянской литературы, и собственное творчество в частности. Мне, например, очень любопытно было прочитать суждения наших классиков, а также других поэтов, выступавших на творческом вечере Янки Купалы в Москве в 1934 г., о проблемах перевода белорусской поэзии на русский язык. Не то чтобы неожиданно, но весьма интересно и выпукло выглядят с позиции сегодняшнего дня сетования Якуба Коласа об упадке белорусского языка и замещении его русским, о которых «сигнализировал» парторг Академии наук Г. Красневский (с. 195—196). Семьдесят пять лет прошло, а сетования все те же... и это обнадеживает — сколько ни говорят, что мова вымирает, а она живет и, дай Бог, будет жить. Несмотря даже на прямые попытки ее изничтожить — см. письмо П. К. Пономаренко И. В. Сталину (с. 284—291), в котором он буквально издевается над белорусской лексикой и грамматикой, требуя немедленного ареста Купалы и Коласа за «*создание вредительской грамматики, правописания*». Из публикуемой следом

выдержки из выступления П. К. Пономаренко на XIII съезде ЛКСМБ о беседе с И. В. Сталиным 19 декабря 1938 года, однако, следует, что в Москве его «инициативу» резко укоротили. Парадоксально, но факт — грузин Сталин с гораздо большим уважением относился к белорусскому народу и его языку, чем наши собственные руководители. Что же, и это тоже наша история...

Конечно, не все представленные в сборнике документы столь же интересны широкому читателю. Много в нем и совершенно рутинных бумаг — расписания занятий, протоколы заседаний различных комиссий, анкеты, удостоверения, но ведь сборник и рассчитан в основном на профессиональных литературоведов и историков, для которых может оказаться важным каждый документальный штрих. Думается, многое историки-документалисты смогут извлечь даже из дописок и правок в текстах документов (составители сборника бережно сохранили все вплоть до карандашных пометок, снабдив публикуемые материалы соответствующими примечаниями). Несмотря на то, что в сборник намеренно старались включать только ранее не публиковавшиеся в книжных изданиях материалы, что как бы предполагает «вторичность» издания (основное-то уже опубликовано!), составителям удалось выстроить целостную историческую картину, отражающую эволюцию жизни и деятельности Купалы и Коласа в охватываемый книгой временной период. Минимальность комментариев (по одному короткому информационному абзацу перед каждым разделом) только подчеркивает академичность, несиюминутность издания — здесь говорят документы, а выводы пусть делают сами читатели. А ведь даже язык и стиль неисправленных документов могут рассказать о многом. По содержанию приводимых документов видно, как эволюционировал в первой трети двадцатого века язык (не только белорусский, но и русский, — менялись, например, русскоязычные написания белорусских имен и названий), как эволюционировали и сами составители этих документов — например, в более поздних документах меньше правок, их стиль более «приглаженный», литературно грамотный, как менялся, с оглядкой на исторический процесс, стиль изложения фактов.

Можно, конечно, найти пятна и на Солнце. В подборе опубликованных документов наблюдается явный дисбаланс в сторону Я. Коласа — ему посвящено больше материалов, чем Я. Купале (хотя, возможно, это связано с тем, что о Я. Купале уже ранее успели опубликовать больший объем архивных материалов). Встречаются в сборнике документы, имеющие весьма косвенное отношение к объекту исследования — вот тут бы, пожалуй, не помешал более развернутый комментарий. Полезным было бы и факсимильное воспроизведение хотя бы некоторых из публикуемых документов. Однако все это — лишь пожелания улучшить и без того хорошее издание (а, скажем, факсимиле наверняка резко увеличило бы его стоимость, сделав недоступным для части читателей, так что отказ от этих вставок представляется вполне оправданным). Составители проделали колоссальную и очень нужную работу — а работа в архивах ох как нелегка! Низкий поклон им за это. Хочется надеяться, что результат этой работы получит признание среди тех, кому она адресована — литературоведов, историков, преподавателей, музейных работников, архивистов, да и вообще всех, кто всерьез интересуется историей белорусской литературы.

Андрей ТЯВЛОВСКИЙ



ЮРИЙ САПОЖКОВ

Сад, хранящий легенды

Читатель, как бы ты ни был просвещен в истории древнего мира, вряд ли ты знаешь, что один из своих подвигов Геракл совершил на территории современной Беларуси. Я и сам не знал этого, пока мне не рассказали Ирина Масленицына и Микола Богодяж, авторы увлекательной книги «Беларусь далетапісная», вышедшей в издательстве «Літаратура і Мастацтва».

Вначале о том, чем же прославился Геракл на белорусских землях, а именно в Приднепровье. Оказывается, для царя Еврисфея он должен был добыть коров (а что было еще взять тогда в нашем отечестве?). Обегав поля и собрав животных в большое стадо, Геракл лег отдохнуть, да и уснул. А когда проснулся, с ужасом обнаружил: коров-то нет. Все до одной разбежались. Зато предстала перед ним молодая богиня, всем хороша, только вместо ног — змеи, и предложила, как теперь сказали бы, бартер. Геракл должен подарить ей несколько ночей любви, а она вернет коров: гони их потом куда хочешь. Деваться некуда, пришлось силачу закрыть глаза на ноги. Геродот непростительно умалчивает, сколько времени счастливчик пробыл у красавицы. Зато уверенно называет трех сыновей, родившихся от их связи. Нас интересует младший. Потому что имя ему Скиф, он был любимцем матери. Его-то она и объявила своим наследником и владельцем тамошних мест. От него, выходит, и рукой подать до нашего, славянского, родовода.

Красиво, но вопрос в том, что генетически славянами не были ни Геракл, ни его «гражданская» жена, а значит, и Скиф. Как выбраться из этого затруднения? Помогает уверенная ремарка авторов «Беларусі далетапіснай», подчеркнутая в главе «Скрэва, прамаці крывічаў»: «Скіфы сапраўды некаторы час суседнічалі з праславянамі, славянамі, або тымі і іншымі разам, сапраўды далі ім сваю кроў, бо ніхто не забараняў славянам жаніцца са скіфянкамі, а скіфам браць у жонкі славянак». Так что есть вероятность, что и первого Скифа мы можем считать своим родственником, пусть и тысяча седьмой воды на киселе (если забыть, что многие ученые сегодня сомневаются в этом родстве).

Вообще для всяких смелых предположений существует замечательное слово «вероятно». Обычно к нему прибегает либо неуверенность дилетанта, либо корректность настоящего ученого. Забегая вперед, скажу: корректность исследователей — спорящих, предполагающих, сомневающихся, выдвигающих свою версию давних событий, — одна из важнейших характеристик книги И. Масленицыной и М. Богодяжа. В списке использованной ими литературы — 157 наименований! Среди них манускрипты, дошедшие из глубины веков на различных языках мира — в том числе арабские, готские, греческие и другие, написанные от нас за тридевять земель, но содержащие уникальные сведения о белорусских землях.

Поэтому из Гераклового тупика, связанного с началом славянского генофонда, читатель выбирается с помощью опосредованных доказательств и ссылок на мнение крупных ученых, отважившихся поискать следы сла-

вян в далекой древности. Цитируются, например, свидетельства Геродота о Таргитае, герое, очень похожем на Геракла, но уже праславянине. Проходит он в этом качестве и в «Велесовой книге». Выстраивается концепция странных совпадений, относящихся к жизни Геракла и Таргитая. Одно и то же время, XV столетие до нашей эры, географически соседние места рождения (в одном случае Приднепровье, в другом Припять), оба выступают в легендах и мифах как борцы с мощными, злыми ворогами и чудовищами. У того и другого сыновья. Правда, у Таргитая их не трое, а двое: Славен и... Скиф. Почему такая схожесть разных людей? И даже их судеб?

Одним из первых об этом догадывается А. Хазанов в своем «Золоте скифов». Российский ученый полагает, что речь, скорее всего, идет об одном и том же лице: «Вероятно, Гераклом греки звали того, кого сами скифы знали как Таргитая — своего героя-родоначальника. Были, значит, у двух героев общие черты, раз греки сочли необходимым их отождествить. И не только греки, но и скифы...» Которых, хочется добавить, Мазуринская летопись, да и другие, отождествляют со славянами. Вот почему нас так заинтересовал сын Таргитая-Геракла Скиф.

А какова же в этих исследованиях роль Масленицыной и Богодяжа? Кто они — знатоки темы, комментаторы, конферансье, предоставляющие слово участникам книги-форума, популяризаторы славного прошлого отчизны? Понемногу они вобрали в себя все перечисленные специальности. Знатоки — потому что о белорусской древности писали, и не раз: авторы книг «Жанчыны, найбольш знакамітыя ў гісторыі Беларусі», «Радзивиллы — несвижские короли» и др. Сами походили по деревенькам Беларуси и собрали не одну тетрадь легенд и преданий, уцелевших в народе. Комментаторы — потому что в научно-популярном издании без этого обойтись невозможно. Сложные вещи следует разъяснять внятным языком, делать необходимые справки. Высказать сомнение или поспорить, привести свои доводы — тоже делает честь писателю с критическим взглядом на вещи. Ничего нет зазорного и в том, чтобы время от времени приглашать на «сцену» тех, кто может что-то добавить, расширить наши знания о предмете, которому посвящена книга. А хороший популяризатор — это толковый писатель. Все у него работает на читательский интерес — начиная от названий главок, сюжета каждой из них, языка, с помощью которого сложное сводится к простому, и, наконец, списка использованной литературы, которая внушает уважение и доверие к авторам.

Для чего я пишу об этом? Для одного моего собеседника (а у него наверняка найдутся сторонники), который усомнился в ценности рецензируемой книги, сказав, что правда в таких исторических трактатах условна, она гуляет, как подвыпивший, от одного научного двора к другому. Вот и эта, содержащая ссылки на 157 книг, подтверждает ее вторичность. Не согласен. А к вышесказанному добавлю, что по-настоящему новое действительно добыть трудно — как в литературе, так и в науке. Но в давно минувшем, старине этого нового, то есть того, чего мы до сих пор не знали, пожалуй, гораздо больше, чем в настоящем. Как ни парадоксально. И раскопки археологов убеждают в этом. Из-под толщи веков возникает культура ушедших в небытие народов — в храмах, черепках, оружии, утвари, украшениях, захоронениях... И это меняет наше представление о многом, в том числе о современной жизни. Книги, подобные «Беларусі далетапіснай», — тоже раскопки мыслей, догадок, побуждение к поиску, присоединение к тем, кто посвятил этой работе жизнь.

А вот как косвенно отвечают моему собеседнику Масленицына и Богодяж: «Легенды, паданні, міфы... Дзе праходзіць тая рыса, якая адмяжоўвае ў іх праўду ад выдумкі? Некаторыя даследчыкі мінулага сцвярджаюць, што наогул не варта разглядаць іх у якасці магчымых сведчанняў аб рэальных фактах сівой даўніны, каб выключыць усялякую верагоднасць прыкрай памылкі і ўсцерагчыся ад спакусы фальсіфікаваць

гісторыю. Мы ж не з іх ліку. Таму што стоадсоткава пэўных крыніц аб ранніх стагоддзях нашага мінулага — не так ужо шмат, яны адрывістыя і разрозненыя. І ў такой сітуацыі народу, без сумнення, значна лепш мець за плячыма гісторыю легендарную, чым ніякую.

Мабыць, менавіта такімі меркаваннямі кіраваліся і сярэднявечныя летапісцы і храністы. У тых выпадках, калі іх складнае апавяданне аб «справах даўно мінулых дзён» пагражала абарвацца за адсутнасцю правераных фактаў, яны запаўнялі пустэчы гістарычнымі легендамі, паданнямі, міфамі. Так, пэўна, рабілі і аўтары «Вялесавай кнігі» — самай старажытнай пісьмовай крыніцы ўсходніх славян, якая нам сёння вядомая».

Однако вернемся ненадолго к Таргитаю, вернее, к родовой линии его старшего сына. Некоторые летописцы потомков Славена считают родоначальниками новгородской княжеской династии и даже вообще славян. Но наши авторы сомневаются: «Гэта даказаць цяжка, бо славяне прыйшлі ў гэтыя месцы на шмат стагоддзяў пазней, а Славенавы нашчадкі, відавочна, трывала абгрунтаваліся ля возера Ільмень і нікуды адтуль больш не сыходзілі». Кстати, «Велесова книга», недвусмысленно подводя нас ко второму умозаключению, умалчивает о первом.

Самое время поговорить об этом уникальном произведении. Тем паче, что больше всего цитат наши авторы берут из него.

Это сборник текстов, написанных в VII—IX веках (следовательно, задолго до Кирилла и Мефодия). Состоит она из 38 довольно крупных дощечек, на каждой шилом нацарапаны, а затем покрыты горячим воском письмена. Работал над ними не один человек, о чем говорит их фрагментарность и порой малосвязанность. Более того, между старателями, возможно, отстояли и времена, целые эпохи и расстояния. Общались записчики, очевидно, на различных и заметно отличающихся диалектах архаичного древнеславянского языка, по крайней мере три его варианта прослеживаются во «Влескниге» (так она еще называется). По объему исписанных «страниц» она в 8 раз больше «Слова о полку Игореве», созданного, как мы знаем, двумя веками позже. Дощечки не сохранились, но перерисованы. Эта изнурительная работа продолжалась пятнадцать лет эмигрантом Юрием Петровичем Миролюбовым, писателем, чье собственное творчество касалось истории древней русской культуры, в бельгийском доме владельца дощечек — бывшего офицера Белой армии Али Изенбека. В 1919 году в имении князей Задонских (недалеко от Харькова) деникинец обнаружил их на полу разгромленной красными библиотеки. В прошлом участник археологических экспедиций в Средней Азии, он сразу почувствовал, что находка может иметь историческую ценность. При спешной эвакуации из Крыма ему удалось ее вывезти. Груз весом несколько килограммов в самом деле оказался бесценным. В эмиграции Изенбек случайно познакомился с Миролюбовым.

Сообщение о раритете и публикация первых главок из него вызвали среди ученых мужей эффект землетрясения. Но вскоре волнения утихли: большинство объявило находку искусной подделкой. Главный аргумент: поскольку братья Кирилл и Мефодий были первыми, кто перевел богослужебные книги на славянский язык, то никакие письменные памятники на Руси до принятия христианства существовать не могут. Так утверждал акдемик Б. А. Рыбаков. Другие авторитеты находили и иные, конкретные, на их взгляд, подтверждения фальсификации.

Интересны и контраргументы скептикам. Одного из переводчиков «Велесовой книги», Н. В. Слатина, изучавшего ее четыре года, поражает многовариантность начертания отдельных слов текстов! И он пишет: «...вряд ли можно предположить существование реального фальсификатора, который, находясь в здравом уме, «сочинил» бы текст, где даже такое простое слово («быть». — Ю. С.) пишется шестнадцатью различными способами». Подобных доказательств у Н. В. Слатина — прямых и опосредованных — предостаточно. Но беда в том, что он

взялся судить, напоминая этим совет художника сапожнику, подслушанный Пушкиным: «Суди, дружок, не выше сапога». У переводчика нет ученых званий, а значит, и серьезных знаний в предмете спора. И вот доктор филологических наук Б. И. Осипов слегка снисходительно доказывает дилетанту, что возникновение «Влескниги» относится в лучшем случае к 18-му — началу 19-го века, «когда сильным было увлечение славянскими древностями, в частности, языческими».

Пусть себе спорят! Как отвечает своему именитому критику Слатин: «А я ни на что не претендую, лишь Истины ищу, и чтобы действительность отражалась по возможности ближе к Истине, а для этого необходимо рассматривать все с многих точек зрения...»

И. Масленицына и М. Богодяж никак не высказываются по этому поводу. Но не ссылаясь ни на кого персонально, роняют-таки фразу о «празмернай педантычнасці і прыхільнасці традыцыям» среди ученых, из-за чего подчас страдает историческая правда. «А менавіта тое, што да Рурыка з яго варажскімі братамі ва ўсходніх славян была цікавая, насычаная гісторыя з датамі, героямі, вялікімі перамогамі, горкімі паразамі, бясконцай барацьбой за сваю свабоду, права на самасвядомасць, за існаванне, у рэшце рэшт».

Сведения обо всем этом буквально рассыпаны по «Велесовой книге». Обилие взятых из нее примеров (кстати, в переводе самих авторов с версии украинских лингвистов Гнатюков и частично с миролюбовского оригинала) все-таки говорит о том, что они на стороне тех, кто верит в ее подлинность.

Я, как читатель, не беру ни ту, ни другую сторону. Но вижу, что И. Масленицына и М. Богодяж обращаются к этому источнику с уважением. Не потому ли, что как неведомым авторам его, так и им, небезразличен дух патриотизма наших прапраотцов, их любви к славянской отчизне, которым пропитаны тексты «Велесовой книги»? Таким же чувством к Беларуси связаны и хронологически разные очерки «Беларусі далетапіснай». В них на основе примеров древности не прямо, а как бы исподволь, тоже звучит идея просвещения, воспитания и гордости за нашу землю.

Каждая глава книги содержит сюжеты увлекательных событий, многие из них уже наверняка освоены художественной литературой. Жаль, что авторы, за малым исключением, не дают перечень произведений, написанных по мотивам преданий. Ну разве не стоит поэмы история происхождения восточнославянских племен, переданная в той же «Велесовой книге»? Оказывается, древляне, поляне, кривичи рождением своим обязаны дочерям великого скифского вождя Богумира. Проблему их замужества он решил гениально просто. Выехал во широко поле, нашел в нем огромный дуб и стал под ним поджидать добрых молодцев. Трое первых, кто подъедет к дереву, и должны будут стать его зятьями. Так он задумал. Вскоре откуда ни возьмись появились три всадника. Не сказать, чтоб весело подъехали к дубу. Давно уже блуждали в поисках хороших жен, а их все нет и нет. То-то мужи обрадовались друг другу и, не видя девиц, ударили по рукам. Сыграли свадьбы, и от каждой пары пошло по племени. Правда, до полного комплекта не хватало русов. Но у Богумира было еще два сына — жениха — Сева и Рус. Разве не достаточно для начала еще одного народа? Вдохновленные счастливым исходом сего происшествия историки решили Богумира из скифа произвести в славянина. А что? — ведь он им вполне мог быть.

Как могло быть и другое. Неподалеку от мест, где жил наш прародитель, протекала речка Рось. На ней-то и осело незнакомое племя, пришедшее откуда-то с запада. Вот и стали его именовать русами. Чем не версия?

Много их, неожиданных поворотов, и относительно названий других родов. Кривичи, возможно, этимологически связаны с «Криве-кривейтой». Так у славян и балтов именовался главный языческий жрец. Что означает «высший над высшими». Есть предание, что кривичи — от слова «кровь», люди одной крови. Мне лично кажется, что балтское слово «Krievi» (болото) точ-

нее всех передает смысл названия племени: как раз на болотах и селились кривичи.

Среди тайн, что, будто вуалью, покрывают нашу историю, прибегают к точной метафоре сказочники Ирина Масленицына и Микола Богодяж (употребляю это слово в самом похвальном значении), одна из самых интригующих — Неврида, загадочная страна ведьм и перевертышей. Всезнающий Геродот выводил строки о ней, наверное, с самым ученым видом. Находится она, по его словам, севернее обитания скифов-пахарей. Большинство современных ученых отнесли эти земли к белорусскому и украинскому Полесью. Раз в год каждый житель сей страны, невр, превращался в волка. Побыв несколько дней в шкуре этого зверя, он благополучно возвращался в людское обличье. Непонятно, для чего он это делал. Может быть, становилось скучно за повседневным трудом разведения коров, нужен был хоть какой-то выброс адреналина. Хотя коровы у невров тоже были с особинкой. По свидетельству Аристотеля (не только ведь один Геродот все знал о белорусах), рога у быков росли не на голове, а от ушей. Очевидно, так греки воспринимали буйволов, которых покупали у невров и везли в Византию. Но больше всего поразили их люди-волки. Наверное, эта легенда дала толчок воображению белорусского прозаика Алеся Наварича. В его захватывающем романе «Литовский волк» как раз и происходит то, чему были свидетелями испуганные греки-торговцы. Один из главных персонажей по ситуации немедленно превращается в волка и наводит страх на российских преследователей белорусских повстанцев. В конце концов перевертыш все же оказывается в клетке. А задолго до Наварича о той же метаморфозе мечтает маленький герой Багрима в стихотворении «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Правда, от безнадеги своего существования.

К сожалению, языческие боги не дали преимущества подобных превращений племени ятвягов, которые жили в бассейне Припяти и междуречье Немана и Нарева, и в трудную годину жизни они должны были полагаться только на свое копье, щит и боевой топор. И. Масленицына и М. Богодяж упоминают, как высоко отзывались об этом народе русские историки С. М. Соловьев («Ятвяги в битвах никогда не бежали и не сдавались в плен») и Н. М. Карамзин («Этот народ, который жил в густых лесах, питаясь рыбной ловлей и пчеловодством, больше всего любил дикую волю и не желал никому платить дани»). Об этом свидетельствуют и каменные курганы, сохранившиеся в Беларуси до наших дней. Погребальный инвентарь сплошь состоит из оружия.

О многом потрясающе интересном узнаешь из истории долетописной Беларуси. О житии и путешествиях великого проповедника учения Иисуса Христа апостола Андрея Первозванного. По свидетельству Нестора, путь его пролегал и по берегам Днепра, где в то время, вероятнее всего, жили балты и угро-финны. О драме Вольдемара Полоцкого, князя и рыцаря, погибшего, защищая Полоцк и Смоленск. Вовсе не с 862 года (первое упоминание в летописи) берет «родословная» стольного города Полоцкой земли. Потому что Вольдемар жил в V веке, о чем сообщает «Сага про Тидрика Бернского», записанная в нескольких вариантах в скандинавских странах. О герое восточных славян Кие, основавшем Киев. Этот факт и побудил И. Масленицыну и М. Богодяжа посвятить Кию целую главу, полную интереснейших подробностей о жизни легендарного человека. О союзе племен, которое убивало каждого, пересекшего границу их земли, Артании...

У меня такое впечатление, что книга «Беларусь далетапісная» — питомник, маленький сад, хранящий рассады диковинных растений. Но не заморских, а наших, посеянных и давших всходы на белорусской почве. Что-то в этом саду едва проступает росточками, а что-то высится деревцами, уже давно видными издалека. Питомник открыт для всех, кто пожелает возделывать его, растить дальше в любом литературном жанре: исторический роман, повесть, поэма, драма, трагедия.

Не знаю, удобно ли пересказывать (но ведь авторы «Беларусі далетапіснай» сделали это!) драму дочери Полоцкого князя Рогволода Рогнеды и трагедию киевской княгини Ольги. Первую выбрали своей музой многие прозаики и поэты; кто писал о второй, кроме Кондратия Рылеева, не знаю. Возможно, потому, что в Рогнеде поражает буйство страстей, Ольга же запомнилась одной — страшной мстительностью, а это в женщине смущает. Отдать дань памяти столь разным женщинам, хотя бы вкратце, кажется, все же нужно.

Помню сцену из балета Мдивани-Елизарьева «Страсти. Рогнеда», всегда шокирующую зрителей Минского театра оперы и балета. Инесса Душкевич в роли Рогнеды распростерта на полу. Мужики грубо держат за руки. Владимир, князь новгородский, насилует девушку на глазах ее отца Рогволода и братьев, связанных веревками. Так все и было на самом деле. Владимир, наслышанный о красоте юной полочанки, заслал к ней сватов. Но княжна уже была просватана за его брата, Ярополка Киевского. Ситуация щекотливая. Рогволод просит дочь решить самой, за кого идти. И та делает это оскорбительно для жениха: «Не жадаю разбуць сына рабыні!»

Разгневанный Владимир идет войной на Полоцк, разбивает Рогволода и пленит всю его семью. Исполнив кровавую месть над отцом и братьями Рогнеды, разграбив город, Владимир увозит прилюдно обесчещенную невольницу к себе в Новгород и делает ее второй женой. Вскоре у него появляется третья, вдова родного брата, того самого, которому чуть было не досталась Рогнеда. Ярополка он обманным способом заманивает на встречу и убивает.

Непостижимо женское сердце! За восемь лет жизни с извергом Рогнеда рожает ему шестерых детей: четырех мальчиков и двух девочек. Если найдутся такие, что скажут: любовь тут ни при чем, чистая, мол, физиология, я спрошу: а ревность? Ревность, которая берет в руки кинжал, чтобы заколоть изменщика, это — не любовь? Но именно так поступила Рогнеда, узнав, что Владимир распускает свой гарем, чтобы жениться (уже как христианин) на византийской царевне Анне. Ночью бросилась Рогнеда на сонного мужа с кинжалом, но удара не получилось: перехватил.

«Па сведчанні Лаўрэнцьеўскага летапісу, муж са здзіўленнем спытаўся, што паслужыла прычынай такога ўчынку жонкі. На гэта Рагнеда адказала, безумоўна, успомніўшы ўсе грахі Уладзіміра, і ўпершую чаргу — забойства яе родных: «Ты бацьку майго забіў, і зямлю яго паланіў дзеля мяне, а цяпер не кахаеш мяне...» Что скажете, физиологи?

Отводит Владимир свой меч от опасной женщины, строит городок Изяславль на землях, когда-то принадлежавших ее отцу, и ссылает ее туда вместе с семилетним сыном. Непокорная и гордая Рогнеда отказывается дать мужу развод, чтоб его брак с Анной считался незаконным. В Изяславле она постригается в монахини (некоторые исследователи считают, что ее принудили к этому) и смягчается сердцем к своим обидчикам. Когда в Изяславль прибывает посланец Владимира, чтобы хоть кровью да выбить у негодной согласие на его брак с Анной, то получает непредвиденный ответ: разводу препятствовать не будет. У нее уже есть жених — Христос. В мире с собой, доброте и любви к другим, вере в Бога добыла свои дни в Изяславском монастыре Рогнеда. «Яна даўно ўжо стала своеасаблівым сімвалам нашай краіны», резюмируют авторы «Беларусі далетапіснай». Правда, интересно было бы уточнить, какой период ее судьбы, по их мнению, более подходит к этому решительному утверждению.

С точки зрения психологии женского характера история с Ольгой гораздо проще именно однообразием красок, пусть даже кровавых. Она решает отмстить древлянам (оказывается, племя это обитало и на белорусских землях, южнее Припяти) за смерть своего мужа, киевского князя Игоря. Поплатился князь за свою жадность. Мало ему показалось дани, которую

жители Искоростеня платили исправно, — давай и давай еще. Разбили они Игореву дружину, самого привязали за ноги к верхушкам двух берез да и отпустили их. Способ казни был решен на вече. Какие могут быть упреки к князю древлян Малу? И он с чистой совестью посылает послов к овдовевшей Ольге. Во-первых, сообщить о погибели мужа, а во-вторых, просить ее выйти замуж за него, Мала. Принято было так в те незапамятные времена. Что женщине пропадать, если муж убит в честном бою? Так вот и Эдипу досталась вдова убитого им правителя Фив, и только родив с ней четырех детей, уразумел он, что их мать — и его мать. Словом, может, и пошла бы Ольга за Мала, да узнала, в каком бою погиб ее суженый. Первых двенадцать сватов, приплывших к ней на ладье, она бросила в яму с горящими углями и закопала живыми. Второе посольство, числом более первого, любезная Ольга, приняв дары, попросила сначала вымыться в бане, а потом пожаловать к ней. Не пожаловали — сгорели все до едина. Чувствует Ольга: больше не приедут древляне, насторожатся, и сама извещает их о том, что едет к ним, на место казни мужа. Чтобы по-людски похоронить и справить тризну. Мал в восторге: невеста к нему сама спешит. Приняли как положено, наварили меда по ее просьбе, чтобы всем выпить хватило. А всех — почти пять тысяч воинов, вышедших из стен города. Во время тризны княгиня только подначивала, даже спор затеяла — кто кого перепьет. Когда все лежали мертвецки пьяные, дала сигнал немногочисленной своей охране. И пошли те резать. Умаялись до утра. Но и эта месть не показалась Ольге достаточной. Следующим летом, в год 946-й, как уверяют летописцы, пошла она на столицу древлян Искоростень с большим войском. Не дались ей ученые горожане, оборону держали долго и умело. Через несколько месяцев неокольцованная Малом княгиня сняла осаду. Обрадовались утомленные древляне и пошли к неудачливому завоевателю... с поклоном: будем тебе платить дань, будем, говори, чего хочешь, и уходи. Оценила Ольга великодушие горожан, не было границ ее щедрости. Попросила только по три голубя и три воробья с каждого двора. Обрадовались, наловили птиц, принесли. А как только стемнело, полетели птицы в свои гнезда, и к каждой был привязан кусочек горючей серы с зажженным фитильком. Вспыхнул Искоростень со всех сторон, обезумевшие люди бросились за городские стены. Тут их и ждала расправа. «Адных забівалі, іншых забіралі ў рабства, старэйшын усіх сабралі і спалілі».

Чему учит эта история? Уверен: не создавай врага в лице женщины.

У Ирины Масленицыной и Миколы Богодяжа каждый рассказ о наших пращурах чему-нибудь да учит. Морали как таковой нет ни в одном из них, но, как говорится, умеющий видеть да видит. А главный урок, он очевиден для всех: хочешь знать свою отчизну, изучай ее с долетописных времен. Все хорошее и плохое, что окружает нас, пришло оттуда, из глубины-бездны.



Дзікі голуб. Зборнік сучаснай беларускай прозы і крытыкі.
Укладальнік Мікола Мінзер. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

Название этой книге, в которой помещены произведения, рекомендованные для внеклассного чтения в восьмом классе средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, дал один из рассказов Вячеслава Адамчика. Рассказами представлено также творчество Виктора Карамазова. Юные читатели имеют возможность познакомиться и с повестью Алеся Бадака «Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца», с повестью-сказкой Петра Васюченко «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі». Кроме того, о творчестве каждого из этих авторов в книге помещены литературно-критические статьи, с которыми выступают Евгений Лецка, Алесь Бадак, Ирина Шевлякова, Маргарита Алешкевич. Сборнику предшествовала книга «Сямнаццатай вясной», в которую вошли произведения, изучающиеся в XI классах.

Алексей Дударев. Белые Росы и другие киноповести.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

«Библиотека журнала «Нёман» — помечено вверху на обложке этой книги. Это говорит о том, что появился еще один издательский проект РИУ «Літаратура і Мастацтва». Судя по первой книге, он станет для любителей национальной изящной словесности хорошим подарком: как и обычно, предпочтение отдается только лучшему. Алексей же Дударев — из тех писателей, которые неизменно высоко держат планку художественности. Это касается как произведений, уже обретших свою сценическую и экранную жизнь, так и написанных недавно и находящихся на пути к своему требовательному, но вместе с тем и благодарному зрителю. Впрочем, и перечитать то, с чем уже знаком по фильмам, а также познакомится с киноповестями нелишне. Ибо, каким бы талантливым ни был режиссер, а все же интересно знать, как все это «выглядит» у самого автора. В таком случае знакомьтесь с киноповестями «Рядовые», «Днепровский рубеж», «Брестская крепость», «Белые Росы» и еще раз «Белые Россы» — продолжение предыдущей киноповести.

Закон Божий.
Мн.: Издательство Белорусского Экзархата, 2010.

Это пособие по Закону Божиему адресовано детям. В нем последовательно изложены рассказы из Священной Истории, также приводятся указания на взаимосвязь Ветхого и Нового Завета, на связь событий, которые отображены, с современным богослужением, молитвами, Таинствами и христианской жизнью. Тексты написаны доходчиво, с учетом возраста читательской аудитории. Первая книга о Православной Вере предназначена для 8—12-летних детей. Содержание второй книги — объяснение Символа Веры и православного богослужения. Третья и четвертая рассчитаны на юношескую аудиторию. В них подробно изложены евангельские события и все книги Нового Завета. Наконец, в пятой книге рассказана история Православной Церкви с древних времен по сегодняшний день. В основе этого издания — парижский выпуск Закона Божьего в пяти книгах, осуществленный более полустолетия назад группой православных энтузиастов, имена которых, к сожалению, не были названы. Прежнее издание повторено и в том, что в нем помещены иллюстрации Ростислава Добужинского (сына известного художника XX столетия). Во вступительном слове член Издательского совета Русской Православной Церкви Владимир Грозов высказывает уверенность, что благодаря этой книге Закон Божий войдет в наши семьи, а главное — в наши сердца.

Юлія Зарэцкая. Шчаслівыя людзі. Кніга сатыры і гумару.

Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

Читатели уже знают, что Редакционно-издательское учреждение «Літаратура і Мастацтва» возобновило издание «Бібліятэкі “Вожыка”», которая выходила с 1957 года, а потом выпуск ее был приостановлен. Сначала увидела свет книга Михася Сливы «Віртуальнае каханне», а теперь появилась очередная новинка: «Шчаслівыя людзі» Юлии Зарецкой, «вожыкаўкі» со стажем. Сначала она возглавляла отдел фельетонов и писем, потом была заместителем главного редактора. Ныне Ю. Зарецкая — главный редактор альманаха «Вожык». Печатается в «Вожыке» со студенческих лет. Книга «Шчаслівыя людзі» у нее первая, но одновременно — это своего рода избранное, ибо в ней собрано все лучшее из написанного Ю. Зарецкой. Это фельетоны («Шарашкіна кантора»), юморески («Шчаслівыя людзі»), «Думкі ўголас» и многое другое.

Валерий Кастрючин. Лети, бабочка!

Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

В основе этой детской сказочной повести история о бабочке Желтушке. Как и в своих предыдущих произведениях, Валерий Кастрючин остается верным анималистической теме. В книге рассказывается о жизни бабочки, различных событиях, которые с ней происходят, а также о перелете в далекую Индию, который совершают она и ее друзья. Это путешествие, полное опасности, вместе с тем приносит и немало открытий. «Вместе с Рыжим Пятнышком, Адмиралом и многими другими подружками Желтушка попала в самый настоящий цветочный рай. Ведь в Индии даже воздух сладкий от аромата цветов. Можно ничего не кушать, только вдыхать и вдыхать этот густой и сладкий запах». Несмотря на то, что жизнь Желтушки близилась к концу, она чувствовала себя счастливой. Обрела новых друзей. Отложила яички, из которых вывелось множество личинок. Эта книга нужна детям, поскольку дает им познания о природе и прививает любовь ко всему живому на земле.

Зміцер Сасноўскі. Музычная культура рыцарскага саслоўя Вялікага Княства Літоўскага і каралеўства Польскага.

Мн.: Кнігазбор, 2010.

Известный музыкант Змитер Сосновский в данной книге дает целостное представление о музыкальной культуре рыцарского сословия Великого Княжества Литовского. В знаменитом «Слове о полку Игореве» сказано, что истинный воин «под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, с копья вскормлены». Следовательно, с самых давних времен музыка сопутствовала ратникам. В книге рассматривается период начиная с образования ВКЛ, а это, как известно, XIII ст., и завершая концом XVIII ст., временем, когда перестала существовать Речь Посполитая. Уже по названиям отдельных глав видно, сколько интересной информации можно почерпнуть из книги: «Сігнальная музыка», «Паходныя капэлы», «Баявая духоўная музыка», «Парадныя вайсковыя аркестры», «Рыцарская паэзія», «Рыцарскі эпас» и другие. Нельзя не согласиться с утверждением З. Сосновского: «Рыцарства — тая частка нашых продкаў, якой належыць гонар абароны незалежнасці на працягу пяці стагоддзяў, таму культура рыцарства, і ў прыватнасці ягонае музычнае жыццё, патрабуе павагі і дбайнага вывучэння».

Аляксандр Сержпутоўскі. Гняздоўе белых буслоў. Казкі і апавяданні беларусаў-палешукоў.

Складанне, прадмова, літаратурная апрацоўка Уладзіміра Касько.

Мн.: Вышэйшая школа, 2010.

«Сказки и рассказы белорусов-полешуков», записанные выдающимся белорусским этнографом, языковедом Александром Сержпутовским, впервые вышли в 1911 году. И вот через сто лет читатель, небезразличный к устно-поэтическому творчеству белорусского народа, получил возможность

познакомиться с лучшими образцами сказок и устных рассказов, бытовавших некогда в южной части Слуцкого и северной части Мозырского уездов Минской губернии (а это, как известно, глубинка Белорусского Полесья). Эти произведения исследователь записал в 1890—1907 годах. А. Сержпутовский обратил внимание на новые явления в фольклоре, которые возникли благодаря изменениям в жизни белорусской деревни, происшедшим на рубеже XIX и XX столетий. В книге представлены различные фольклорные произведения: волшебные и социально-бытовые сказки, легенды, небылицы…

Елена Турова. Рыжик в Зазеркалье. Сказки.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

Режиссер киностудии «Беларусьфильм» Елена Турова работает в жанре анимационного и игрового кино для детей. Дети же особенно любят сказки. Поскольку Елена и сама пишет сказки с детства и, как признается, по-прежнему чувствует себя в душе ребенком, то неудивительно, что благодаря ей этот жанр получает экранное воплощение. Полюбилась юным зрителям двенадцатилетняя Вероника. Вроде бы кроме цвета волос — ее считают самой рыжей девчонкой в городе, — в Веронике нет ничего необычного. Но вдруг оказывается, что она наследная принцесса Волшебной страны. Об этом Веронике в день ее рождения сообщает книголюб Бибилус. Прочитав сказку «Рыжик в Зазеркалье», мальчишки и девчонки снова встретятся со своей любимой героиней. Кстати, в оформлении книги использованы кадры из одноименного фильма. В издании помещена еще одна сказка — «Новогодние приключения в июле», герои которой Саша и Даша попадают в лабиринты компьютерной Сети, в ловушку космического пришельца Гала-Вируса. Однако ребята не только выпутались из истории, но и спасли все Праздники на Земле. Впрочем, и с этими героями дети уже знакомы по фильму «Новогодние приключения в июле».

Александр Черняк. Тайны революций в России. Эссе.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

Обилие фактического материала, ссылки на редкие источники, умение писать увлеченно, так, чтобы читателя заинтриговать, все это и привлекает в книге Александра Черняка «Тайны революций в России». Наш земляк, доктор исторических наук, работающий ныне заместителем главного редактора журнала «Российская Федерация сегодня», по-своему освещает события, происходившие в России на рубеже XIX — XX веков, приоткрывая некоторые тайны того времени, когда желание народных масс жить по-новому, жить лучше, вызвало череду революций. Но сам ли народ шел на борьбу с царизмом, или его толкали на это тайные кукловоды, имеющие свои далеко идущие цели? Обо всем этом и рассказывает книга А. Черняка.

Іван Шамякін: вядомы і невядомы. Успаміны, эсэ, аповесць.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

В этом сборнике облик народного писателя Беларуси Ивана Шамякина иногда в самом деле предстает в несколько неожиданном ракурсе. Что и не удивительно. Об Иване Петровиче вспоминает его дочь, также известная писательница Т. Шамякина, а кому, как не ей, досконально знать жизнь Ивана Петровича. Иногда, казалось бы, мелочь может дать нечто новое в понимании писателя. В этом убеждаешься, знакомясь с воспоминаниями «З асабістага» и «Радавод». Интерес вызывают научно-популярные статьи о малоисследованных аспектах творчества писателя. Также в этой книге помещена повесть И. Шамякина «Слаўся, Марыя!», посвященная Марии Филатовне — его любимой жене, верной спутнице жизни.

Василь СЛУЦКИЙ

Когда Короткевич был маленьким

Однажды в моей квартире раздался телефонный звонок, и я услышал незнакомый мужской голос:

— Эдуард Новогонский. — И после небольшой паузы продолжил: — Вы — соавтор песни о нашем городе, слова и музыка этой песни мне понравились, поэтому я захотел создать видеоверсию этой музыкальной композиции. Сценарием клипа может стать текст вашей песни, если вы, конечно, не против. К тому же я предлагаю сыграть самого себя в съемках этого клипа, сделать это будет несложно. Съемки будут проходить на вокзале, затем на берегу Днепра — возле Оршицы, и у родника.

Подобное предложение мне поступило впервые, поэтому я, немного подумав, согласился. Договорились о встрече.

Клип был снят без особых проблем, и после его просмотра у нас завязался разговор. Когда мы в своей беседе затронули творчество нашего земляка Владимира Короткевича, Эдуард признался, что занят поисками людей, которые знали писателя лично.

А так как я учился в той школе, где когда-то преподавал писатель, и любил его творчество, то с удовольствием согласился помочь Эдуарду.

— Я знаю одну женщину, которая живет недалеко от меня. Она — бывший директор централизованной библиотеки имени А. С. Пушкина города Орши и часто рассказывала мне о встречах с Короткевичем, — поделился я информацией.

Новогонский попросил мне устроить с ней встречу.

Не откладывая, в тот же день навестил свою соседку. На предложение о съемке она ответила согласием, но попросила перенести съемку на более позднее время, сославшись на свое нездоровье.

Я почти ежедневно навещал соседку или узнавал по телефону о ее самочувствии, но она всегда отказывалась под каким-то благовидным предлогом. Ожидание затянулось настолько, что у инициатора этого проекта Новогонского кончилось терпение.

А моя жена, будучи в курсе всех этих событий и видя мое разочарование, к моему большому удивлению, вдруг неожиданно предложила мне вариант, который вполне мог устроить и меня, и Новогонского. Оказалось, девяностолетняя мать ее двоюродной сестры Ларисы Шинкевич хорошо знала Володю Короткевича с детских лет.

Я тут же связался по телефону с Ларисой. Она подтвердила эту информацию и пообещала уговорить свою маму рассказать о Короткевиче перед объективом телекамеры.

Буквально через день она позвонила и сообщила, что ее мать согласна, надо только, чтобы это съемка произошла как можно быстрее, пока она неплохо себя чувствует. Лучше всего это сделать в ближайшие выходные, в свободное от работы время, так как Лариса свое присутствие на этой встрече считает необходимым.

Обо всем я незамедлительно сообщил Эдуарду. Разрешив все организационные вопросы, в ближайшую субботу, вооружившись телекамерой, мы вместе с

ним прибыли по знакомому мне адресу. В доме нас приветливо встретили Лариса Дмитриевна и ее мать Софья Васильевна, по заведенному обычаю усадили нас за стол пить чай. Что оказалось очень кстати. Эта непринужденная обстановка сняла некую напряженность между бабушкой и желающими услышать от нее рассказ о Короткевиче. На наш первый вопрос, откуда она лично знает Владимира Короткевича, Софья Васильевна стала рассказывать:

— Мы дружили семьями. Мой дядя, родной брат моей мамы, Галькевич Федор Иосифович, был директором Оршанского краеведческого музея, вместе с отцом Володи, Семеном Тимофеевичем, купили дом по улице Ленина на две семьи. У дяди не было детей, и поэтому он взял меня, свою племянницу, к себе в Оршу, где мы и подружились с Наташей Короткевич, родной сестрой Володи, который в то время был маленьким. Его я помню еще с тех пор, когда приезжала в город к дяде в гости. Володя был еще маленький, но уже такой сообразительный, очень добрый, выдумщик. С малых лет, где-то лет с пяти, он читал моему дяде книжку. Мама его, Надежда Васильевна, часто отнимала у сына книгу, чтобы он много не читал. Иногда он мне со своей сестрой Наташей, а я училась вместе с ней в школе, предлагал рассказать что-нибудь интересное, принести вкусного, почитать книгу.

Мои родители — Шелухо Василий Андреевич и Елена Иосифовна — жили в деревне Рукли, в пяти километрах от станции Смольяны, куда часто приезжала семья Короткевичей вместе с маленьким Володей. На поле, в лес мы ходили с дядями. Володя очень любил такие походы и всегда предлагал разжечь большой костер. Когда костер горел, мальчик прибегал к моей маме просил: «Тетя Леля, дайте картошечки, только хорошей!» Мама выбирала в корзинку картошку, он ее приносил и сам закладывал в угли.

Однажды прибежал и стал говорить: «Тетя Леля, у вас в речке столько лебедей плавает, столько много!.. — А сам смеется и поясняет: — Это женщины в белых рубашках».

И действительно, лето было очень жаркое, и женщины, возвращаясь с поля, заходили в воду в льняных белых рубашках. Много лет спустя в книге «Колосья под серпом твоим» он и описал свои детские впечатления.

Помню, как в лесу увидел зайца и пошутил: «А я зайца, тетя Леля, чуть за хвост не поймал!» А моя мама смеется: «Не может быть, не может быть, чтобы ты его за хвост поймал!»

В один год почти все лето Володя был у нас в Руклях. В нашей деревне есть и речка, и луга, и лес кругом! Володя сходит в лес, найдет что-нибудь интересное, принесет домой. Однажды он принес гнездо с яйцами. Его стали ругать, а он объяснил, что птичка возле гнезда была мертвая, а яйца уже холодные, поэтому и принес всем показать гнездо.

В то время в деревне было много детей, а летом еще приезжали и внуки к бабушкам на каникулы, так они все собирались вокруг Володи. Он рассадит детей по кругу и рассказывает, рассказывает... А еще раков ловили в речке. Знаете как? В нашей Адровке были большие камни, вот из-под них и таскали раков. Много было раков! Володя принесет их домой и просит: «Тетя Лена, сварите нам раков в чугунке и с крапивой, чтобы они были красненькие!»

Ну а потом началась война, и наши встречи прекратились...

А еще помню, как они всей семьей приезжали в Рукли ко мне на свадебный вечер. Мы ехали на станцию Смольяны из Кохонова. За нами приехал один колхозник на плохонькой лошади, Володя все его подгонял, а мама, Надежда Васильевна, говорила: «Не гони, Володенька, сынок!» Когда лошадь уставала, Володя командовал нам: «С саночек слазьте, быстрей, быстрей, и пешочком, пешочком!» Лошадь отдыхала налегке, а Володя дальше командует: «Садитесь! Садитесь!» Погуляли хорошо, и Володя обещал написать про свадьбу книгу.

* * *





Рассказ Софьи Васильевны, несмотря на ее преклонный возраст, получился живым и интересным и произвел на нас большое впечатление — в детские годы будущий писатель был любознательным и уже обладал образным мышлением. Мы от души поблагодарили рассказчицу, пообещав, что снятые нами кадры увидят жители не только нашего города.

Покидали мы гостеприимных хозяев с чувством выполненного долга. Особенно был доволен Новогонский. Кадры, снятые им только что, обещали хорошее начало для его дальнейших изысканий о нашем выдающемся земляке. Мы некоторое время шли молча, и вдруг Эдик стал повторять всего лишь только одно слово:

— Рукли, Рукли, Рукли... Где я встречал это слово? Где? Причем совсем недавно. Ну, никак не вспомню.

Проходя мимо памятника легендарным «катюшам», мы решили присесть на скамейку, чтобы в спокойной обстановке подвести итоги, но Эдика по-прежнему мучила какая-то мысль. И вдруг он резко потянулся к своей вместительной сумке, в которой находились кинокамера и прочие принадлежности, и достал оттуда книгу в белом мягком переплете, на обложке которой выделялся силуэт нашего великого земляка, а под ним название книги: «Свет вачыма Караткевіча», стал лихорадочно ее перелистывать.

— Вот, нашел!..

— И что ты там нашел? — недоуменно спросил я. — Эти рисунки я рассматривал десятки раз.

— А ты читай, что под рисунками написано...

Под первым рисунком, на котором была изображена лошадь, запряженная в сани, на которых сидели люди, курсивом было написано рукой Короткевича: «Это мы едем в Рукли».

На следующей странице был нарисован стол с яствами, за которым находились люди, и в человеке, произносящем тост, угадывался сам писатель. Внизу также была надпись: «Наш ужин в Руклях».

— Теперь ты понял, к кому они едут на лошади и что отмечают за этим столом?

— Теперь начинаю понимать, — признался я, — кажется, это сам Короткевич едет в Рукли к Софье Васильевне, к той самой Софье Васильевне, у которой мы только что были.

Анатолий ШЕБЕКО

НЕФЕДОВА Татьяна Александровна. Родилась в 1982 году в г. Брунталь (Чехия). Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. В Белфасте изучала психологию и социологию, а затем получила ученую степень в школе политических и социологических наук при Берлинском университете. Прозаик. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в Белфасте (Ирландия).

МЕТЛИЦКИЙ Микола (Николай Михайлович). Родился в 1954 г. в д. Бабчин Хойникского района Гомельской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик. Член правления Союза писателей Беларуси. Автор многих книг поэзии. Лауреат Государственной премии и премии Ленинского комсомола Беларуси. Главный редактор журнала «Полымя». Живет в Минске.

ЖУК Алесь (Александр Александрович). Родился в 1947 г. в д. Клешев Слуцкого района Минской области. Окончил филологический факультет Белгосуниверситета. Работал в литературно-художественных изданиях, в том числе главным редактором журнала «Нёман». Автор многих книг прозы. Лауреат Литературной премии им. И. Мележа и премии Ленинского комсомола Беларуси. Живет в Минске.

САКОВИЧ Павел Павлович. Родился в 1941 г. в Орше. Окончил исторический факультет Белорусского государственного университета. Автор десяти книг прозы, поэзии, произведений для детей, сатиры и юмора. Лауреат Всесоюзного литературного конкурса (1980) и Литературной премии имени К. Крапивы. Живет в Минске.

КРАСНЕВСКАЯ Зинаида Яковлевна. Родилась в 1947 г. в Риге (Латвия). Окончила Минский государственный педагогический институт иностранных языков. Переводчик, автор нескольких книг по проблематике перевода. Живет в Минске.

ЛАПШИНА Елена Геннадьевна. Родилась в 1962 г. в Приморском крае (Россия). Окончила Минский технологический техникум. Печаталась в журнале «Нёман». Живет в Минске.

ЗЭКОВ Анатоль (Анатолий Николаевич). Родился в 1955 г. в д. Потаповка Буда-Кошелевского района Гомельской области. Окончил Гомельский государственный университет. Поэт, прозаик. Автор многих книг. Живет в Минске.

ЗАВАЦКАЯ Жанна Евгеньевна. Родилась в 1963 г. в Пинске. Окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств. Автор коллективных сборников «Струменя серебряные струны», «Кружева полесских зарниц», а также книги «Дуновение любви». Живет в Пинске.

МОРУА Андре (Эмиль Саломон Вильгельм Эрзог). Родился в 1885 г. в местечке Эльбеф около Руана (Франция). Окончил лицей Корнеля в Руане и Каннский университет. Французский писатель, классик жанра биографического романа, член Французской Академии. Автор 200 книг, более тысячи статей. Умер в пригороде Парижа в 1967 г.

ЖИД Андре Поль Гийом. Родился в 1869 г. в Париже (Франция). Посещал разные школы, занимался с репетиторами дома. Французский прозаик и драматург, литературный критик, известный ниспровержением литературных традиций и устоев. Автор многих книг. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1947). Умер в Париже в 1951 г.

КУНЕРТ Гюнтер. Родился в 1929 г. в Берлине (Германия). Окончил Высшую школу прикладных искусств в Берлине. Немецкий писатель. Автор множества сборников стихов, а также киносценариев, оперных либретто, радиопьес. Лауреат премии Т. Манна (1962) и премии И. Р. Бехера (1973). Живет в Германии.